

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2023
Том 22. №1

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Адрес редакции: ул. Старая Басманная, д. 21/4, к. А205, Москва 105066

Тел.: +7-(495)-772-95-90*12454

Международный редакционный совет

Николя Айо (Университета Фрибура, Швейцария)
Джеффри Александер (Йельский университет, США)
Ян Вальсинер (Университет Альборга, Дания)
Гэри Дейвид (Университет Бентли, США)
Владимир Камнев (СПбГУ, Россия)
Александр Марей (НИУ ВШЭ, Россия)
Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)
Альбер Ожьен (Высшая школа социальных наук, Франция)
Энн Роулз (Университет Бентли, США)
Ирина Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)
Ирина Троцук (РУДН, Россия)
Никита Харламов (Университет Альборга, Дания)

Учредители

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Александр Фридрихович Филиппов

Редакционная коллегия

Главный редактор
Александр Фридрихович Филиппов

Зам. главного редактора
Марина Геннадиевна Пугачева

Члены редколлегии
Светлана Петровна Баньковская
Дмитрий Юрьевич Куракин
Александр Владимирович Павлов
Руслан Заурбекович Хестанов

Редактор веб-сайта
Наиль Галимханович Фархатдинов

Литературные редакторы
Максим Сергеевич Фетисов
Перри Франц

Корректор
Инна Евгеньевна Кроль

Верстальщик
Анастасия Валериановна Меерсон

О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присылать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнометодология и разговорный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получить сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2023
Volume 22. Issue 1

ISSN 1728-1938

Email: puma7@yandex.ru

Web-site: sociologica.hse.ru/en

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A205, Moscow, Russian Federation 105066

Phone: +7-(495)-772-95-90*12454

International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)
Gary David (Bentley University, USA)
Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)
Vladimir Kamnev (Saint-Petersburg State University, Russia)
Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)
Alexander Marey (HSE University, Russia)
Peter Manning (Northeastern University, USA)
Albert Ogien (EHESS, France)
Anne W. Rawls (Bentley University, USA)
Irina Savelieva (HSE University, Russia)
Irina Trotsuk (People's Friendship University of Russia, Russia)
Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

Establishers

HSE University
Alexander F. Filippov

Editorial Board

Editor-in-Chief
Alexander F. Filippov

Deputy Editor
Marina Pugacheva

Editorial Board Members
Svetlana Bankovskaya
Ruslan Khestanov
Dmitry Kurakin
Alexander Pavlov

Internet-Editor
Nail Farkhatdinov

Copy Editors
Maxim Fetisov
Perry Franz

Russian Proofreader
Inna Krol

Layout Designer
Anastasia Meyerson

About the Journal

The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

The Russian Sociological Review publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

Scope and Topics

The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

Our Audience

The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

Subscription

The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

Содержание

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Against Tyranny of Truth. 9
Greg Yudin

Концепция мессианского времени Вальтера Беньямина и ее политические
импликации 29
Илья Иншаков

ГЛОБАЛЬНЫЙ ВОСТОК: ПОЛИТИКИ НАИМЕНОВАНИЯ И ПРОДУЦИРОВАНИЯ ЗНАНИЯ

За критический и беспристрастный конструктивизм. Еще раз о понятии
«Глобального Востока» применительно к Центральной Азии. 48
Изабель Огайон, Жюльен Торез

Между эссенциализмом и многоидентичностью: Центральная Азия
как часть Востока, Юга и мира. 61
Томохико Уяма

Как быть историком Центральной Азии сегодня? Наш ответ
Изабель Огайон, Жюльену Торезу и Томохико Уяме 72
Аминат Чокобаева, Нари Шелекпаев

WEBER-PERSPEKTIVE

Выбор на брачном рынке или воля Божья? О практической
и субстантивной рациональности в категориях пользователей
православной платформы для знакомств. 82
Полина Алексеева (Калиновская)

СТАТЬИ И ЭССЕ

Образование и риски революционной дестабилизации:
опыт количественного анализа 98
*Вадим Устюжанин, Яна Степанищева, Альбина Галлямова,
Леонид Гринин, Андрей Коротаев*

Бессмысленный труд, бредовая работа и организационный абсурд: новые направления для институциональной теории	129
<i>Дарья Никитина</i>	

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Энтони Гидденс и цивилизационный анализ: модерн между рефлексивностью и культурой	147
<i>Руслан Браславский</i>	

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

С. Кьеркегор и К. Шмитт: вечная репетиция того же самого политического Артем Соловьев	175
<i>Артем Соловьев</i>	

РЕЦЕНЗИИ

Понимающая психология Макса Вебера	185
<i>Дмитрий Катаев</i>	
Дюркгеймовская традиция глазами культурсоциолога	191
<i>Артур Печерских</i>	

IN MEMORIAM

Глеб Павловский. Памяти человека политического	197
<i>Александр Филиппов, Григорий Юдин, Иван Краснев, Сергей Чернышев</i>	

Contents

POLITICAL PHILOSOPHY

Against the Tyranny of Truth..... 9
Greg Yudin

The concept of messianic time by Walter Benjamin and its political
implications 29
Ilya Inshakov

GLOBAL EAST: POLITICS OF NAMING AND OF KNOWLEDGE PRODUCTION

For a critical and dispassionate constructivism: revisiting the concept
of the 'Global East' in its relevance to Central Asia..... 48
Isabelle Ohayon, Julien Thorez

Between Essentialism and Multiple Identities: Central Asia as Part of the East,
South and the World 61
Tomohiko Uyama

How should we do Central Asian history today? Our response
to Isabel Ohayon, Julien Thorez, and Tomohiko Uyama..... 72
Aminat Chokobaeva, Nari Shelekpayev

WEBER-PERSPEKTIVE

«The choice on a marriage market or the God's will? On practical
and substantial rationalities in orthodox dating platform users' categories» 82
Polina Alekseeva (Kalinovskaya)

PAPERS AND ESSAYS

Education and Revolutionary Destabilization Risks:
A Quantitative Analysis 98
*Vadim Ustyuzhanin, Yana Stepanishcheva, Albina Gallyamova,
Leonid Grinin, Andrey Korotayev*

Pointless labor, bullshit jobs, and organizational absurdity: new directions
for institutional theory 129
Daria Nikitina

EDUCATION

Anthony Giddens and civilizational analysis: modernity between reflexivity
and culture 147
Ruslan Braslavskiy

REFLECTIONS ON A BOOK

S. Kierkegaard and K. Schmitt: the Eternal Repetition of the Same Political 175
Artem Solovev

BOOK REVIEWS

Max Weber’s understanding psychology 185
Dmitry Kataev

Durkheimian Tradition Through the Eyes Of The Cultural Sociologist 191
Arthur Pecherskikh

IN MEMORIAM

Gleb Pavlovsky. In memory of homo politicus 197
Alexander Filippov, Greg Yudin, Ivan Krastev, Sergey Chernyshev

Against the Tyranny of Truth¹

Greg Yudin

Professor, The Moscow School of Social and Economic Sciences; Research Scholar,
University Center for Human Values, Princeton University.

Address: Gazetny per., 3-5, building 1 Moscow, 125009, Russian Federation
E-mail: greg.yudin@universitas.ru

The place of truth in the public sphere and public politics has recently been shattered, as evidenced by the rise of concepts like “post-truth”. Severe concerns about truth being defenseless in the face of the masses embracing lies gave rise to the fears that unchained democracy together with the newest communication technologies threatens the destruction of the rational public sphere. This paper proposes a distinctly political approach to the challenges that truth is facing. It draws on Gabriel Tarde’s idea of publics as crowds to direct the attention towards political experiences sustaining the prevalence of different sorts of lying and truth-denial in the public sphere. Hannah Arendt’s observations on the inherent tensions between truth and politics are employed to demonstrate that the imposition of truth can be tyrannical and trigger its rejection as a properly political rebellious response. The paper proposes to differentiate between two distinct political-emotional experiences behind anti-truth politics, those of truth-rejection and truth-hostility, the latter resulting from a massive depoliticization and filled with cynicism and nihilism. It is argued that attempts to protect truth by extra-political means misapprehend the causes of resistance against truth, and are likely to result in the more destructive reactions. The paper hints at the need for re-establishing the political legitimacy of truth.

Keywords: truth, public sphere, affects, Hannah Arendt, post-truth, Gabriel Tarde, depoliticization

Over the last decade, political life in multiple sites and contexts has evolved in a way that brought an age-old topic of the relationship between politics and truth to the fore. The ferocious rivalry over the denial of the 2020 election results in the United States, the strong and influential denial of the COVID-19 pandemic and the reluctance to accept the vaccination all over the world (including the leading liberal democratic countries), and the efficiency of Russian state propaganda outside the Western bloc (and partly even within it) in recent years are troubling experiences that raise serious concerns about the ability of truth to survive in present-day politics. Why do people fall prey to obvious lies? Why are obvious lies that are easy to verify becoming politically efficient? Perhaps, is truth doomed in post-modern, post-rational societies?

These questions have recently been addressed with the label of *post-truth*. Launched as a catchword to designate an indifference to the truthfulness of propositions, it was almost elevated to the conceptual status. The term instantly became widespread in 2016 because of two national votes, the presidential election in the United States won by Donald Trump, and the Brexit vote won by the “leave” party. Both campaigns were stunning

1. I would like to express my gratitude to Alexander Bikbov, Wolfgang Heuer, Viktor Kaploun, Vadim Volkov, Andrey Denisov, and the journal’s reviewers for their comments on the previous versions of this paper. Their advice helped to improve the paper, and needless to say, the remaining deficiencies are my responsibility.

to the liberal mainstream public not only for their outcomes, but also for the sudden success of the narratives that seemingly contained obvious lies. These lies stirred up strong emotions in the public, becoming immune to any refutations and appeals to facts and common sense. While the term had been occasionally used earlier (Keyes, 2004), it was in 2016 that it turned out to be helpful in grasping the surprisingly complicated relation between politics and truth. After Oxford Dictionaries proclaimed it as its “word of the year”, the concept went viral and was taken up by political scientists. It certainly originated as a critical or even derogatory concept: there is a great number of denouncers of “post-truth” and hardly any proponents (although some authors, like Steve Fuller (2018), seek to justify some merits of post-truth politics).

The term conveys a combination of disrespect for facts with malicious political intention: Lee McIntyre wrote that “post-truth amounts to a form of ideological supremacy, whereby its practitioners are trying to compel someone to believe in something whether there is good evidence for it or not” (2018: 12). The concept successfully conveys a nauseous experience akin to the feeling of losing the ground under one’s feet. It is not only that many citizens believe in lies, but also that this belief affects the distribution of power in such a way that truth itself seems endangered. He writes that “what seems new in the post-truth era is a challenge not just to the idea of knowing reality but to the existence of reality itself... [W]hen our leaders—or a plurality of our society—are in denial over basic facts, the consequences can be world shattering” (10). Post-truth conveys the sense of threat. It is meant to evoke fear among the audience, mobilizing it to defend the truth.

It is the job of political theory to analyze the concepts revealing how they shape political life. There is already extensive literature warning about the dangers of the rise of post-truth (McIntyre, 2018; Prado, 2018) or dealing with its political-epistemic status (Fuller, 2018) and its political causes (Farkas and Schou, 2020; Kalpokas, 2019). The political thrust of the concept drew less attention, and it is worth asking what the concept is meant to accomplish, and how it is supposed to gain political efficiency. “Post-truth” is invested with several political beliefs and assumptions that the term strives to promote, sometimes subconsciously. I suggest outlining three key elements of the concept where each of them corresponds to a particular fear and should be treated separately.

First, post-truth obviously refers to politics. It is meant to emphasize that, nowadays, politics has become fundamentally indifferent towards truth and, in this sense, irrational. It looks like objective facts surrender to emotions in the court of public opinion. Facts are not merely self-evident truths, but rather the products of modern science, which is believed to be the true agent of truth. The arrogance of denying facts amounts to rejecting modern science, or at least challenges the entrenched belief that our worldview is sustained by scientific methods. For this reason, the political attack on truth immediately pits science against politics, underscoring the rift between them. It is scientific truth that suffers the most from the new post-truth condition. Politics is no longer governed by science and is presumably increasingly governed by ignorance, irresponsibility and the absence of expertise. This, of course, raises an old Platonic anti-democratic fear of the masses being inherently hostile to the truth.

Secondly, it is implied that the transformation has not simply occurred in the minds of lay people but also happened in the public sphere, rendering the public communication increasingly difficult. Perhaps the ignorance of the masses would not have been so damaging if they were not dismantling the ideal of a rational public sphere, where a reliance on hard scientific truths should be the standard of argumentation. It is not simply that the majority guided by untruths is politically dangerous, but truth suddenly appears weak in public debate since people refuse to be convinced when presented with scientific evidence. This raises suspicion that the public sphere is fundamentally disintegrating. Instead of the public united by a shared worldview and making divergent claims within it, we are witnessing the rise of multiple publics locked into their echo chambers where they inhabit their own particular worlds. As a result, no discussion is possible among those who disagree on basic truths. This revives another fear of disunion and the dissolution of society.

Third, post-truth exhibits a peculiar “post-” element, an indication that the phenomenon corresponds to an advent of some new era. Post-truth is supposed to be an attribute of contemporary politics, and the development that brought it about is considered as new and unprecedented. In searching for the causes of this shift, many conclude that it can be explained by the rise of social media. This media seem to be working towards creating separate worlds for the users and making them bulletproof against possible incursions from the outside. A perfect target audience for propaganda is thereby generated, one that has no interest in leaving the bubble but welcomes whatever corroborates its pre-existing conceptions. The Cambridge Analytica scandal is often invoked in the context of new technologies promoting the rise of post-truth: big data generated by an individual makes them an easy target for creating an environment conducive to denying the truth (Kalpokas, 2019: 30). Indeed, the Cambridge Analytica fallout is particularly indicative of the fears generated by the condition of post-truth: regardless of the actual innovation the company contributed to political marketing (which seems rather limited), the horror caused by the idea of being exposed to constant surveillance that blocks us from access to truth by providing comfortable nudges is very real. This is yet another fear, that of the dangerous new technologies making us particularly vulnerable to deception, transforming the search for truth into an uphill struggle.

These three fears, the fear of the masses, the fear of disunion, and the fear of technologies as conveyed through the concept of post-truth, invite a political response. This response can be summed up as a “defense of truth”. The calls to fight post-truth are abundant, and the implication is oftentimes that the reign of truth should be secured through extra-political means. Insofar as it is naturally prone to oppressing truth, political life should be curtailed and restrained. If the conflict between truth and politics is unavoidable in the final account, truth must prevail.

I will challenge this conclusion by arguing that none of these fears are justified. The idea of post-truth is based on an inadequate conception of the public sphere, and, most importantly, on a fundamental misunderstanding of the relationship between truth and politics. Although there is always room for truth in politics and telling the truth,

now as always, can be transformative and revolutionary, politics in general is not based on truth. The tyranny of truth is not possible, nor is it desirable. This will put me in a position to explain the recent wave of open defiance towards truth in properly political terms.

A preliminary caveat is in order: in this paper, I do not subscribe to any particular conception of truth. As a human being, I consider some things to be true and others false; the considerations below mean to be valid irrespective of the structure of beliefs of the reader, who does not need to share my intuitions as to what is true and what is false. While the reader might resist the examples I suggest as cases of obvious lies, they can always come up with their own examples reflecting the same experiences.

However, I would like to push back resolutely against the idea that the differentiation between truths and lies (as well as between truths and falsehoods) is entirely a matter of viewpoint. While it is particularly true of the moments of strong political polarization that people often tend to hold opposite opinions on the truthfulness of certain statements depending on their political allegiances, this should not obscure the simple fact that people sometimes do lie, and this is not insignificant. Lying entails a peculiar relationship (or various modalities of relationships) with truth, and it is completely different from mistakenly believing in falsehoods. In this paper, I adopt a phenomenological approach to lying (but also to truth-telling): lying belongs to the domain of meaning-constitution and deserves attention as a separate lived experience.

In this paper, I am less concerned with discovering some sort of truth. My intention is political. As I will try to show, the reaction to post-truth often turns out to be counter-productive, and this is explainable from a properly political viewpoint. While I believe that there are varieties of post-truth with some more politically-beneficial than others, I mean to subject post-truth to the political analysis *stricto sensu*. It is possible that some of the considerations offered here might be politically expedient for those who mean to resist the rise of post-truth. However, my key point here is that a frontal imposition of truth not only has a bleak chance of succeeding, but in fact contributes to the eroding of political life and aggravates the situation that generated the most dangerous form of aggression against truth.

I will rely on Hannah Arendt's analysis of truth in politics to make the argument that imposing truth bears the risk of denying human beings their political dimension. From this viewpoint, the revolt against truth appears as a consequence of the suppression of public politics, rather than its excess. However, before making this argument, I will address some drawbacks of the dominant theory of the public sphere developed by Jürgen Habermas, and replace it with a lesser-known but original theory suggested by Gabriel Tarde. His account of the public sphere is helpful in recognizing that public politics is about creating a collective experience, rather than simply exchanging rational arguments. Building on this understanding of the public sphere, I will turn to Arendt's analysis of tyrannical tendencies inherent in truth-telling, and discuss how the rise of cynicism can be an unintended consequence of imposing truth.

Tarde's Theory of Passionate Public

To dispel the fear of technology, I suggest beginning with a famous episode that took place in France at the end of the nineteenth century. Many other examples are at hand, but this one has been particularly instructive for political thought. At that time, France was frightened first by Boulangisme, the populist movement started by the infamous extreme-right General Ernest Boulanger who almost seized power after a popular uprising, and then by the Dreyfus Affair. The latter was particularly instructive because it revealed something new about the public sphere. At some point, it became clear that the evidence against Captain Dreyfus had been forged and there was another person guilty of what Dreyfus had been blamed for. However, the right-wing newspapers launched a xenophobic and anti-Semitic campaign that blatantly insisted on keeping Dreyfus in prison and attacked his supporters, the Dreyfusards, for committing treason. The campaign was astonishingly efficient, and French intellectuals, many of whom were of Jewish origin, were stunned by the fact that truth is clearly impotent in this new age of mass communication and mass democracy. The French right-wing extremists were holding the upper hand even though they clearly contradicted well-established facts. This was due to the outreach that their message enjoyed with the new technology of mass newspapers. It became immediately clear that the public, or at least a substantive part of it, is not looking for the truth, but rather for something different. The dominant theory of the rational public was collapsing.

In the eyes of the fin-de-siècle French intellectuals (the concept itself having emerged during the crisis), the impact of mass newspapers looked similar to how today's intellectuals see social media. The newspapers were perceived as an entirely new technology shaping the public sphere in France, for it was only in the 1880s that they increased print runs to become a truly mass media, while the new legislation significantly decreased the risk of prosecution for public blasphemy for covering political subjects. In addition, the mass newspapers started publishing cartoons, which made the content easily available to the larger audience (Mitterand, 2013). In other words, newspapers became public media tailored to the lowly needs of the masses, producing visual content capable of stimulating quick and high engagement without much reflection.

Instead of being a platform for a general and therefore at least partly unifying debate, newspapers were chopping the French people into multiple narrow-minded groups who were only interested in what supported and promoted their views. The masses had no taste for reading alternative opinions challenging their own beliefs, or entering a reasonable discussion. The intellectuals were afraid that the newspapers bet on human vice and turn out to be more efficient than rational persuasion: "Metaphors of hypnosis, seduction, intoxication and infection abounded in this sexually charged imagery in which anti-Dreyfusard journalists became at once evil hypnotists, demagogues, poisoners and infected prostitutes" (Forth, 1998: 75). The mass press was doing the job of targeting the audience no less efficiently than social media today. Rather than being an outcome of some sophisticated technology, the breakup of the polity

into multiple mutually-isolated media bubbles was happening because of the structural features of the politics of the day.

Among those alarmed French intellectuals was Gabriel Tarde, who was sympathetic to the Dreyfusards despite limiting his public engagement (Salmon, 2005). He developed an original account of the public, stressing the shared experiences of its members. Contrary to theories tracing the modern public back to the invisible college of scholars communicating at a distance, Tarde considers the public to be a late instantiation of the crowd, implying that both publics and crowds are to a certain extent functioning according to the same principles (2010). Importantly, for Tarde, the institutionalization of the public is related to an increase in the numbers of people sharing a common experience of learning news through the media, rather than to the crystallization of the rules of rational public argument.

Tarde is skeptical about the rationalist view of the public, a conception that would later crystallize in Habermas' theory of the public sphere. For Habermas, the entrenchment of the public sphere in modern Europe implied that "public debate was supposed to transform *voluntas* into a *ratio* that in the public competition of private arguments came into being as the consensus about what was practically necessary in the interest of all" (1993: 83). According to this liberal theory, the public sphere is held together as a unitary space by communication appealing to reason, and therefore capable of generating a consensus. Not only is debate thoroughly rationalized under these settings, there is no need for an external guarantor (*voluntas*, will) that would prevent the common space from falling apart. The belief in public competition as the best means for achieving the common good is enough to keep private interests within their domain.

Tarde was a liberal of a different sort. He was distrustful of the existence of a constantly unified public (hence his inclination to use *publics* in plural), and sought a different foundation for public communication to persist. This is why he saw a continuity between the crowd and the public, regarding the latter as an upgrade and extension of the former. Tarde wrote that "In spite of all the dissimilarities that we have noted, the crowd and the public, those two extremes of social evolution, have in common the bond between the diverse individuals making them up, which consists not in *harmonizing* through their very diversities, through their mutually useful specialties, but rather in reflecting, fusing through their innate or acquired similarities into a simple and powerful *unison* (but with how much force in the public than in the crowd!), in a communion of ideas and passions" (2010: 286). It is the mutual reflection that creates a temporary communion bound by both ideas *and* passions. Just like a crowd, a public is solidified by a shared experience amplified in communication. This is even truer of the readers of a mass newspaper than of the masses at a street rally. What Tarde disputes here is the idea that some sort of natural cohesion emerges from human diversity and the confrontation of opinions; what he affirms is that for a unity to appear, a shared emotional attitude is needed. In Tarde's language, this crowd-public experience should be understood as repetition, imitation, and contagion, rather than as the rational negotiation and concertation of individual opinions.

This account is also mindful of the nature of the ties developing between the media and the public. According to Tarde, both the logic of market differentiation and the development of habits among the audience result in a strong and mutually reinforcing connection between a newspaper and a reader: “After a few trial runs, the reader has chosen his paper, the paper has selected its readers, there has been mutual selection, hence mutual adaptation. The one has a paper which pleases him and flatters his prejudices and passions; the other has hold of a reader to his liking, docile and credulous, whom he can easily direct with a few concessions to his positions” (2010: 283). What is discussed here is the construction of what today would be called echo-chambers, and Tarde’s argument shows that there is no need in digital social media for these echo-chambers to emerge. French newspapers were transforming public communication along the same patterns, and this parallel shows that technological explanations can hardly account for the transformations of the public sphere. To figure out why the introduction of mass newspapers in late nineteenth-century Europe led to the outcomes similar to the rise of social media in the early twenty-first-century globalized world, one should look at the similarity of political conditions instead.

Tarde therefore proposes a highly original view of the public sphere, one that helps understand some widespread beliefs not as false propositions, but rather as passion-driven political claims. Accordingly, what the media does is not simply explaining the world for the audience, but rather generating and amplifying political emotions. It is then worth asking what kind of emotion corresponds to what is seen as an obvious lie from an epistemic viewpoint.

What are the implications of this theory for intellectuals? Tarde himself was somewhat ambiguous about it: he did not embrace either demophobia nor irrationalism, but rather pleaded for saving democracy by protecting individuals from the dictate of collectives (293-4). Elevated individuals are expected to assume responsibility for the creative activities unattainable for the masses: Tarde compares intellectuals to the “mountain peaks” who should be revered by the masses. While Tarde calls for “resistance” from intellectuals against the dangerous inclinations of the collectives, it is not entirely clear how this strand of liberal democracy is supposed to reconcile the collective with the individual.

However, Tarde’s analysis can be taken as an indication of an opportunity for the intellectuals. Two important points he advanced are that, first, the public is more powerful than the crowd (because it furnishes emotions that are more extended and more durable), and that intellectuals are far more influential in publics rather than in crowds. His analysis suggests that an adequate understanding of the affective and mimetic organization of the public sphere is a necessary condition for the responsible work of an intellectual. The implication is that intellectuals should not simply impose truths on the unruly public sphere, but rather take care of making these truths at least relatively legitimate, that is, corresponding to some sort of strong political emotion.

This heterodox approach to analyzing the public sphere by focusing on emotions rather than on only rational arguments was taken up by Ernesto Laclau. Building on Tar-

de's understanding of the crowd, Laclau pays attention to the fact that repetition and imitation serve as modes of expressing some collective experience². Here, the emphasis shifts from actual public beliefs in what is asserted (for instance, the obviously-false beliefs that Dreyfus indeed committed treason) to the shared experience and shared emotions that find no way to be manifested other than in an audacious denial of factual truth, that is, in the affirmation of lies. Laclau asks: "Should we conceive of social interaction as a terrain on which there are no affirmations that are not grounded? What if an affirmation is the appeal to recognize something which is present in everybody's experience, but cannot be formalized within the existing dominant social languages? Can such an affirmation ... be reduced to a lie because it is incommensurable with the existing forms of social rationality? Patently not. To assert something beyond any proof could be a first stage in the emergence of a truth which can be affirmed only by breaking with the coherence of the existing discourses" (2005: 26-27).

Laclau emphasizes a different mode of truthfulness, a what-could-be-called the *not-yet-truth*. In a static world where everything falls into categories of truth and non-truth, there is no place for a third mode. Politics, however, defies the static classifications since it is located in the space of the non-actuality. Politics connects the truth of today with the truth of tomorrow, that is, one that looks as a non-truth or even a lie in the eyes of an observer ensnared in the present but becomes a not-yet-truth for a political action aiming to connect what exists with what is to come. A public embracing a lie might share a collective sentiment, as Tarde suggests, one that cannot be articulated under the current regime of truth but calls for a different truth, and then creates the energy for it to replace the existing truth.

Tarde's view of the public sphere is instructive not only because it demonstrates that the current predicament with post-truth cannot be explained by the disruptive influence of technologies. It also attunes the theoretical view to see the fact that lies are widely embraced not as a distortion of rational public debate, but as a manifestation of some sort of common experience that is being suppressed under the dominant truth. However, what kind of experience is it that cannot be articulated directly? Why is there a need to challenge the truth at all? Perhaps it would be much better to voice those experiences and concerns to make them heard? Why not make politics within the truth, rather than against it? To answer those questions, I shall turn to Arendt's view of truth in politics.

2. Laclau contrasts Tarde's approach with the mass psychology of Gustave Le Bon. While Le Bon insists on a strong dualism of rational deliberation and irrational associations embraced by the masses, Tarde admits that imitation is a functional mechanism underlying all public opinion, and not only the manipulated crowds (Laclau, 2005: 44). It is noteworthy that contemporary, rigid dichotomies between post-truths welcomed by the excited masses and the rational truths defended by the sober rational public resurrects the Lebonian demophobic approach. Tarde's admission that even the rational public sphere relies on some sort of collective experience paves the way for a less exclusionary and more democratic approach, inviting political engagement with the masses.

On the Political Unbearableness of Truth

The debate about the relationship between truth and politics is as old as political philosophy itself. On the one hand, many arguments were suggested to argue that the two are mutually incompatible, from Plato's complaint in the allegory of the cave that truth dies in political struggles to Machiavelli's indication that truthfulness can be damaging in political matters. On the other hand, a number of epistemic democrats believe that the proper organization of politics is favorable for the production of knowledge and truth, and the argument, in Jeremy Waldron's view (1995), goes back to Aristotle. Arendt's contribution to the discussion stands out because she emphasizes how truth can affect politics, rather than the other way around. Moreover, she is preoccupied with the threat of the destruction of politics by truth. Seen against centuries of inquiry about whether truth can survive in politics, the defense of politics from truth is quite unusual.

Arendt transcends the idea that truth is apolitical, that is, it belongs to a different realm from politics, and claims that truth can be outright anti-political. This is concordant with her view that politics implies a radical openness, a non-determination, and the freedom to determine the future. Arendt wrote that politics implies "the freedom to call something into being which did not exist before, which was not given, not even as an object of cognition or imagination, and which therefore, strictly speaking, could not be known" (2006b: 150). In that sense, all political opinions and positions are contingent because they are freely taken or not taken.

With truth, it is fundamentally different, for truth is what imposes itself on us. It is predetermined, unavoidable and immutable; it simply tells us what the world is, period, and whatever imposes itself on us or on our political community as an external necessity is, by definition, anti-political. This is why Arendt claims that truth "has its source outside the political realm, and is as independent of the wishes and desires of the citizens as is the will of the worst tyrant" (2006a: 236). Understandably, truth-tellers often exhibit tyrannical tendencies in that they are themselves under the external compulsory power of truth, and this is the violence that they tend to transfer into the realm of politics.

One of the political effects of truth is that it leads to a shutdown of imagination. With the force of imagination, we can de-naturalize the world as we know it, and engage in an exercise of variation, modifying the elements of what looks like an immutable structure. In politics, this imagination refers to collective self-determination and an ability to choose the collective future instead of following the pre-determined scenario. Accepting some internal truth, on the contrary, implies that opportunities other than truth are already excluded, and therefore, surprisingly, the deliberate opposition to truth enables a collective to revive the imagination to imagine things being otherwise.

Scientific truth can be particularly oppressive since it relies on the authority of natural-scientific determinism, leaving no room for freedom. Modern science is the greatest

human project of our time, one that has transformed reality. At the same time, it creates the sense of being trapped in the cage of causality chains and immovable laws of nature, depriving us of the world we could call ours. Arendt points out that “action of the scientists, since it acts into nature from the standpoint of the universe and not into the web of human relationships, lacks the revelatory character of action as well as the ability to produce stories and become historical, which together form the very source from which meaningfulness springs into and illuminates human existence” (1998: 324). Once modern science has acquired this universal viewpoint, that is, learned to look at the human world objectively from the outside, it subverted politics as a worldly undertaking (Brient, 2000). At the same time, Arendt echoes Husserl’s and Heidegger’s accounts of science in arguing that alienation created by science can be transcended if science is reappropriated as a human deed, that is, as a political action.

The threat coming from truth and, more specifically, from scientific truth, suddenly sheds a different light on the political significance of lies. Lie as a revolt against truth appears to be an attempt to reclaim political freedom; Arendt wrote that “The deliberate denial of factual truth — the ability to lie — and the capacity to change facts — the ability to act — are interconnected; they owe their existence to the same source: imagination” (1972: 5). From the political point of view, lying can be regarded as a challenge against the prevailing doxa, or, as Pierre Bourdieu (1977: 169) calls it, *ortho doxa*. The liar manifests their rejection of the world not imagined by themselves, affirms the demand to modify the world, no matter how deeply it is entrenched.

What makes it scandalous is that the challenge is mounted against the beliefs that are supposed to have withstood scrutiny, and therefore attained the status of knowledge rather than mere opinion. However, as Arendt rightly notices, the wide public does not necessarily feel itself as part of the process that led to establishing this knowledge as a truth, and therefore the knowledge appears to be dogmatically imposed on it. This knowledge was not brought about by any action of which the public might claim authorship. Scientists, on the contrary, perceive the scientifically established truths as “hand-made” insofar as they belong to a scientific community that attained the knowledge through methodical procedures. The scientists’ outrage about the public disrespect for truth, which is particularly visible in cases like the widespread denial of human-caused climate change, is not merely an epistemic defense of truth against lie; it is also a fundamentally *political* emotion, for what public challenges here is not simply a *belief* but an *action* of manufacturing knowledge, a deed performed by the scientific community.

Politics is the realm of the contingent, of what could have been otherwise, and still can be otherwise. Whatever exists in politics proper exists only by virtue of our free and unconditioned decision. This is the realm of opinion, where anything not conditional on the opinion tends to be perceived as oppressive. Truth, on the other hand, is presented as being beyond the debate or as something which one cannot challenge in public. The only way to dispute truth is to engage in a scientific debate, but this debate is a losing game for two reasons. First, as many critics of the theory of the rational pub-

lic sphere have shown, the access to it is, in fact, severely restricted (Negt, Kluge: 1993: 10). One has to know the rules and have the skills to participate; the non-experts are bound to lose once they enter. Second, no matter what the result of the debate is, the outcome will in any case reinforce the concept that truth is imposed through science. The post-truth politicians are smart enough to understand these dangers, and refuse to engage in such discussions. They reject rational debate because they do not trust its conditions.

Arendt's key point is that there is a political dimension to experiencing truth. Philosophy tends to glorify truth, identifying the cognition of truth with the fullest realization of human essence, even with revelation, with communication with God. However, experiencing the truth politically can be not just unpleasant; it can be *unbearable*. This does not imply that truth presents us with some tragic news difficult to reconcile with, as it happens with climate science that tells us that humanity faces a choice between extinction and the radical change of established lifestyles. Truth becomes insufferable when it makes one politically impotent, denies the human being political existence, or cancels it out. What if a certain truth leaves no place for me as a political being within it? What if accepting a truth means political suicide for me, that is, entails that I have no room for political action, no political subjectivity, that I am left to total determination by external events? It is in this sense that truth becomes tyrannical because tyranny is denial of political existence. Here, Arendt writes that "Seen from the viewpoint of politics, truth has a despotic character... Truth carries within itself an element of coercion, and the frequently tyrannical tendencies so deplorably obvious among professional truth-tellers may be caused less by a failing of character than by the strain of habitually living under a kind of compulsion" (2006a: 236).

If Tarde's theory of public sphere makes us search for a collective experience behind pervasive and aggressive rejection of truth in the public sphere, Arendt's analysis indicates that this is perhaps an experience of oppression by truth. An immediate reaction to post-truth from the standard-bearers of rational public sphere consists in denigration or even suppression of this experience, as it happens with the elitist explanations stressing the correlation between socio-economic status, education, and affection to post-truth. This is precisely a tyrannical response as described by Arendt, the one that meets rebellion with compulsion, even if this compulsion is imposed on the truth-teller by some external principle.

While the imposition of truth can trigger political resistance, this should not be taken to imply that truth is incompatible with politics. Arendt's emphatically political analysis gives no foundation for such a conclusion. What is brought to the fore is that to survive politically, truth has to secure some political legitimacy. Its purely internal necessity can be insufficient for political life; as Cicero succinctly put it, *ratio parum prodesse*. The legitimacy of truth is always conditional on our acceptance of it as *our political truth*, that is, as a truth freely established by the community.

This, however, is obviously not the case in present-day politics. In societies characterized by a prevailing disillusionment and disgust for politics as well as a distrust for

politicians and ruled by experts and technocratic minorities ('the problem-solvers', as Arendt calls them in a fierce attack on former US Secretary of Defense Robert McNamara), there are no grounds for legitimacy. This situation was shaped to a significant degree by the expert scientific knowledge relying on certain physicalist model with physics and biology as its foundations, and economics at the top of the hierarchy. The idea of the iron laws of economics that govern human lives mercilessly with the strength of nature, like it or not, appears to the masses as an extra-political compulsion. As Michel Foucault (2008) and Philip Mirowski (2002) have convincingly demonstrated, the natural sciences today break into everyday life through economic doctrines that are successful in explaining why inequality and precariousness are merely natural outcomes of how nature is designed or logical consequences of the basic truths about the world. For a vast majority of citizens in contemporary societies, scientific truth enters the lifeworld when they are told "This is Economy, Stupid!", or when all projects aimed at changing their lives are labelled populist, denying the elementary truth.

Henrik Enroth (2021), dwelling on Arendt's legacy to study post-truth, sees this situation as a crisis of authority. Truth is politically dependent on the authority of some major transformational projects making truth credible. For instance, throughout recent decades, scientific truth has been inextricably intertwined with the project of the improvement of human life with scientific technologies. Now, however, as this project has lost its appeal (partly because it failed to deliver on its promises), the authority of science is waning. During the COVID pandemic, the rejection of scientific authority over the management of public health was often correlated with the disappointment in political systems and their technocratic means of making decisions, a protest wave often associated with "populism". The revolt against scientific facts comes mainly from the right because this is where the wrath is concentrated.

As a negation of the iron laws of causality governing the present, lying also means to pave a way into the future, bringing in the indeterminacy that is proper to politics. Lying, therefore, can be politically mobilizing: by challenging the established truths and authorities, it also rejects the established patterns of power distribution and implicitly calls for different truths. As the philosophy of science has known since at least Thomas Kuhn's (2012) seminal book about revolutions in science, this is precisely how change in cognition happens. Every claim at revolution must be aimed at nothing less than replacing the existing truths, or "storming the heavens", as Marx put it (2010: 132). However, it would be a mistake to infer that public lying necessarily parallels a political transformation. In fact, the audacious rejection of established truths can lead to quite different political emotions and outcomes. As Arendt has noticed, it can also result in widespread cynicism.

From Resistance to Resentment

Truth can be insufferable, and keeping this possibility in mind is helpful for a political analysis of modern propaganda. Whenever truth implies political disqualification,

it is very likely to face resistance. What if resistance, too, fails to find a political vent? What if the demand for a different truth does not materialize? The subject finds itself in a peculiar and extremely difficult situation: while they resist admitting what is presented as truth because of its politically debilitating consequences, they are also incapable of finding refuge even in a lie. They experience the political impotence and irrelevance of truth that cannot withstand brute force. This impression of truth being violated by force without producing a credible lie gives rise to a quite different political attitude to truth. It fuels nihilism and resentment against truth as such, rather than rebellion against some specific truth. These are two different modes of political experience related to truth that political analysis should carefully distinguish.

It is an experience of the first type, the ferocious rejection of a specific truth, that causes so much embarrassment among many observers of some strands of the Republican propaganda machine in the United States, bearing in mind that the term post-truth was coined as a reaction to the transformation of the Republican Party. The vehement refusal to accept any scientific-based evidence drives the opponents desperate, while in fact, it reveals a strong protest against the status quo that imposes itself as a set of causal chains constraining the subject.

To see how resistance to truth turns into indifference and even a hostility to truth, one can turn to the effects of the present-day propaganda apparatus perfected by the Russian state. The critics of the Russian government often claim that Russians have a distorted view of reality simply because they trust the lies propagated by the state-controlled media, with the implication that terrible truth should be somehow communicated to them. What are the targeted Russians supposed to do with such a truth? What kind of political opportunity does it open for them? What kind of action is enabled through this truth, or how does it help to come into political being?

Characteristic examples of this tension often come out in interviews conducted by journalists in conversations with random Russian citizens. In one case, a young lady formulates it very clearly:

Listen, if we tell you now [that we don't approve of the actions of the Russian leadership in Ukraine], nothing changes. What will change, even if we change our attitude? Nothing. So, what's the point?! Why thinking about that? You'd better think about your relatives and your loved ones. Give them more love.

This is a highly reflexive, although perhaps a quite cynical statement: it openly points at a politically debilitating effect of truth. The worldview suggested by this truth excludes any possibility of political action and condemns those who accept truth to a politically void existence. It leaves no room for political action now and promises no chance of redeeming it in the future where there is nothing but predetermined payback waiting for the nation supporting the aggressive war. The lady's statement also openly challenges the idea that beliefs anticipate actions; on the contrary, the absence of an opportunity for action leads to accepting some beliefs that help avoid a painful dissonance.

The quote above can serve as a textbook case of resistance to anti-political truth³. However, there is a worrying addition indicating that something else is at play here. The introduction of private life as a radical juxtaposition to politics reveals depoliticization. The resistance is not directed at a certain truth that is politically unacceptable, but rather at *any* political interpretation of events. It would be wrong to conclude that the Russian interpretation (presumably faked) is preferred here to the Western version (presumably truthful). As Arendt insightfully indicates, “the surest long-term result of brainwashing is a peculiar kind of cynicism — an absolute refusal to believe in the truth of anything, no matter how well this truth may be established” (2006a: 252).

The extended political disengagement transforms the subversive affect of truth-denial into a cynical attitude of truth-indifference and, afterwards, truth-hostility. If a foundational experience of political insufferableness of truth does not translate into a subversive political action aiming to dethrone a political truth and replace it with a different one, it gradually transforms into strong anger towards truth as such. Here, the very idea of truth provokes an unpleasant experience of compulsion towards something that cannot be implemented. This has a profound effect on the public sphere, supplanting the dominant experience of active defiance by an experience of powerless resentment.

There are two ways to think of what is opposite to the truth. First, truth can be opposed to mere opinion, a distinction famously maintained by Plato in *Meno* in his understanding of knowledge as true and justified opinion (2005; 97b). This is the distinction Arendt builds on when she insists that truth should have no extra-political priority over opinion in politics. There is, however, another distinction, one that brings up intentional dimension and juxtaposes truth to lie. Nietzsche points out that this distinction is itself an outcome of a primordial social contract that arbitrarily designates something as truth and starts protecting it from lies: “what is henceforth to count as “truth” is now fixed, that is, a uniformly valid and binding designation of things is invented, and the legislation of language likewise yields the first laws of truth. For here a distinction is drawn for the first time between truth and lie: the liar uses valid designations — words — to make the unreal appear real” (2010: 23).

The creative function of lying, that is, converting the unreal into the real by force of appearance, is itself dependent on the distinction between actuality and possibility, because it is only as long as truth is differentiated from lie can the liar pretend to actualize the unreal. If, however, the distinction between truth and lie is denied, the political promise of lying disappears, too. While *putting truth on a par with opinion* is a precondition for the protection of politics from an epistemic tyranny, *putting truth on a par with*

3. Another important instance of resistance comes up when one wonders why the Russian official narrative seems to be rather successful among the angriest parts of the Western societies, but also in the Global South. The narratives promoted by the leaders of the Global North about the war in Ukraine, no matter how truthful, impose a hegemonic worldview where significant parts of the global population find no political place for themselves. Accepting the truth of these accounts would mean supporting the global liberal order where they have no subjectivity. The traction gained by the Russian accounts of events in different parts of the world is explained by a conspicuous rejection of the hegemony and its truth. Joining a heterodox narrative is often an emotional way to attain at least a moderate degree of political existence by challenging the hegemony.

lies, as accomplished by cynicism, on the contrary, ushers the death of politics. In a world devoid of the search for transcending truth, the future is shut, nothing drives self-determination, and every lie is worth any other. The violent repression of the idea of truth, degrading it to yet another lie, is a sign of the desire to close down the imagination.

Drawing again on Tarde's methodology, it is helpful to inquire about the political affect dominating the public sphere infiltrated by conspiracy theories. Rather than dismissing the public communication permeated by suspicion of conspiracies as distorted — a normative high ground taken by the rational public sphere theory — it is worth asking about the experience shared by those who enthusiastically take part in discussing conspiracies. Luc Boltanski suggests that the taste for conspiracies results from a certain loss of emotional investment in reality, paralleled by a cognitive need to structure it (2014: 173). While investigative obsession is but a radicalized version of the rational doubt and a mark of modernity, the withdrawal from the world makes it pathological. With politics, one can speak of withdrawal from the common world, or worldlessness, as Arendt (1998: 54) calls it. The escape from the political world, or depoliticization, creates a simultaneous detachment from reality and the urgent need for ordering the same reality. Contrary to a fashionable but non-political explanation according to which the rise of conspiracies is due to an extraordinary complexity of the modern world that an ordinary mind seeks to grasp with simple folk theories, conspiracy thinking, from a political viewpoint, is likely to result from a massive emotional disinvestment from politics.

There is a structural connection between resentment, the paranoid search for conspiracies, and nihilism. The paralysis of political action generates a sense of impotence and weakness, resulting in a withdrawal from politics and compensated by a strong vengefulness. Aggression finds no way out and makes the subject continuously withhold the political emotion, leading to a repressed and deferred rebellion that seeks a secret source of suffering in the world where the real source is inaccessible for political action. Finding the conspirators behind ordinary suffering offers a pleasure that substitutes for an impossible political action. The diverted political energy becomes (self-)destructive, pushing the subject towards demolition of all normative standards, rather than endorsing alternatives. As Boltanski argues, it is not a coincidence that this amalgamation of *frowzy* political emotions emerged simultaneously with the rise of mass newspapers in the late XIX century, in the wake of mass democracy. He writes that “This pathology arises when modern democracies, caught in the trap that arises as formal equality shifts towards real equality, drag individuals — primarily through schooling — out of their conditions of origin and give them hope of acceding to a social situation to which they cannot really lay claim, both because economic realities of society stand in the way and because the schools have misled these individuals” (2014: 180). The experience of significant deprivation that finds no discharging in the absence of the avenues for political action results in a detachment from politics and an increasingly vengeful and nihilistic attitude.

One can easily see why truth falls victim to this set of dark affects. Truth becomes disturbing. It is no longer some particular truth that involves some politically unbearable

effects, but rather the very idea of truth that should be chased away. While the engagement with truth requires political action, a desertion from politics demands truth to be repressed as such. As opposed to rebellion against the tyranny of truth, this nihilistic affect strives to eliminate truth from the domain of politics entirely. The defense of the relative autonomy of the political from the epistemic transmutes into the total subordination of the latter by the former.

This experience is manifest in a public sphere dominated by an explicit and continuous desire to repress truth. In the Russian case, as in many others, the propaganda apparatus nurtures violent nihilistic sentiment by relying on the cynical and relativist affect of a depoliticized subject. Rather than believe the propaganda, the audience learns to disbelieve everything and arrives at a conclusion that “everybody lies” and “nobody knows the truth”. The latent message of the propaganda is “you shouldn’t sincerely believe anyone, including us: it is in human nature to lie always; therefore, we offer you the most comfortable lie”. In a sort of undoing of Socrates, the propaganda joins Thrasymachus in claiming that there is no justice or truth other than what serves self-interest better. For that reason, the efforts to “make Russians learn the truth” are doomed: it is not the lack of truth that constitutes the demand for propaganda, but rather the resistance to it.

In fact, the constant imposition of supposed truth irritates the subject and helps to turn cynicism into nihilism. Skepticism regarding truth evolves into a resentment towards it. As a result, what is endorsed is not an alternative claim on truth, but rather an outright lie that does not even pretend to be truth. Many lies produced by the state propaganda machine are distinct precisely in their self-revealing character. Importantly, many plots emphatically refuse to be credible since they contain elements making them completely unbelievable, even when this is unnecessary. As a conscious self-exposure, it makes these accounts attractive for the audience that seeks pleasure in defying the very idea of truth. The hidden message here is that “this is obviously a lie, just like any other account — the only difference being that this account doesn’t pretend to be true”. This open defiance of truth is precisely what supports the account with a peculiar political emotion.

Arendt observes that “[the] liar, lacking the power to make his falsehood stick, does not insist on the gospel truth of his statement but pretends that this is his “opinion,” to which he claims his constitutional right. This is frequently done by subversive groups, and in a politically immature public the resulting confusion can be considerable. The blurring of the dividing line between factual truth and opinion belongs among the many forms that lying can assume, all of which are forms of action” (2006a: 245). One can, therefore, differentiate between the three stages of attack on the truth. In the first stage, truth is put within the confines of the political world where opinion reigns, and reminded that it has no extra-political authority over other opinions. The second stage sees truth relativized to the extent that its existence within and its relevance for politics is denied. The final stage marks the repression of truth where its claim to validity becomes so disturbing that obvious lies are preferred as manifest anti-truths. This evolution is paralleled

by the shift of emotional accents: rebellion is gradually eclipsed by passivity and cynicism, which, in turn, yields to aggressive nihilism and resentment.

Conclusion

As the relationship between truth and politics within the public sphere becomes increasingly strained, it triggers an emotional response in some segments of the public, fueling fear. The seeming collapse of political authority of truth raises concerns that irrationality prevails in public debate, making substantive argument impossible. Even worse, the rise of social media appears to sustain the disruptive tendencies technologically. In these circumstances, the defense of truth is often hailed as a sacred mission; to protect the political field from lies, the role of the masses should be restrained.

It can very well turn out that the remedy is worse than the disease. The discontent with truth reveals a properly political affect stemming from the lack of political subjectivity of the disaffected masses, rather than from its excess. The repression of political action in the name of truth is likely to result in the masses getting increasingly embittered, and proceeding from rebelling against the suppressive truth to loathe the idea of truth as such, causing attempts to banish truth from politics completely. The rise of post-truth is not an outcome of a relativization of stable scientific truth, but rather of an extreme atomization, of a breakup of the political domain where men are debating and judging each other's opinions. As Linda Zerilli emphasizes in her comment on Arendt, "the loss of the common world, not truth, is the problem that we face today, and that is a loss that cannot be made good by transcending the realm of human experience in which perspectives are formed or by developing new truth criteria" (2020: 162).

This article proposes to approach post-truth as a properly political phenomenon. This requires, first, a shift from the epistemic to the emotional content of the public sphere, following the view suggested by Tarde, and, second, an Arendtian reinterpretation of lying as a political resistance against repressive truth. Post-truth should be seen not as a political assault on rational cognition and debate, but rather as a manifestation of a deep political emotion that calls for transformation but can gradually evolve into nihilism and resentment. As against the rationalist critique, the post-truth should be dealt with not with a tyrannical imposition of epistemology onto politics, but rather through the steering of political affects beneath the resistance to truth. The temptation to deny the truth becomes irresistible when one no longer finds for themselves a place within this truth, when the truth basically tells the subject that they do not exist, just as mainstream economics today tells the people who are struggling to live a merited life that they should better repress their desires and aspirations. The lower classes are oftentimes more likely to embrace post-truth, and this is not due to their lack of judgment or some propensity to fall victims to populists who shamelessly disregard truth, which would be a completely unpolitical explanation. It is because the hegemonic truth is particularly unbearable for the lower classes so that they search for an opportunity to express their experiences re-

pressed by truth, and conspicuously follow populists who, at the very least, give them a chance to assert that they do exist.

The fears are hardly justified: mass media was known to create audiences disrespectful to truth at least since the advent of mass democracy. Adopting Tarde's approach to the public sphere allows seeing that rational truth is never sufficient to hold public communication together, for publics are united through shared affective states. This can also be seen as a clue to bringing truth back into the political game: rather than policing the public sphere from irrationality, one can learn that truth needs to trigger a collective emotion to gain political legitimacy. Indeed, as Michel Foucault noticed, the ancient form of truth-telling, *parrhesia*, is inherently political in that it implies a critical attempt at subverting the power relationship: "The parrhesiast is less powerful than his interlocutor" (2019: 44). Speaking the truth can be no less rebellious than denying it.

References

- Arendt H. (1972) Lying in Politics. H. Arendt. *Crises of the Republic*, Orlando: Harcourt Brace, pp. 1-48.
- Arendt H. (1998) *Human Condition*, Chicago; London: The University of Chicago Press.
- Arendt H. (2006a) Truth and Politics. H. Arendt. *Between Past and Future*, New York: Penguin Books, pp. 223-259.
- Arendt H. (2006b) What is Freedom? H. Arendt. *Between Past and Future*, New York: Penguin Books, pp. 142-169.
- Boltanski L. (2014) *Mysteries and Conspiracies: Detective Stories, Spy Novels and the Making of Modern Societies*, Cambridge; Malden: Polity Press.
- Bourdieu P. (1977) *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Brient E. (2000) Hans Blumenberg and Hannah Arendt on the "Unworldly Worldliness" of the Modern Age. *Journal of the History of Ideas*, vol. 61, no 3, pp. 513-530.
- Enroth H. (2021) Crisis of Authority: The Truth of Post-Truth. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, October.
- Farkas J., Schou J. (2020) *Post-Truth, Fake News and Democracy*, New York: Routledge.
- Forth C. (1998) Intellectuals, Crowds and the Body Politics of the Dreyfus Affair. *Historical Reflections / Réflexions Historiques*, vol. 24, no 1, pp. 63-91.
- Foucault M. (2008) *The Birth of Biopolitics. Lectures at the Collège de France, 1978-79*, New York: Palgrave Macmillan.
- Foucault M. (2019) *Discourse & Truth and Parrêsia*, Chicago; London: The University of Chicago Press.
- Fuller S. (2018) *Post-Truth: Knowledge as a Power Game*, London; New York: Anthem Press.
- Habermas J. (1993) *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Cambridge, MA: The MIT Press.

- Keyes R. (2004) *The Post-truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*, New York: St. Martin's Press.
- Kalpokas I. (2019) *A Political Theory of Post-Truth*, Cham: Palgrave Macmillan.
- Kuhn T. (2012) *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago; London: The University of Chicago Press.
- Laclau E. (2005) *On Populist Reason*, London: Verso.
- Marx K. (2010) Letter to Ludwig Kugelmann. K. Marx, F. Engels. *Collected Works*, Vol. 44, Lawrence & Wishart, pp. 131-134.
- McIntyre L. (2018) *Post-Truth*, Cambridge, MA; London: The MIT Press.
- Mirowski P. (2002) *Machine Dreams: Economics Becomes a Cyborg Science*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Mitterand H. (2013) The Dreyfus Affair and Its Images. M. Balakirsky Katz (ed.) *Revising Dreyfus*, Leiden: Brill, pp. 15-24.
- Negt O., Kluge A. (1993) *Public Sphere and Experience. Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere*, Minneapolis; London; University of Minnesota Press.
- Nietzsche F. (2010) On Truth and Lie in a Nonmoral Sense. *On Truth and Untruth*, New York: Harper Perennial, pp. 15-50.
- Plato (2005) *Meno and Other Dialogues*, New York: Oxford University Press.
- Prado C. G. (ed.) (2018) *America's Post-Truth Phenomenon: When Feelings and Opinions Trump Facts and Evidence*, Santa Barbara; Denver: Praeger.
- Salmon L. (2005) Gabriel Tarde et l'Affaire Dreyfus: Réflexions sur l'engagement d'un «homme de pensée». *Champ penal*, vol. II.
- Tarde G. (2010) The Public and the Crowd. T. N. Clark (ed.) Gabriel Tarde. *On Communication and Social Influence. Selected Papers*, Chicago; London: The University of Chicago Press, pp. 275-294.
- Waldron J. (1995) The Wisdom of the Multitude: Some Reflections on Book 3, Chapter 11 of Aristotle's Politics. *Political Theory*, vol. 23, no 4, pp. 563–584.
- Zerilli L. (2020) Rethinking the Politics of Post-Truth with Hannah Arendt. T. Bedorf, S. Herrmann (eds.) *Political Phenomenology: Experience, Ontology, Episteme*, New York; London: Routledge, pp. 152-164.

Против тирании правды

Григорий Юдин

Профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук; исследователь Университетского Центра человеческих ценностей, Университет Принстона. Адрес: Газетный пер., 3-5, стр.1, Москва, 125009, Российская Федерация. E-mail: greg.yudin@universitas.ru

В последнее время положение правды в публичной политике вызывает большие опасения — это видно по стремительному взлёту популярности понятия «пост-правда». Правда выглядит беззащитной перед лицом масс, которые готовы приветствовать ложь, и это порождает

страхи, что неограниченная демократия вместе с новейшими коммуникационными технологиями угрожает разрушить публичную сферу. В данной статье предлагается подчеркнута политический подход к анализу вызовов, с которыми сталкивается правда. В основе лежит предложенный Габриэлем Тардом взгляд на публику как толпу, который позволяет обратить внимание на то, что за распространением лжи и отрицания правды в публичной сфере стоит особый политический опыт. Далее с опорой на наблюдения Ханна Арендт относительно напряжения между истиной и политикой показано, что попытки навязать истину могут быть тираническими по своей сути и провоцируют чисто политическую мятежную реакцию — отрицание истины. В статье предлагается различие между двумя типами политико-эмоционального опыта, который может стоять за политикой сопротивления правде — отрицанием правды и враждебностью к правде. Второй тип опыта является результатом масштабной деполитизации и распространения цинизма и нигилизма. Центральный тезис статьи состоит в том, что попытки защитить истину внеполитическими средствами основаны на неверном понимании причин сопротивления правде и чреваты разрушительными последствиями. В статье обсуждается необходимость восстановления политической легитимности истины.

Ключевые слова: истина, публичная сфера, аффекты, Ханна Арендт, пост-правда, Габриэль Тард, деполитизация

Концепция мессианского времени у Вальтера Беньямина и ее политические импликации

Илья Иншаков

Старший преподаватель, Департамент политики и управления,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Адрес: Покровский бульвар, д. 11, Москва, Россия, 109028.
E-mail: iinshakov@hse.ru

Несмотря на постоянное присутствие Беньямина в современной исследовательской литературе, содержание одного из его ключевых политико-философских концептов — *Jetztzeit*, «времени-сейчас» — остается весьма туманным, во многом из-за склонности анализирующих его исследователей следовать нарративному и метафорическому стилю самого Беньямина. Автор данной статьи намеренно использует строго аналитический подход, чтобы зафиксировать ключевые характеристики концепта и их соотношение друг с другом. Для этого в первой части статьи концепт анализируется через призму родственных понятий «мессианского времени» и «времени-кайроса». Во второй части автор прослеживает возможные политические импликации разных прочтений концепта, в том числе в связи с беньяминовским же концептом «божественного насилия», показывая, что разные интерпретации приводят к диаметрально противоположным оценкам позиции самого Беньямина — от сторонника «чистой критики» до активиста «прямого действия». В заключение указывается на значимую роль проекта Беньямина как альтернативы «мейнстриму» Франкфуртской школы (Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер) в контексте современных перспектив возрождения марксистской политической утопии.

Ключевые слова: мессианское время, кайрос, утопия, божественное насилие, Вальтер Беньямин, Джорджо Агамбен

Jetztzeit и Zeitgeist двух эпох

В генеалогии левой мысли XX столетия Вальтер Беньямин традиционно проходит под маркой «Франкфуртской школы», общим местом в отношении которой всегда был упрек в отказе от соединения теории и политической практики (начиная как минимум с Lukács, 1971 [1962]). Биография немецкого мыслителя действительно не может в полной мере считаться отражением хрестоматийной ситуации конфликта философа и города — в отличие от Сократа, Беньямин не стремился прямо противопоставить свои политические взгляды этосу своего политического сообщества (по крайней мере, до момента эмиграции), хотя для обоих смерть оказалась напрямую с этим этосом связана. В известной метафорической паре Беньямин во многом был ближе к «Иерусалиму», нежели к «Афинам»: на место стройной политической философии он поставил попытку совместить разрозненные критические интуиции в отношении статус-кво с мессианским *élan* иудейской теологии — притом что профессиональным теологом Беньямин не был и иудаизмом как религиозной и национальной идентичностью интересовался слабо, несмотря на периодические попытки выучить

иврит (Шодем, 2014). Если же вернуть метафору города на территориальный план, то можно увидеть, что ключевых¹ городов в жизни Беньямина было несколько — Берлин, Париж, Москва — и проследить результат: из первого он как еврей эмигрировал под угрозой стать жертвой нацистских репрессий; во втором был интернирован французскими властями, искавшими «пятую колонну» среди немецких иммигрантов; в третьей не нашел дружественного понимания своим амбициям журналиста и критика. Наконец, в ночь на 27 сентября 1940 года Беньямин покончил жизнь самоубийством после провалившейся попытки перейти франко-испанскую границу в каталонском городке Портбю с целью спасения от вишистского режима.

Это пространное описание нацелено на фиксацию одного простого факта: жизнь Беньямина и его философское осмысление времени в предельном, концентрированном виде отразили *Zeitgeist* его собственной эпохи — эпохи политического поражения левых на Западе (Андерсон, 2016). Со злой иронией можно заметить, что сам трагичный акт самоубийства стал в некотором роде иллюстрацией *Jetztzeit*, «времени-сейчас»², поскольку, как свидетельствует в своих воспоминаниях Ханна Арендт, он мог произойти *только в эту ночь*: днем раньше граница с Испанией еще была открыта, днем позже Беньямин знал бы о закрытии, еще находясь в Марселе и имея возможность подумать о других вариантах (Арендт, 2003), — однако особая констелляция событий результировала в экзистенциальный, выходящий за пределы обычного течения жизни финал³.

Как ни странно, но это является парадоксом лишь на первый взгляд — при столь мрачном биографическом контексте в последние десятилетия наблюдается всплеск *вдохновенности* Беньямином и как теоретиком культуры (Chernovskaya, 2020), и как политическим философом, в том числе в связи с его концепцией мессианского времени⁴. Последняя оказывается политически актуальной для левых в свете отмененного «конца истории» (Фукуяма, 1990), но никуда не ушедшей «левой меланхолии», обозначенной когда-то самим Беньямином (Беньямин, 2004; о современной роли Беньямина для левых в ситуации «анти-*Jetztzeit*» см.: Traver-

1. В смысле стоявшего за ними политического и философского значения. В смысле персональной, биографической ценности были, разумеется, и академически желанный и принесший разочарование Франкфурт; и творчески поразивший Беньямина Марсель; и Капри, на котором судьба свела его с коммунисткой Асей Лацис (которая впоследствии познакомит его с Бертольдом Брехтом); и т. д.

2. В дальнейшем я буду использовать этот перевод оригинального немецкого термина, вслед за «Now-time» Сьюзен Бак-Морс (Buck-Morss, 1989) и Сами Хатиба (Khatib, 2013) и его русскоязычными переводами (см.: Хатиб, 2013).

3. С другой стороны, мотив самоубийства был свойственен для Беньямина на протяжении разных периодов его жизни (см.: Айленд, Дженнингс, 2018); таким образом, финальный акт проявляет *Jetztzeit* и в этом аспекте — концентрированного выражения того опыта или той потенции, что в «растянутом» виде скрыты в повседневной реальности (см. об этой особенности *Jetztzeit* далее).

4. Говоря это, я не имею в виду невостребованность других концептов из наследия Беньямина — в качестве примеров можно указать на политико-философский проект «Homo Sacer» Джорджо Агамбена, выстроенный вокруг исходно беньяминовского понятия «голой жизни» (Агамбен, 2011); использование теоретических категорий Беньямина для анализа террористического насилия (Вайбель, 2018); потенциал его ранней теории языка для медиаисследований (Болдырев, Чубаров, 2012).

so, 2016). Шире, общим местом в наши дни стали социологические констатации «ускорения времени» (Вайсман, 2015) и потери человеком контроля над временем своей жизни (Корсани, 2015), а также «поворота к памяти» и практикам музеефикации прошлого (Ямпольский, 2018). В этом смысле оригинальный взгляд Беньямина на возможности ре-конфигурации прошлого и настоящего в социальном времени становится ценным концептуальным ресурсом для описания статус-кво.

Однако чем более востребованной становится концепция «времени-сейчас», тем отчетливее выявляется ее концептуальная «непрозрачность», сложность установления с ее помощью и внутри нее самой строгих аналитических различений — вплоть до политически не-нейтрального перекодирования Беньямина в меланхолического и разочарованного «теоретика памяти» (восходящего как минимум к Джеймисон, 2014 [1971]), чья теория не может вести к проспективному взгляду на политику (см. об этом: Khatib, 2016; Khatib, 2017). Можно выделить ряд факторов, определяющих такое положение дел. Во-первых, это авторская *форма* мысли: ключевые для данной темы тексты представляют собой отдельные короткие эссе или тезисы, эксплицитно не связанные друг с другом и разделенные годами и даже десятилетиями. Во-вторых, это *стиль* текстов — избыливающий метафорами и иносказаниями, не нацеленный на строгую и стабильную формулировку основных концептов — то, что сам Беньямин, вслед за Бертольдом Брехтом, называл «грубой мыслью», противоположной «любви к тонкостям» (Арендт, 2003). В-третьих, это содержание этих текстов, балансирующее на грани трудно упорядочиваемого «сюрреалистического опыта и мотивов еврейской мистики» (Хабермас, 2008b) и ставящее перед исследователями вопрос о том, возможно ли вообще прочитывать Беньямина «секулярно» и применять его теологические образы к социальным феноменам (см.: Scholem, 1976; McNulty, 2007; возражения такому сомнению см., например, в: Хабермас, 2008b; Weiner, 1984). Наконец, существование многочисленных вторичных источников также не способствует прояснению дела. Комментаторы, как правило, склонны уважительно следовать манере письма самого Беньямина и пересказывать его собственным аналогичным нарративом из беньяминовских понятий и образов, не стремясь отделить их друг от друга⁵.

Исходя из этого, я полагаю, что установление каркаса строгих аналитических разграничений и определений внутри концепции Беньямина (во многом вопреки его собственному стилю) является важной задачей для теоретической работы с его наследием сегодня. Данная стратегия строится на двух исходных предположениях. Во-первых, о том, что такой анализ вообще возможен: я полагаю, что тексты Беньямина представляют в принципе поддающийся аналитической редукции и открытый для применения к социальной проблематике материал, в контексте которого отдельные тезисы, примеры и метафоры имеют самостоятельное значе-

5. В качестве типичного примера см. недавно переведенную книгу Боянич, 2018; те же черты в его книге, хотя и более благосклонно, отмечает в своей рецензии Симакова, 2019. Более строгий анализ представлен в Lindroos, 1998, но все еще в формате нарратива-глоссы, комментария каждого тезиса в отдельности, а не выделения сквозных характеристик концепта из текста в целом.

ние и могут быть интерпретированы как указания на содержательные концептуальные сюжеты, скрывающиеся за ними. Во-вторых, о том, что степень данной редукции оказывается не «критической», то есть позволяет понять больше, чем «выбросить за борт», — с этой целью, особенно во второй части статьи, я намеренно ввожу разные возможные интерпретации одних и тех же авторских тезисов. Коротко говоря, я исхожу из допущения, что данная аналитическая работа одновременно *и возможна, и продуктивна*.

При этом полная реализация данной стратегии — прояснение всех возможных дефиниций и различий внутри концепта *Jetztzeit* — невозможна в масштабах одной статьи. Ее цель скромнее: выявить базовые характеристики *Jetztzeit* путем его сопоставления с концептуальной рамкой более общего понятия *kairos*, а также проследить некоторые политические импликации, которые возникают на этом моменте внутри теории Беньямина и отчасти у его современных комментаторов.

Основными источниками в этой работе служат «Тезисы о понятии истории» и концептуально прилегающий к ним «Теолого-политический фрагмент», а также, в некоторых аспектах, ранний текст «К критике насилия». Для удобства чтения полные цитаты из работ Беньямина вынесены в приложение, в основном тексте на них даны ссылки арабскими цифрами в скобках; в случае «Тезисов о понятии истории» в приложении римскими цифрами после цитат обозначены номера цитируемых тезисов⁶.

Jetztzeit как kairos

В качестве отправной точки я использую концептуальный анализ понятия *кайроса*, проведенный в классической статье Джона Смита (Smith, 1969). Помимо аналитической строгости, в данном случае достоинством этой работы является то, что Смит *не* ссылается на Беньямина, фиксируя концепты на другом историческом материале (а сам Беньямин эксплицитно ни разу не прибегает к этому понятию), что позволяет использовать его в качестве «внешней» рамки при анализе построенный Беньямина⁷.

Справедливо вспоминая расхожий афоризм о том, что применительно к любому феномену «у греков было для этого [специальное] слово», Смит объясняет, что современная категория времени передавалась у греков двумя отдельными терминами — *chronos* и *kairos* (Smith, 1969: 1). Первое определяется Аристотелем как «число движения по отношению к предыдущему и последующему» (Аристотель, 1981: 219b, 149): это «количественное» время, в котором важен не отдельный момент времени сам по себе, а их последовательность и количество. Хронос от-

6. Цитаты приводятся по источникам: Беньямин, 1995 (в случае уточнений: Беньямин, 2012b); Беньямин, 2012а; Беньямин, 2012с.

7. Результаты анализа Смита валидируются выделением схожих, но менее четко отделяемых друг от друга элементов понятия *kairos* у других исследователей (см., например: Тиллих, 1995; Агамбен, 2018), что подтверждает возможность использовать работу Смита в качестве отправной точки.

крывает возможность периодизации событий, отвечая на вопросы «когда?» и «как долго?» и являясь, таким образом, необходимым условием для любого другого способа мышления о времени, в том числе кайроса. Согласно Смиуту, последний обладает тремя характеристиками (Smith, 1969: 6), которые следует сопоставить с «временем-сейчас» по Беньямину.

Во-первых, кайрос — это «качественная» характеристика времени как «правильного» для того, чтобы произошло что-то, что не может произойти в любой обычный момент времени. Действительно, Беньямин апеллирует к пониманию времени пророками, согласно которому «каждая секунда в нем была маленькой дверью, через которую мог войти Мессия» (1), и противопоставляет его «гомогенному и пустому времени» исторического прогресса. Беньямин акцентирует именно мессианский и трансформирующий характер *Jetztzeit* в противовес всему предыдущему употреблению этого термина в немецкой традиции как времени мирского, неспособного из «теперь» заглянуть за горизонт грядущего (см.: Агамбен, 2018: 183).

Во-вторых, кайрос — это время конфликта и кризиса, которое ставит проблему и взывает к ее решению. Беньямин выражается более конкретно: для него рефлексия о времени неотделима от истории классово-борьбы⁸ (2) и анализа культурных ценностей как артефактов минувших сражений, трофеев в руках победителя, «документов варварства» (3). Сами эти строки написаны им в 1939 году, в эмиграции, в самом начале мировой войны, в эпоху, когда «мертвые не уцелеют, если враг победит. А этот враг не устает побеждать» (4). Такова предельная стадия конфликта и кризиса.

В-третьих, как результат той же проблемы, что привела к кризису, кайрос открывает окно возможностей для достижения определенных целей (Смит, впрочем, не поясняет, должны ли быть эти цели связаны с разрешением именно этой проблемы); эта возможность сопряжена с вниманием к истории как «реальному порядку событий», а не «порядку интерпретаций». Этот момент заслуживает большего внимания к интерпретации самого Беньямина. Эвристически он, с одной стороны, резко возражает против техники историзма, основанной на «вживании» историка в эпоху, то есть де-факто интерпретации ее с точки зрения победителей (5); в то же время он призывает, по сути, реконструировать интерпретацию с точки зрения побежденных (6). Политически Беньямин — *на эксплицитном уровне*

8. С учетом этого, концепция *Jetztzeit*, при всех ее теологических истоках, должна быть осмыслена в том числе в контексте очень конкретных политических дебатов тех лет, исходно связанных с ленинским анализом «текущего момента» и включавших полемику Владимира Ленина одновременно с Карлом Каутским о войне как благоприятном моменте для революции и левыми коммунистами о (не) медленности мировой революции; критику Дьердем Лукачем Розы Люксембург за гипертрофирование элемента спонтанности в революции, а II Интернационала — за исключительно абстрактный характер признания текущей ситуации в качестве революционной; «антиревизионистскую» критику самого Лукача Абрамом Дебориным и Ласло Рудашем; трансформацию Лукача под влиянием этой критики и критику уже этой трансформации как «вынужденного примирения» со стороны Теодора Адорно; и т. д. Некоторые из этих тезисов обсуждаются ниже, но полноценный анализ данной полемики в связи с и через призму концепции *Jetztzeit* Беньямина является задачей отдельного текста.

(запомним это) — выражается более однозначно: момент кризиса, поражения и измен союзников перед лицом фашизма — тот самый момент, когда возникает сама мысль об освобождении мира, в том числе от сетей таких альянсов (7).

Прежде чем углубиться в рассмотрение последнего сюжета детальнее, зафиксируем соотношение хроноса и кайроса. Их ключевые признаки, как было показано, во многом выстроены в оппозиции друг к другу. Однако Смит подчеркивает, что можно найти примеры, когда естественная длительность времени-хроноса результирует в социально определяемую качественную характеристику «правильного» времени-кайроса (например, органический процесс созревания вина в бутылке формирует «правильный» период для его наилучшего употребления человеком (Smith, 1969: 4)). Нечто сходное на материале Послания к Римлянам апостола Павла показывает Джорджо Агамбен: «*chronos* есть то, в чем есть *kairos*, а *kairos* есть то, в чем мало *chronos*» (Агамбен, 2018: 93) — эти модусы пересекаются, кайрос представляет собой не какое-то отдельное время, но трансформацию хроноса, «схваченный *chronos*» (Агамбен, 2018: 94). Мессианское время наступает (или возвращается) тогда, когда обычное течение времени уже существует. У Бенямина это пересечение хорошо заметно в проявляющейся *реактивности* теологических фигур или действий: Мессия приходит как освободитель (следовательно, от чего-то существующего/для кого-то существующего) и как победитель (существующего Антихриста)⁹ (4); прообразом беняминовского «божественного насилия» в Библии является эпизод, в котором божественная кара проявляется в ответ на начатый мятеж левита Корея (см.: Боянич, 2018); наконец, сама политическая теология, представленная в роли карлика в знаменитой метафоре шахматного автомата, если дословно следовать тексту (11), лишь *отвечает* своим ходом на ход оппонента (Боянич, 2018).

Таким образом, мы можем на данном этапе зафиксировать четыре базовых признака «времени-сейчас». Оно качественно отличается от привычного нам в повседневной жизни «гомогенного времени». Оно актуализируется на фоне конфликта и кризиса, для Бенямина — исторического конфликта между классами в его предельной стадии на момент первой половины XX века. Будучи вызвано к жизни проблемным контекстом, «время-сейчас» открывает новые возможности как эвристического, так и политического толка (о последнем более подробно речь пойдет в следующей части). Наконец, «время-сейчас» как кайрос не является некоей «параллельной временной реальностью» для хроноса, столь же постоянной и «счетной», скорее оно представляет собой качественную трансформацию текущего временного ритма.

9. Здесь стоит напомнить, отчасти оттеняя попытку Гершома Шолема прочитать текст Бенямина через призму иудейской мистики (Scholem, 1976; Шолем, 2014), что и с христианской традицией Бенямин был хорошо знаком. Так, значительная часть «Немецкой барочной драмы» представляет собой анализ проблематичных отношений между барочной драмой и драматургией христианства (среди прочего, Бенямин демонстрирует знакомство с раннехристианской интерпретацией царя Ирода как Антихриста) (Бенямин, 2002). Сам Шолем в биографии также упоминает их дискуссию с Бенямином по поводу метода Отмара Рутца, применявшегося в те годы для анализа как Танаха, так и Нового Завета, и подчеркивает, что «эта проблема его [Бенямина. — И. И.] очень интересовала» (Шолем, 2014).

К политическим импликациям *Jetztzeit*

Цитированные выше реплики Бенямина (1, 6) при первом рассмотрении выглядят классическим примером «активистской» философской позиции, столь характерной для критической теории. Однако в том, что я буду называть «политической» плоскостью подхода Бенямина — то есть там, где из принятия определенных теоретических позиций следуют, с той или иной степенью однозначности, выводы о реальной политике (в пределе, об изменении этой политики в духе одиннадцатого тезиса о Фейербахе у Маркса), — возможно выделить менее очевидные сюжеты, заслуживающие внимания.

Для того чтобы сделать возможным подобное соположение «философского» и «политического» слоев мысли Бенямина, необходимо указать на ее принадлежность к области *политической теологии* (см.: Jacobson, 2003). Последнюю можно определить как способ мышления, конституированный рассмотрением политических феноменов сквозь призму теологических понятий и образов (De Wilde, 2011) или даже структурным параллелизмом явлений из мира политического и мира сакрального (Шмитт, 2000; McNulty, 2007). В данной аналитической рамке действующий политический порядок может быть представлен как *катехон*, то есть удерживающий мир от апокалиптического крушения (Шмитт, 2008; см. также: Будрайтскис, 2021), или, наоборот, как воплощение земной несправедливости; во втором случае становится возможным отождествление (с разной степенью буквальности) политической революции с *приходом мессии*, к фигуре или атрибутам которого Бенямин апеллирует в тексте как минимум четырежды (это же, как мы увидим ниже, позволяет комментаторам сопоставлять опыт таких на первый взгляд далеких фигур, как апостол Павел и Владимир Ленин, — но и об ограничениях такого способа мысли будет сказано также). Неслучайно, что в другом своем ключевом тексте, посвященном анализу посягательства, эмпирически фиксируемого насилия, Бенямин вводит категорию «божественного» насилия, обладающего вполне теологическими атрибутами (например, «божественное [насилие. — И. И.] действует искупляюще»), но в то же время *каким-то образом* (см. об этом ниже) связанного с реальным политическим опытом — в центральной части текста немало внимания уделяется анализу всеобщей политической забастовки, до того концептуально описанной Жоржем Сорелем (Бенямин, 2012а).

Также следует вспомнить, что ключевым текстом в европейской истории, выстроенным в том числе вокруг понятия кайроса, является Послание к Римлянам апостола Павла. Джорджо Агамбен — один из ведущих интерпретаторов Бенямина сегодня — в уже упомянутой книге, посвященной комментированию священного текста, прямо настаивает на том, что Послание Павла и «Тезисы» Бенямина содержательно «образуют созвездие» и являются «двумя величайшими мессианскими текстами данной традиции» (Агамбен, 2018: 185). Однако, как отмечает в своем комментарии его переводчик Сергей Ермаков, существует важная разница между восприятием мессианского времени у апостола Павла и у Бенямина, кото-

рую Агамбен, вольно или невольно, стремится затенить (Ермаков, 2019). Чаще всего Павел использует *каірós* как самостоятельную смысловую единицу, наиболее распространенный перевод которой — «благоприятный момент»; в одном из мест Послания именно это значение подчеркивается особо¹⁰. С точки зрения Ермакова, «благоприятность» здесь может пониматься сугубо прагматично — в конечном счете Павел обращается к еkkлeсиям верующих, тем самым организуя их. Это сближает высказывания Павла с работами Ленина, а апостольское понимание *кайроса* как «благоприятности момента» — с ленинским «конкретным анализом конкретной ситуации», умением идентифицировать благоприятный момент для революционной ситуации (Ермаков, 2019). Аналогичным образом Славой Жижек задается вопросом о том, не должно ли напомнить апостольское «уже, но еще нет»-время ситуацию между февралем и октябрём 1917 года, когда «революция уже произошла, старый режим пал, наступила свобода, но впереди еще тяжелая работа» (Жижек, 2009: 18-19)¹¹. Симптоматично, что в работе с названием «Кукла и карлик», недвусмысленно отсылающей к упоминавшемуся выше образу из первого беньяминовского тезиса «О понятии истории», именно в этом месте Жижек не упоминает Беньямина совсем.

Что может сказать нам Беньямин по этому поводу? В свете изложенного мы должны, следуя мысли Ермакова, вновь взглянуть на первую из цитат Беньямина, приведенных выше, но теперь сделать акцент не на «*вхождении Мессии*» в мир, а на том, что это может произойти в «каждую секунду» (1). В таком случае, заключает Ермаков, «время-сейчас» самого Беньямина является ничуть не менее «гомогенным», что и критикуемое им время прогресса — нечувствительным к тому, в какой именно «правильный» (по Смуту), «благоприятный» (по апостолу Павлу) момент произойдет *пришествие Мессии* (читай — революция)? Историко-философски тезис о том, что указание на «каждую секунду» противоречит в принципе «качественному» характеру *Jetztzeit*, зафиксированному выше, представляется мне схоластическим: весь дух текста Беньямина направлен на подчеркивание этой качественной особенности времени. Важнее, однако, политический вывод, который делает из этого Ермаков: политически Беньямину нечего нам предложить, его мессианизм равно далек от «милитантного» мессианизма Павла и от ленинского анализа революционной ситуации, он ничего не прибавляет к реальному анализу статус-кво, которым заняты противоборствующие стороны.

Исходя из такой постановки проблемы, можно наметить контуры ответа на нее и контуры новых вопросов, к которым эти ответы приводят. Во-первых, развивая аргумент Ермакова, мы можем обратиться к другому источнику — тексту «К кри-

10. Агамбен же концентрирует свое внимание на более редкой в тексте единице *vñv каірós* («время сего часа»), по духу более близкой текст Беньямина (Ермаков, 2019).

11. Равно как мессианское время у самого Павла, в интерпретации Агамбена — это «оперативное время» и «время подытоживания» — время, которое «требуется времени, чтобы прийти к концу» (Агамбен, 2018).

тике насилия», где Беньямин, постулируя божественное насилие, напрямую сообщает, что в реальности люди не могут принять решение о том, имело ли место в конкретном случае именно «божественное» или «чистое» насилие в противоположность более зримому мифическому насилию (8). Среди прочего, это открывает в его теории не вполне решенную проблему субъекта политического действия: «чистое насилие» возможно в качестве идеи, но не в качестве («суверенного», говоря по-шмиттовски) решения о его применении, не в качестве «решающего знания» о том, как и когда эта идея может быть актуализирована (Горяинов, 2013; Болдырев, Чубаров, 2012: 285).

Однако в этот момент аргумент начинает работать в противоположную сторону. Следуя Беньямину, Даниэль Бенсаид метко называет это незнание *ставкой*, которую каждый раз должна делать революция, если она хочет осуществиться (Bensaïd, 1997). Иными — Наполеона — словами, приходится «ввязываться в бой, а потом смотреть», в стиле Огюста Бланки *предполагать* каждый момент времени возможным для действия и своей активностью *создавать* его в качестве такового (Магун, 2008). В противном случае субъекта действия подстерегает обратная опасность, которую и Роза Люксембург (см. об этом: Жижек, 2009), и сам Беньямин атрибутируют немецким социал-демократам: так и не начать действовать, поскольку по-настоящему благоприятный момент не наступит никогда, но успокаивать свое бездействием тем, что оно — бездействие — является стратегически верным ожиданием (9). В этом контексте понятен тезис Перри Андерсона о том, что в пессимистичном взгляде Беньямина на мир отражается упадок духа в западном марксизме 1930-х годов, столкнувшегося с чередой собственных поражений, а также с размежеванием с политически более успешным, но ценностно спорным большевистским опытом, организованным той самой ленинской стратегией «поиска благоприятного момента» (который в силу исторических обстоятельств наступил для большевиков) (Андерсон, 2016)¹². Однако важно не только то, что Беньямин фиксирует кризис, но и то, что он, вопреки этому кризису и собственному (и чьему бы то ни было) незнанию природы мессианского искупления, продолжает об этом искуплении говорить.

Во-вторых, можно посмотреть на этот пункт из противоположной перспективы. В конечном счете отождествляющий темпоральное мессианство апостола Павла и Вальтера Беньямина Агамбен клонит вовсе не к «революционной ситуа-

12. Более того, здесь становится понятен и сущностный «зазор» между теологией и политикой: для верующего человека (тем более — для мессии) любой момент действительно является благоприятным, поскольку эта благоприятность гарантирована трансцендентальным образом — наличием Абсолюта, аналог которого сложно (или невозможно) найти в посюсторонней политической реальности. К примеру, попытка рассмотреть апологию дел (*contra* слов) как подлинного проявления веры из Послания Иакова в качестве теологического обоснования для политического call-to-action в условиях отсутствия видимой и достижимой цели закономерным образом поднимает следующий вопрос — о том, что гарантирует осмысленность и обязывающую силу такой практики в ее секулярном, посюстороннем измерении (см. дискуссию по итогам доклада: Ермаков С. Послание Иакова как активистский текст // Конференция «Эстахологическое измерение политики». СПб.: Центр практической философии «Stasis», 2022).

ции», не к активации рабочего класса «революционным авангардом партии» в духе Ленина. Ровным счетом наоборот, точкой сборки политической теории Агамбена в этом пункте становится павлианское понятие *katargesis*, то есть приостановки, дезактивации (Агамбен, 2018) или, в удачном переводе другой его работы на русский язык, *субботства* (Агамбен, 2019). Для Агамбена задача состоит вовсе не в том, чтобы инвестировать в машину власти, тем самым лишь умножая ее мощь (как это не раз было верно и едко предсказано противниками революции, начиная с Эдмунда Берка). Сама «природа» человека, в отличие от природы любой из вещей, состоит в его лишенности конкретного дела, обращение к которому может происходить только постфактум, в реальности опыта; но как таковой человек конституирован бездеятельностью, он есть «животное субботы» (Агамбен, 2019). Подобный ход мысли приводит нас к вопросу о том, должно ли обращение к кайросу автоматически включать в себя обращение к действию-во-время-кайроса?

Возвращаясь к Беньямину, можно зафиксировать две плоскости реализации *бездеятельного кайроса* в его подходе. Первый, «философский» пласт связан с мессианской самоценностью верного видения истории как такового — именно историк является для Беньямина фигурой надежды в ситуации последнего кризиса (4). Петар Боянич тонко демонстрирует двойственность этой позиции: работа революционного историка — «история проигравших», отмечающая на хронологической линии реперные точки, вскрывающая историческую контингентность статус-кво — открывает «резерв мышления», являющийся важным условием возможных изменений. Но одновременно работа исторического материалиста лишь приближает остальных к пришествию Мессии/революции, но ни в коем случае не определяет его, остается «параллельной» изучаемому историческому процессу (Боянич, 2018). В таком случае Беньямин уже не «бланкист», а автор критической генеалогии, «жеста в духе Ницше», смыслом которого является не понимание ради (дальнейшего) действия, а превращение «самого понимания в процесс изменения» (Горяинов, 2013: 12).

Второй, «практический» ответ (стоит ли уточнять, что разделение «философского» и «практического» здесь в значительной степени условно?) на поставленный вопрос можно отыскать в тексте работы «К критике насилия». Именно *отыскать*, поскольку кажется, что для самого Беньямина под этим углом в тот момент вопрос не стоит. Речь идет о следующем. Обсуждая идею стачки как права на насилие, Беньямин *безлично*, не от своего лица вводит следующее замечание: «Имеется возражение, заключающееся в том, что *отказ от выполнения действий, не-деяние, чем, в сущности, и является забастовка*, вообще не может быть названо насилием» (10; курсив мой. — И. И.). Таким образом, забастовка концептуализируется не как конкретное действие с определенной спецификой, но, напротив, вся ее специфика состоит в *не-деянии* (проговаривая это, следует держать в уме и концепт *katargesis* Агамбена). Сам Беньямин не задерживается на этом моменте, он быстро переходит к более важной для него цепочке сооб-

ражений: не-деяние нельзя назвать таковым, если существует принципиальная готовность вернуться к действию, то есть имеет место самый обыкновенный шантаж, как это и происходит в случае классической забастовки — и только специфика сорелевской всеобщей стачки в том, что рабочие не готовы вернуться к работе, покуда форма труда не претерпит полное, имманентное ей самой (в противовес внешнему улучшению) изменение, освобождение от принуждения. Беньямин не замыкает эту мысль в круг: можно ли тогда сказать, что *в рамках нынешней формы труда (в текущем временном горизонте, оперируя терминами концепции времени) во время всеобщей стачки рабочие совершают не-деяние, субботничают?* В таком случае это и есть «политический рецепт» по Беньямину, высказанный задолго до его экспликации Агамбенем — остановка и отказ от инвестирования в ту машину гувернментальности¹³, которая может поддерживать себя только в перманентном движении. Более того, снимается зафиксированное выше напряжение между мессианизмом Беньямина и militantной тактикой поиска «правильного момента» — вопрос должен быть поставлен о том, что политически эффективным является не бездействие per se, но *отказ от действия в правильный момент времени*.

Мысль в горизонте Jetztzeit

Одной из целей данного текста было продемонстрировать, насколько продуктивным может являться сегодня для теоретических дискуссий понятие «времени-сейчас», предложенное Вальтером Беньямином почти столетие назад. Вне зависимости от справедливости конкретных представленных выводов, мы можем видеть, как постановка вопроса о Jetztzeit влечет за собой сложные дискуссии о политической субъектности, специфике исторического знания, разнообразии возможных темпоральных режимов (в противовес их гомогенизации на уровне нашей «колонизированной» темпоральной повседневности) и т. д. В силу значимости концепта актуальна аналитическая работа по изучению его составляющих и связей между ними. На данном этапе в качестве таковых выделены: акцент на качественной природе времени (кайрос) в противовес гомогенности повседневного хода дел (хронос); актуализация в условиях кризиса и конфликта; открытие новых возможностей как эвристического, так и политического толка; взаимопроникновение профанного и мессианского «времен», реактивная природа возникновения и разворачивания последнего. Дальнейшее продвижение может включать в себя анализ «времени-сейчас» на контрасте с другими типами восприятия времени (циклическим, линейно-истористским, линейно-прогрессистским), а также анализ таких

13. Имеется в виду способ управления современными обществами свободных индивидов (и соответствующий ему тип мышления о человеке и власти), описанный Мишелем Фуко в его поздних работах под названием «*Gouvernementalité*». «Грубая» транслитерация французского неологизма позволяет избежать ошибки, присущей его литературным переводам («правительность», «правительственность») — отождествления этой модели управления с «правительством» в узком смысле слова (Каплун, 2019).

его свойств, как эсхатологичность и дисконтинуальность (и того, как эта дисконтинуальность сочетается с отмеченной «вплетенностью» кайротического времени в хронологическое).

Точно так же фигура Вальтера Беньямина с его неизбежным мессианизмом оказывается релевантной в контексте современных споров о «конце левой утопии». Развилка между «мейнстримом» Франкфуртской школы (в первую очередь в версии Макса Хоркхаймера, но во многом и Теодора Адорно, несмотря на то что последний многое заимствовал у Беньямина на уровне концептуального аппарата — от ключевого понятия констелляции до квазирелигиозной темы искупления), нормативно выражающим философское разочарование в левых надеждах на эмансипацию, с одной стороны, и вариантом «философии надежды» в концепции мессианского времени Беньямина — с другой, должна быть осмыслена сегодня как одна из ключевых точек на пути эволюции левой политической теории (в частности, западного марксизма) к ее нынешнему состоянию. Анализ политических импликаций *Jetztzeit* дает широкий спектр возможных интерпретаций философии Беньямина — от признания ее политической нерелевантности или указания на ценность «чистой критики» до выводов о ее бланкистском пафосе или радикальном вызове всей традиционной политической философии действия с позиций приостановки политической деятельности как таковой.

Литература

- Агамбен Дж. (2011). *Номо Sacer*. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Издательство «Европа».
- Агамбен Дж. (2018). Оставшееся время. Комментарий к Посланию к Римлянам. М.: Новое литературное обозрение.
- Агамбен Дж. (2019). *Номо Sacer*. Царство и слава. К теологической генеалогии экономики и управления. М.: Издательство Института Гайдара.
- Айленд Х., Дженнингс М. (2018). Беньямин. Критическая жизнь. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС.
- Андерсон П. (2016). Размышления о западном марксизме. М.: *Common place*.
- Аристотель (1981). *Физика // Аристотель*. Сочинения в четырех томах. Т. 3. М.: Мысль. С. 61-262.
- Арендт Х. (2003). Люди в темные времена. М.: Московская школа политических исследований.
- Бадью А. (2005). Как можно мыслить политику? Краткий трактат по метаполитике. М.: Логос.
- Беньямин В. (1995). О понятии истории // *Художественный журнал*. № 7.
- Беньямин В. (2002). Происхождение немецкой барочной драмы. М.: Аграф.
- Беньямин В. (2004) *Левая меланхолия // Беньямин В. Маски времени*. СПб.: Sympo-sium. С. 376-382.

- Беньямин В.* (2012a). К критике насилия // *Беньямин В.* Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. Сб. статей / Сост. И. Чубаров, И. Болдырев. М.: РГГУ. С. 65-99.
- Беньямин В.* (2012b). О понятии истории // *Беньямин В.* Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. Сб. статей / Сост. И. Чубаров, И. Болдырев. М.: РГГУ. С. 237-253.
- Беньямин В.* (2012c). Теолого-политический фрагмент // *Беньямин В.* Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. Сб. статей / Сост. И. Чубаров, И. Болдырев. М.: РГГУ. С. 235-236.
- Болдырев И., Чубаров И.* (2012). Путем Буцефала. Послесловие составителей // *Беньямин В.* Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. Сб. статей / Сост. И. Чубаров, И. Болдырев. М.: РГГУ. С. 271-287.
- Боянич П.* (2018). Насилие и мессианизм. М.-Екатеринбург: Кабинетный ученый.
- Будрайтскис И. Б.* (2021). Что «удерживает» катехон? Конечность государства в консервативной и социалистической мысли // *Философия. Журнал Высшей школы экономики.* Т. 5. № 2. С. 13-33.
- Вайбель П.* (2018). Теории насилия: Беньямин, Фрейд, Шмитт, Деррида, Адорно // *Логос.* Т. 28. № 1. С. 261-279.
- Вайсман Дж.* (2015). Времени в обреш. Ускорение жизни при цифровом капитализме. М.: Издательство РАНХиГС.
- Горяинов О. В.* (2013). «Чрезвычайное положение» в условиях «божественного насилия»: ответ Карла Шмитта Вальтеру Беньямину // *Вестник СГУ. Серия «Право».* № 1 (13). С. 5-16.
- Джеймисон Ф.* (2014). Вальтер Беньямин, или Ностальгия // *Джеймисон Ф.* Марксизм и интерпретация культуры. М.-Екатеринбург: Кабинетный ученый. С. 116-136.
- Ермаков С.* (2019). Мессианизм: опыт неприсваивающего чтения // *Философские и теологические исследования.* Т. 4. № 1. С. 533-542.
- Жижек С.* (2009). Кукла и карлик: христианство между ересью и бунтом. М.: Издательство «Европа».
- Каплун В.* (2019). Перестать мыслить «власть» через «государство»: *gouvernementalité*, *Governmentality Studies* и что стало с аналитикой власти Мишеля Фуко в русских переводах // *Логос.* Т. 29. № 2. С. 179-220.
- Корсани А.* (2015). Трансформации труда и его темпоральностей // *Логос.* Т. 25. № 3. С. 51-71.
- Магун А.* (2008). Отрицательная революция: к деконструкции политического субъекта. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
- Симакова М.* (2019). О насилии истории // *Социологическое обозрение.* Т. 18. № 1. С. 250-255.
- Тиллих П.* (1995). Кайрос // *Тиллих П.* Избранное: Теология культуры. М.: Юрист. С. 216-235.
- Фукуяма Ф.* (1990). Конец истории? // *Вопросы философии.* № 3. С. 134-148.

- Хабермас Ю.* (2008). *Философский дискурс о Модерне. Двенадцать лекций.* М.: Издательство «Весь Мир».
- Хатиб С.* (2013). Необнуленное ничто: Вальтер Беньямин и понятие мессианского // *Stasis.* № 1. С. 110-138.
- Шмитт К.* (2000). *Политическая теология.* Сборник. М.: Канон-пресс-Ц.
- Шмитт К.* (2008). *Номос земли в праве народов Jus Publicum Europaеum.* СПб.: Владимир Даль.
- Шолем Г.* (2014). *Вальтер Беньямин — история одной дружбы.* М.: Издательство Грюндриссе.
- Ямпольский М.* (2018). *Без будущего. Культура и время.* М.: Порядок слов.
- Buck-Morss S.* (1989) *The Dialectics of Seeing. Walter Benjamin and the Arcades Project.* Cambridge: The MIT Press.
- Beiner R.* (1984) *Walter Benjamin's Philosophy of History // Political Theory.* Vol. 12. No. 3. P. 423-434.
- Bensaïd D.* (1997) *Le pari mélancolique: Métamorphoses de la politique, politique des metamorphoses.* Paris: Fayard.
- Chernovskaya M.* (2020) *Walter Benjamin as the «Last European»: The Transfer of Walter Benjamin's Ideas to American Cultural Studies // Russian Sociological Review.* Vol. 19. No. 4. P. 137-151.
- De Wilde M.* (2011) *Meeting Opposites: The Political Theologies of Walter Benjamin and Carl Schmitt // Philosophy & Rhetoric.* Vol. 44. No. 4. P. 363-381.
- Khatib S.* (2013) *A Non-Nullified Nothingness: Walter Benjamin and the Messianic // Stasis.* No 1. P. 82-108.
- Khatib S.* (2016) *Melancholia and Destruction: Brushing Walter Benjamin's "Angel of History" Against the Grain // Crisis and Critique,* Vol. 3. No 2. P. 20-39.
- Lukács G.* (1971) *The Theory of the Novel. A historico-philosophical essay on the forms of great epic literature.* London: The Merlin Press.
- Jacobson E.* (2003) *Metaphysics of the Profane: the Political Theology of Walter Benjamin and Gershom Scholem.* N. Y.: Columbia University Press.
- Khatib S.* (2017) *No Future: The Space of Capital and the Time of Dying // Former West: Art and the Contemporary after 1989* (eds. Maria Hlavajova and Simon Sheikh). Cambridge: MIT Press. P. 639-652.
- Lindroos K.* (1998) *Now-Time. Image-Space. Temporalization of Politics in Walter Benjamin's Philosophy of History and Art.* Jyväskylä: SoPhi.
- McNulty T.* (2007) *The Commandment against the Law: Writing and Divine Justice in Walter Benjamin's "Critique of Violence" // Diacritics.* Vol. 37. No. 2/3. P. 34-60.
- Scholem G.* (1976) *Walter Benjamin and his angel // Scholem G. On Jews and Judaism in crisis: selected essays.* N. Y.: Schocken Books. P. 198-236.
- Smith J.* (1969) *Time, Times, and the "Right Time"; "Chronos" and "Kairos" // The Monist.* Vol.53. No.1. P. 1-13.
- Traverso E.* (2016) *Left-Wing Melancholia.* N. Y.: Columbia University Press.

The concept of messianic time by Walter Benjamin and its political implications

Ilya A. Inshakov

Senior Lecturer, School of Politics and Governance, HSE University. Address: Pokrovsky Boulevard 11, Moscow, 109028, Russia

E-mail: iinshakov@hse.ru

Despite Benjamin's "renaissance" in contemporary research literature, the meaning of the concept of *Jetztzeit* ("Now-time"), one of his key political and philosophical concepts, remains vague, largely due to the tendency of researchers to follow Benjamin's narrative and metaphorical style. The author of this article purposely uses a strict analytical approach to capture the key characteristics of the concept and their relationship to each other. To do this, the concept is analyzed in the first part of the article through the prism of the related concepts of "messianic time" and "kairos time". In the second part, the author traces the possible political implications of different interpretations of the concept itself and its connection with Benjamin's concept of "divine violence", showing that different interpretations lead to diametrically-opposite perceptions of Benjamin's position, from a supporter of "pure criticism" to an activist of "direct actions". In conclusion, the significant role of the Benjamin project as an alternative to the "mainstream" of the Frankfurt School (Theodor Adorno and Max Horkheimer) is pointed out in the context of today's prospects for the revival of the Marxist political utopia.

Keywords: Messianic time, kairos, utopia, divine violence, Walter Benjamin, Giorgio Agamben

References

- Agamben G. (2011) *Homo Sacer. Suverennaja vlast' i golaja zhizn'* [Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life], Moscow: «Evropa».
- Agamben G. (2018) *Ostavsheesja vremja. Kommentarij k Poslaniju k rimljanam* [The Time that Remains: A Commentary on the Letter to the Romans], Moscow: New Literary Review.
- Agamben G. (2019) *Homo Sacer. Carstvo i slava. K teologicheskoj genealogii jekonomiki i upravljenija* [The Kingdom and the Glory: For a Theological Genealogy of Economy and Government], Moscow: Gaidar Institute Press.
- Anderson P. (2016) *Razmyshlenija o zapadnom marksizme* [Considerations on Western Marxism], Moscow: Commom place.
- Aristotle (1981) *Физика* [Physics]. Aristotle. Works in four volumes, vol. 3, Moscow: Publishing house «Thought», pp. 61-262.
- Arendt H. (2003) *Ljudi v temnye vremena* [Men in Dark Times], Moscow: Moscow School of Political Studies.
- Buck-Morss S. (1989) *The Dialectics of Seeing. Walter Benjamin and the Arcades Project*, Cambridge: The MIT Press.
- Badiou A. (2005) *Kak možhno myslit' politiku? Kratkij traktat po metapolitike* [Metapolitics], Moscow: Logos.
- Beiner R. (1984) Walter Benjamin's Philosophy of History. *Political Theory*, vol. 12, no 3, pp. 423-434.
- Benjamin W. (1995) *O ponjatii istorii* [Theses on the Philosophy of History]. *Moscow Art Magazine*, no 7.
- Benjamin W. (2002) *Proishozhdenie nemeckoj barochnoj dramy* [The Origin of German Tragic Drama], Moscow: Agraf.
- Benjamin W. (2004) Levaja melanholija [Left Melancholy]. Benjamin W. *Masks of Time*, Saint Petersburg: Symposium, pp. 376-382.
- Benjamin W. (2012) K kritike nasilija [Critique of Violence]. Benjamin W. *Uchenie o podobii. Mediajesteticheskie proizvedenija*. [The Doctrine of Mimesis. Media-Aesthetical Works] (eds. I. Boldyrev, I. Chubarov), Moscow: RSUH Press, pp. 65-99.

- Benjamin W. (2012) O ponjatii istorii [Theses on the Philosophy of History]. Benjamin W. *Uchenie o podobii. Mediajesteticheskie proizvedenija*. [Doctrine of Mimesis. Media-Aesthetical Works] (eds. I. Boldyrev, I. Chubarov), Moscow: RSUH Press, pp. 237-253.
- Benjamin W. (2012) Teologo-politicheskiy fragment [Theological-Political Fragment]. Benjamin W. *Uchenie o podobii. Mediajesteticheskie proizvedenija*. [Doctrine of Mimesis. Media-Aesthetical Works] (eds. I. Boldyrev, I. Chubarov), Moscow: RSUH Press, pp. 235-236.
- Bensaïd D. (1997) *Le pari mélancolique: Métamorphoses de la politique, politique des métamorphoses*, Paris: Fayard.
- Bojanic P. (2018) *Nasilie i messianizm* [Violence and Messianism], Moscow, Yekaterinburg: Kabinetnyj uchenyj.
- Boldyrev I, Chubarov I. (2012) Putem Bucefala. Posleslovie sostavitelej [By Bucephalus. Afterword of the compilers]. Benjamin W. *Uchenie o podobii. Mediajesteticheskie proizvedenija*. [Doctrine of Mimesis. Media-Aesthetical Works] (eds. I. Boldyrev, I. Chubarov), Moscow: RSUH Press, pp. 271-287.
- Budraitskis I. (2021) Chto «uderzhivaet» katehon? Konechnost' gosudarstva v konservativnoj i socialisticheskoj mysli [What is "Restrained" by the Katechon? The Finitude of the State in Conservative and Socialist Thought]. *Philosophy. Journal of the Higher School of Economics*, vol. 5, no 2, pp. 13-33.
- Chernovskaya M. (2020) Walter Benjamin as the «Last European»: The Transfer of Walter Benjamin's Ideas to American Cultural Studies. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 4, pp. 137-151.
- Corsani A. (2015) Transformacii truda i ego temporal'nostej [Transformation of Labor and its Temporalities]. *Logos*, vol. 25, no 3, pp. 51-71.
- De Wilde M. (2011) Meeting Opposites: The Political Theologies of Walter Benjamin and Carl Schmitt. *Philosophy & Rhetoric*, vol. 44, no 4, pp. 363-381.
- Eiland H., Jennings M. (2018) *Ben'jamin. Kriticheskaja zhizn'* [Walter Benjamin. A Critical Life], Moscow: RANEPa Press «Delo».
- Ermakov S. (2019) *Messianizm: opyt neprisivajushhego chtenija* [Messianism: The Experience of Non-Appropriating Reading]. *Philosophical and theological studies*, vol. 4, no 1, pp. 533-542.
- Fukuyama F. (1990) Konec istorii? [The End of History?]. *Questions of philosophy*, no 3, pp. 134-148.
- Goryainov O. (2013) «Chrezvychajnoe polozhenie» v uslovijah «bozhestvennogo nasilija»: otvet Karla Shmitta Val'teru Ben'jaminu [“State of Emergency” under “Divine Violence”: Carl Schmitt's Response to Walter Benjamin]. *Izvestiya of Saratov University. Series «Law»*, no 1 (13), pp. 5-16.
- Habermas J. (2008) *Filosofskij diskurs o Moderne. Dvenadcat' lekcij* [The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures], Moscow: «Ves' mir».
- Iampolski M. (2018) *Bez budushhego. Kul'tura i vremja* [No future. Culture and Time], Moscow: Porjadok slov.
- Jacobson E. (2003) *Metaphysics of the Profane: the Political Theology of Walter Benjamin and Gershom Scholem*, N.Y.: Columbia University Press.
- Jameson F. (2014) Val'ter Ben'jamin, ili Nostal'gija [Walter Benjamin; or, Nostalgia]. *Marksizm i interpretacija kul'tury* [Marxism and Interpretation of Culture], Moscow, Ekaterinburg: Kabinetnyj uchenyj, pp. 116-136.
- Kaploun V. (2019) Perestat' myslit' «vlast'» cherez «gosudarstvo»: governementalitet', Governmentality Studies i chto stalo s analitikoju vlasti Mishelja Fuko v russkikh perevodah [Stop Understanding “Power” through the “State”: Governementalitet', Governmentality Studies, and the Fate of Michel Foucault's Analytics of Power in Russian Translations]. *Logos*, vol. 29, no 2, pp. 179-220.
- Khatib S. (2013) A Non-Nullified Nothingness: Walter Benjamin and the Messianic. *Stasis*, no 1, pp. 82-108.
- Khatib S. (2013) Neobnulennoe nichto: Val'ter Ben'jamin i ponjatie messianskogo [A Non-Nullified Nothingness: Walter Benjamin and the Messianic]. *Stasis*, no 1, pp. 110-138.
- Khatib S. (2016) Melancholia and Destruction: Brushing Walter Benjamin's “Angel of History” Against the Grain. *Crisis and Critique*, vol. 3, no 2, pp. 20-39.
- Khatib S. (2017) No Future: The Space of Capital and the Time of Dying. *Former West: Art and the Contemporary after 1989* (eds. Maria Hlavajova and Simon Sheikh), Cambridge: MIT Press, pp. 639-652.

- Lindroos K. (1998) *Now-Time. Image-Space. Temporalization of Politics in Walter Benjamin's Philosophy of History and Art*, Jyväskylä: SoPhi.
- Lukács G. (1971) *The Theory of the Novel. A historico-philosophical essay on the forms of great epic literature*, London: The Merlin Press.
- Magun A. (2008) *Otricateľ'naja revolucija: k dekonstrukcii političeskogo subjekta* [Negative Revolution: towards the Deconstruction of the Political Subject], Saint Petersburg: EUSP Press.
- McNulty T. (2007) The Commandment against the Law: Writing and Divine Justice in Walter Benjamin's "Critique of Violence". *Diacritics*, vol. 37, no 2/3, pp. 34-60.
- Schmitt C. (2000) *Politicheseskaja teologija. Sbornik* [Political Theology. Chrestomathy], Moscow: Canon-press-C.
- Schmitt C. (2008) *Nomos zemli v prave narodov Jus Publicum Europaeum* [The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum], Saint Petersburg: Vladimir Dal.
- Scholem G. (1976) Walter Benjamin and his angel. *On Jews and Judaism in crisis: selected essays*, N.Y.: Schocken Books, pp. 198-236.
- Scholem G. (2014) *Val'ter Ben'jamin — istorija odnoj družby* [Walter Benjamin: The Story of a Friendship], Moscow: «Publishing House Grundrisse».
- Simakova M. (2019) *O nasilii istorii* [About the Violence of History]. *Russian Sociological Review*, vol. 18, no 1, pp. 250-255.
- Smith J. (1969) Time, Times, and the "Right Time"; "Chronos" and "Kairos". *The Monist*, vol. 53, no 1, pp. 1-13.
- Tillich P. (1995) *Kajros* [Kairos]. *Izbrannoe: Teologija kul'tury* [Selected: Theology of culture], Moscow: Jurist, pp. 216-235.
- Traverso E. (2016) *Left-Wing Melancholia*, N.Y.: Columbia University Press.
- Wajcman J. (2015) *Vremeni v obrez. Uskorenie zhizni pri cifrovom kapitalizme* [Pressed for time: the acceleration of life in digital capitalism], Moscow: RANEPА Press.
- Weibel P. (2018) *Teorii nasilija: Ben'jamin, Frejd, Shmitt, Derrida, Adorno* [Theories on Violence: Benjamin, Freud, Schmitt, Derrida, Adorno]. *Logos*, vol. 28, no 1, pp. 261-279.
- Žižek S. (2009) *Kukla i karlik: hristianstvo mezhdu eres'ju i buntom* [The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity], Moscow: «Europe».

Приложение. Используемые цитаты

(1) «Для пророков, допытывавшихся у времени, что оно таит в своем лоне, время не было, разумеется, ни гомогенным, ни пустым. Видящий это придет, очевидно, и к понятию о том, как нужно переживать прошедшее в воспоминании: именно таким образом. Как известно, евреям было запрещено исследовать будущее. Напротив, Тора и Закон обучали воспоминанию. Оно разъясняло им будущее, которое выпадает тому, кто справляется о нем у пророков. Но будущее для евреев не становилось от этого гомогенным и пустым временем.

Ибо каждая секунда в нем была маленькой дверью, через которую мог войти Мессия». («Тезисы», дополнение Б)

(2) «Борьба классов, которая всегда стоит перед глазами историка, придерживающегося учения Маркса, это борьба за грубые, материальные вещи, без которых нет и утонченных, духовных. <...> Они всегда будут ставиться под вопрос с каждой новой победой господствующего класса». («Тезисы», IV)

(3) «В триумфальном шествии, как водится, несут добычу. В ней можно распознать культурные ценности. Исторический материалист отнесется к ним как отстраненный наблюдатель. Ибо то, что он видит в культурном достоянии, —

все это, без исключения, вещи такого рода, о происхождении которых он не может думать без отвращения. Они обязаны своим существованием не только труду великих гениев, их создавших, но и безымянному тяглу их современников. Они никогда не бывают документами культуры, не будучи одновременно документами варварства. И как они сами не свободны от варварства, так не свободен и процесс передачи традиции, в ходе которого они переходят из рук в руки». («Тезисы», VII)

(4) *«Ведь Мессия приходит не только как освободитель; он приходит как победитель Антихриста. Только историку дана способность раздуть в прошедшем искру надежды, которая в нем теплится: и мертвые не уцелеют, если враг победит. А этот враг не устает побеждать». («Тезисы», VI)*

(5) *«Фюстель де Куланж рекомендовал историку, желающему вжиться в эпоху, выбросить из головы все, что он узнал из последующего хода истории. Нельзя лучше охарактеризовать метод, с которым порвал исторический материализм. Это метод вчувствования. <...> Природа этой печали становится понятней, когда задаешься вопросом, кому же на самом деле сочувствует историк, придерживающийся историзма. Ответ будет: безусловно победителю. Но те, кто сейчас господствуют, — наследники всех тех, кто когда-то победил. Поэтому сочувствие к победителям всегда идет на пользу господствующему классу». («Тезисы», VII)*

(6) *«Субъект исторического познания — сам борющийся угнетенный класс». («Тезисы», XII)*

(7) *«В тот самый момент, когда политики, на которых возлагали надежды противники фашизма, повержены и усугубляют свое поражение изменой собственному делу, возникает мысль освободить политическое мировое дитя из сетей, которыми они его опутали». («Тезисы», X)*

(8) *«Людам не представляется сразу возможным и настоящим принятие решения относительно того, когда чистое насилие в каждом конкретном случае имело место. Ибо с уверенностью можно говорить только о мифическом насилии, а не о божественном, поскольку мифическое проявляет себя отчетливее». («К критике насилия», с. 95)*

(9) *«Стоило однажды определить бесклассовое общество как бесконечную задачу — и сразу пустое и гомогенное время превратилось, так сказать, в приходящую, где можно было с большим или меньшим спокойствием ожидать наступления революционной ситуации. В действительности же не существует момента, который не нес бы с собой своего революционного шанса — его следует определять только как специфический, а именно как шанс совершенно нового освобождения перед лицом совершенно новой задачи». («Тезисы», заметки; в других вариантах текста тезис XVIII)*

(10) *«Имеется возражение, заключающееся в том, что отказ от выполнения действий, не-деяние, чем в сущности и является забастовка, вообще не может быть названо насилием». («К критике насилия», с. 71)*

(11) *«Должно быть, и вправду существовал автомат, сконструированный таким образом, что на каждый ход шахматиста он отвечал ходом, наверняка при-*

водившим к выигрышу партии. Кукла в турецком платье, с наргиле во рту, сидела перед доской, которая покоилась на обширном столе <...> Она может без труда справиться с каждым, если воспользуется услугами теологии, которая сегодня, по общему признанию, мала и уродлива и не смеет показаться в своем собственном обличье. («Тезисы», I)

За критический и беспристрастный конструктивизм. Еще раз о понятии «Глобальный Восток» применительно к Центральной Азии¹

Изабель Огайон

Историк, старший научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS),
Центр изучения России, Кавказа, Восточной Европы и Центральной Азии (CERCEC)
CNRS, EHESS

Address: 54 boulevard Raspail 75006 Paris — France
E-mail: isabelle.ohayon@cnrs.fr

Жюльен Торез

Географ, старший научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS),
Центр изучения иранского мира (CeRMI)
CNRS, INALCO, Sorbonne nouvelle, EPHE

Адрес: Бульвар Распай, 54, Париж, Франция, 75006
E-mail: julien.thorez@cnrs.fr

В данной статье обсуждается критика А. Чокобаевой и Н. Шелекпаева концепции «Глобального Востока» М. Мюллера, а также их предложение развивать «тактический эссенциализм национальных дискурсов», который они считают необходимым для проведения общественных научных исследований в Центральной Азии с целью их освобождения от российских интерпретаций прошлого и настоящего. В статье рассматриваются классификационные ограничения основных парадигм, включая понятие «Глобальный Восток», предназначенное для обозначения бывшего социалистического Востока. В ней последовательно развивается мысль, что данное понятие не учитывает тот факт, что в научном поле, которое оно призвано объединить, имеет место постколониальная конфигурация, порождающая различные взгляды.

Подчеркивается, что это понятие также игнорирует важнейший вопрос автономии научных исследований от политических действий. Наконец, в статье критикуется использование тактического эссенциализма в качестве ответа на данные вопросы. Продвижение эссенциализма, будь то тактического или стратегического, в исследованиях Центральной Азии, несмотря на похвальное стремление отделиться от имперских и неоимперских нарративов, может лишь усилить органические, эссенциалистские и националистические представления об идентичности и нации, которые уже господствуют в политических кругах и в общественном мнении. В связи с этим авторы выступают за методологический постулат критического и беспристрастного конструктивизма, который гарантирует автономию исследований Центральной Азии, насколько это возможно.

Ключевые слова: постколониальные исследования, эссенциализм, конструктивизм, автономия науки, постсоциализм, Центральная Азия, национализм, политика памяти, неоимпериализм, идентичность

В основе всякого исследования лежит производство знаний и концептов. Они рождаются в результате применения на практике научных подходов, выработанных в ходе острых дебатов, вписанных в разнообразные исторические контексты.

1. Статья поступила в редакцию журнала 09.10.2021 года.

Недавно высказанное Мартином Мюллером предложение перестать использовать понятие «постсоциализм» и отдать предпочтение понятию «Глобальный Восток» дало толчок для возникновения дискуссий в исследовательском поле, где используется этот теоретический инструментарий. Эти дискуссии затрагивают как описательную точность концепта, так и справедливость научного и политического проекта, который он подразумевает (Müller, 2018, 2019). Действительно, этот концепт призван не только определить место в современном мире стран, которые получили в XX веке социалистический опыт, но также дать ученым этих стран и посвященным им исследованиям инструмент, который позволит им наконец избавиться от своего маргинального статуса в мировом концерте социальных наук.

В «Социологическом обозрении» появился ответ на это предложение, составленный Нари Шелекпаевым и Аминат Чокобаевой (Шелекпаев, Чокобаева, 2020). Авторы рассмотрели обобщающие категории такого же порядка, — «Глобальный Север» и «Глобальный Юг» — и подробно остановились на концепте «Глобального Востока», подчеркнув, что он им кажется неприменимым для Центральной Азии. По существу, они критикуют понятие «Глобальный Восток», опираясь на анализ исследований, посвященных нынешним и прошлым обществам в Центральной Азии. Они отмечают различия и противоречия, которые существуют как в странах «Глобального Востока», так и в различных национальных историографиях, в особенности центральноазиатских и российской, из-за чего в конечном счете данный проект «Global East» может лишиться смысла.

Далее мы, со всей необходимой скромностью и осмотрительностью французских исследователей, понимающих, как мы далеки от политических факторов, академических игр и экономического давления, влияющих на работу исследователей из Центральной Азии, попытаемся предложить несколько комментариев и соображений по этой дискуссии.

Имеют ли обобщающие понятия эвристическую ценность?

Хорошо известно, что в глобальном мире общие категории «Глобальный Север» и «Глобальный Юг», служащие для обозначения уровня развития и траекторий по отношению к индустриальной и постиндустриальной современности, не являются в полной мере удовлетворительными. Они подходят для того, чтобы схематически охарактеризовать страны как социоэкономические национальные образования в противопоставление другим странам. Однако эти понятия, выработанные в послевоенные годы, имеют ряд недостатков. Во-первых, они отсылают ко многим сложным процессам, связанным с западной современностью, которые воспринимаются как универсальные, хотя таковыми не являются. Их негодность для классификаций наглядно иллюстрирует тот факт, что приходится прибегать к подкатегориям и использовать разнообразные показатели вроде Индекса человеческого развития (IDH), который ставит большинство бывших социалистических стран в положение, сопоставимое с положением стран Западной Европы, или

Коэффициента Джини, который измеряет неравенство доходов в каждой стране, или многочисленных индексов благополучия (Better life index и т.п.), которые регулярно предлагают нам ООН, ОЭСР, Всемирный банк и прочие организации.

Критерии, по которым центральноазиатские страны относят то к одному, то к другому крупному блоку, чрезвычайно разнообразны, поэтому неудивительно, что их место часто меняется (Solarz, 2012). В качестве советских республик Казахстан, а также Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, то есть среднеазиатские страны, обычно помещались на «Севере» (Rapport Brandt, 1980), хотя в некоторых работах их называли «советским третьим миром» или подчеркивали ограниченность их развития (Maurel, 1982; Rumer, 1989). Получив независимость, они резко переместились на «Юг» из-за своего «постколониального» статуса и экономического кризиса 1990-х годов. При таком разделении, когда проводится граница между «Северами» и «Югами», между Россией и Казахстаном, то есть между бывшей метрополией и бывшими колониями, не учитывается экономическая география. Между тем по такому показателю, как ВВП на душу населения, в Центральной Азии главный экономический водораздел следует проводить не по северной государственной границе Казахстана, а по южной (Thorez, 2014).

В конечном счете эти категории представляют интерес не столько для классификации, сколько для анализа, поскольку они позволяют обновить наши подходы, используя постановки вопроса, выработанные в иных контекстах. Если просто констатировать, что Центральная Азия не подпадает ни под какую общую категорию и не соответствует никакой модели, это вряд ли обогатит научную дискуссию. Кроме того, мы рискуем укрепить или даже возродить экзотизирующие подходы к этому региону, использующие схему, которая кое-чем напоминает о перекосах ориентализирования. Между тем использование этих понятий позволит анализировать центральноазиатские общества в свете новой проблематики, что представляет реальный эвристический интерес. Как бы то ни было, именно на этом мы выстроили реализованный в 2000-е годы проект, посвященный современным траекториям Кавказа и Центральной Азии. В нем, сквозь призму понятия «Югов», мы изучали конструирование государства, связи с колониальным прошлым, практики развития и трудовую миграцию (Hohmann, Mouradian, Serrano, Thorez, 2014). Именно с этой точки зрения следует, при необходимости, понимать концепт «Глобального Востока».

Во-вторых, эти глоболизирующие категории не передают тонких градаций анализа и неспособны описать реальное распределение позиций доминирования не только в экономическом поле, но и в поле знаний. В частности, они скрывают из вида сектора мондиализации, которые участвуют в «глобальной науке» и отвечают доминирующим академическим стандартам, вне зависимости от того, находятся ли в странах Юга или Востока. В интернационализированных академических учреждениях Центральной Азии, таких как Американский университет в Центральной Азии в Бишкеке или Назарбаев Университет в Астане, ученые, ведущие свои исследования в подобной международной среде, участвуют, как

и их коллеги с «Севера» и «Запада», в мондиализации стандартов работы, методов, схем мышления и академической риторики. Таким образом, они интегрируются в поле ареальных исследований, которое оформилось на Западе и постепенно извлекается от своего несколько маргинального положения. При этом даже когда центральноазиатские исследователи, работающие в этой среде, апеллируют к теориям и постулатам постколониальных исследований и значительно обогащают исследования, они способствуют определенной стандартизации науки.

За исследования, свободные от политической повестки дня

Вернемся к понятию «Глобальный Восток», которое предлагает Мартин Мюллер, чтобы избавиться от отсылки к социалистическому прошлому (Müller, 2018, 2019). Как нам кажется, оно тоже не слишком помогает понять то академическое поле, которое оно призвано описать, однако причины этого несколько отличаются от тех, которые приводят Н. Шелекпаев и А. Чокобаева. Прежде всего «Глобальный Восток» изначально был лишь западно-центристской проекцией, всегда отсылающей к биполярному разделению мира, произошедшему после Второй мировой войны. Кроме того, многие черты академического мира «Глобального Востока» в большой степени как раз продиктованы тем контролем, который политическая власть осуществляла над общественными науками в социалистический период.

Контроль государства над академической средой, влияние министерств и даже самих президентов на направления исследований — это те практики, которые в значительной степени опираются на учреждения и профессиональную культуру, унаследованные от недавнего прошлого. Мы можем наблюдать эти практики в странах, которые сегодня идут по весьма несхожим путям: Польша, Венгрия, Россия, Латвия, Литва, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и т. д. В этих странах государственная власть настойчиво диктует, как писать историю, порой принимает законы о том, что можно или нельзя говорить в академических учреждениях, а теперь еще и в публичном медиапространстве (Korosov, 2017). Для этого она использует различные инструменты — от финансирования проектов, эксплицитно отвечающих политическому запросу, до более непосредственных форм принуждения.

В частности, статус советского и социалистического прошлого определяется в законах о памяти (Grosescu, Neumayer, Pettai, 2020). Так, в России Конституция гласит, что Российская Федерация является правопреемником СССР (ст. 67.1 § 1), что государство «чтит память защитников Отечества», «обеспечивает защиту исторической правды» и т. д. А на Украине, наоборот, от этого прошлого отрещиваются посредством законов о «декоммунизации», которые были приняты весной 2015 года силами, пришедшими к власти в результате движения Евромайдан. Аналогичное положение сложилось в Польше, где закон от апреля 2015 года, вдохновленный законами, принимавшимися в ту пору на Украине, запрещает «пропаганду коммунизма или любой иной тоталитарной системы через названия публичных

зданий, структур и объектов» (Koposov, 2017). Недавно, в 2018 году, в Польше был принят новый закон, предусматривающий наказание до трех лет лишения свободы для «всякого, кто публично и вразрез с фактами возлагает на польскую нацию или государство полную или солидарную ответственность за преступления, совершенные Третьим рейхом, или иные преступления против человечества и мира или военные преступления». Эти законы, устанавливающие главенство политики над наукой, стали перекликающимися ответами в политической игре, в которую вовлечены страны Восточной Европы и большинство постсоветских стран (Grosescu, Neumayer, Pettai, 2020).

В Центральной Азии к законотворчеству прибегают реже, за исключением законов о реабилитации жертв репрессий, которые отличаются от законов о памяти тем, что не вводят цензуры в отношении истории. Продвигают исторический дискурс, отвечающий правительственному видению истории, в большей степени исследовательские учреждения, музеи-мемориалы (Музей памяти жертв репрессий в Ташкенте, Узбекистан (Abashin, 2012), Музейно-мемориальный комплекс «Алжир» рядом с Астаной или Музей Карлага / Музей памяти жертв политических репрессий поселка Долинка, Казахстан), публикации и образовательные программы. Как было показано во многих исследованиях (Абашин, 2007; Marat, 2007; Laguelle, 2017), доминирующая схема заключается в том, чтобы превозносить героев и славные эпизоды древней или досоветской истории, в которые вписываются такие ценности, как мужество, независимость и мощь, и клеймить позором советский период, в котором себе отводится роль жертвы. При таком телеологическом прочтении истории (отбираются события из прошлого, которые можно рассматривать как предвещавшие настоящее или оправдывающие его) прославляются национальные лидеры и независимость, которая подается как результат вековых чаяний нации, чья историчность и автохтонность не подвергаются сомнению. В Казахстане в конструировании официального восприятия прошлого важнейшую роль играет Институт истории государства. В Кыргызстане по случаю столетнего юбилея восстания 1916 года были проведены научные мероприятия, которые узаконили продиктованное государством толкование этого важнейшего события в современной истории региона.

Между тем наблюдаются проявления автономизации научного поля. Некоторые исследователи возвращаются к практикам, унаследованным от советской эпохи, и обходят официальный дискурс, используя различные аргументационные аппараты, позволяющие давать более нюансированные и сдержанные оценки великим событиям и великим персонажам, которых прославляют продиктованные властями нарративы. Идя по этому пути, некоторые коллеги бывают вынуждены прибегать к самоцензуре, чтобы не противоречить правительственной риторике. Наконец, другие исследователи более открыто практикуют критический подход к официальной истории, проводят ее анализ и деконструкцию, которые позволяют выявить ее логику и движущие силы, но также и ангажированность. Мы, в частности, имеем в виду проект, реализованный в Институте истории и этногра-

фии Казахстана Жулдузбеком Абылхожиным, о мифологизации казахской истории, который идет в русле, проложенном работами Ирины Ерофеевой (1953–2020) и Нурбулата Масанова (1954–2006).

При таком положении дел мы видим свою задачу в том, чтобы показать, что понятие «Глобальный Восток» оставляет в стороне вопрос об автономии научных исследований от политических тенденций, хотя именно он оказывается одним из важнейших, которые приходится решать академическому сообществу в этом регионе. Автономия науки, по сути, является ключевым условием для ее креативности, качества и в конечном счете ее общественной и политической пользы, например, применительно к пониманию общественных явлений, геополитических конфигураций, вопросов защиты окружающей среды или управления населением.

Мы осознаем, что находимся в положении, когда можем свободно высказывать эту точку зрения и в значительной мере реализовывать ее в своей работе, хотя в Западной Европе и, в частности, во Франции все настойчивее пытаются указывать путь науке. Но мы также знаем, что было бы крайне наивно полагать, будто политическое давление на производство и распространение научных знаний является уделом только «постсоциалистических» или «авторитарных» стран, где отныне социалистическое наследие сочетается с неолиберальным, хоть и национальным управлением исследованиями. К примеру, во Франции программа, изложенная в школьных учебниках, всегда во многом зависит от ориентации и чаяний государства. Так, в книгах, предназначенных для школьников, в интерпретациях Второй мировой войны зачастую минимизируются масштабы и значение военных действий на Востоке и роль СССР. Польша, которая с точки зрения соотношения числа жертв и общей численности населения заплатила самую тяжелую дань войне, часто исчезает с исторической карты; упоминается только о том, что на ее нынешней территории находились нацистские концлагеря. Роль СССР как важнейшего союзника в борьбе со странами Оси преуменьшается или даже игнорируется, при этом война представляется как противостояние «демократических и соблюдающих права человека» держав (США и Великобритания) и «тоталитарных» и «расистских» держав (Германия, Япония, Италия) — такая схема предложена в одном учебнике для 8-го класса.

За критический конструктивизм

Тот факт, что Н. Шелекпаев и А. Чокобаева отвергают понятие «Глобальный Восток», также обусловлен их стремлением популяризовать «тактический эссенциализм национальных нарративов», который они считают необходимым условием для существования в Центральной Азии исследований в социальных науках, свободных от прочтения прошлого и настоящего, которое пытается навязать Россия, бывшая метрополия. Обобщающий подход, который предлагает Мартин Мюллер, ведет к игнорированию глубоких расхождений, существующих между современными российской и центральноазиатской историографией, сводя их воедино, что-

бы противостоять затушевыванию Востока Севером и, во вторую очередь, Югом. Другими словами, Шелекпаев и Чокобаева отказываются от понятия «Глобальный Восток», потому что оно не учитывает тот факт, что научное поле, которое оно призвано объединить, в действительности разделено постколониальным фактором, питающим противоположные точки зрения.

В самом деле, господствующая в России историография склонна отрицать колониальный характер Империи и тем более Советского Союза, и дистанцируется от всякого интерпретационного аппарата, применяющегося в истории колониализма (Рейтблат, 2020; Gorshenina, 2021). В подобных условиях полного отрицания, которое выражается в явном замалчивании истории завоевания Туркестана, отсутствие равновесия в диалоге историографий вынуждает центральноазиатских исследователей делать ставку на воинствующие методологии.

В этом пункте мы согласны с Шелекпаевым и Чокобаевой и считаем необходимым увязать его с региональным политическим и геополитическим контекстом. При этом мы с осторожностью относимся к стратегии «тактического эссенциализма», которую развивают, чтобы доказать своеобразие каждого макрорегиона (Центральная Азия, Кавказ и пр.) или каждого государства (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и т. д.) «Глобального Востока», а также чтобы содействовать их эмансипации от постимперских сил в поле производства знаний. На самом деле, мы убеждены, что этот теоретический инструментарий может способствовать приданию легитимности в научных и политических дебатах тем взглядам, которые нам представляются проблематичными и даже опасными.

Концепция «стратегического эссенциализма», вдохновившая «тактический эссенциализм», была предложена Г. Спивак, чтобы поддержать политическую борьбу субалтернов (*subalterns*), т. е. подчиненных групп, подвергающихся дискриминации, вытесненных из поля зрения, на границы общества (маргинализация классовая, половая, расовая, а также территориальная и экологическая, и т. д.). Она была разработана как глубоко политический инструмент, а не научная категория, с полным осознанием искусственности индивидуальных или коллективных идентичностей. Мы не сомневаемся, что коллеги, которые примыкают к таким «стратегическим» и «тактическим» эссенциализмам, также рассматривают и идентичности. Между тем применительно к «Глобальному Востоку» нам представляется, что «эссенциализм», какое бы определение к нему ни прилагалось, прежде всего отсылает к концепциям идентичности, понимаемой как нечто непреложное и передающееся по крови, которые утвердились как в официальных дискурсах, так и в общественном сознании. Подобное присвоение — с одновременным искажением — базового понятия из кардинально иной концепции социальных конструкций, в лучшем случае может привести к путанице. В худшем — мы опасаемся, что эта парадигма постколониальных и субалтерных исследований в конечном счете укрепит националистские и натуралистские подходы к пониманию нации.

Между тем исследования прошлых и нынешних обществ Центральной Азии за последние десятилетия пополнились несколькими работами, в которых исполь-

зуется биологический подход к выстраиванию коллективных идентичностей, который, разумеется, стоит вдали от поля обобщающих исследований. Исследования в области физической антропологии, проводившиеся с 1970-х годов в Алма-Ате в Институте истории и этнологии О. Исмагуловым по вопросу этногенеза казахов (Исмагулов, 1982), были воспроизведены в первых же трудах по общей истории Казахстана после обретения независимости (Козыбаев, 1993) и подпитывали национальный миф. К ним вновь было привлечено пристальное внимание по случаю недавнего переиздания его труда «Происхождение казахского народа по данным физической антропологии» (Исмагулов, Исмагулова, 2017). Цель этих исследований заключается в том, чтобы биологически обосновать историчность и существование казахской нации; они дают понять (широкой общественности), что датировки общих морфологических и физиологических черт на определенном пространстве может быть достаточно для того, чтобы обосновать политическое конструирование общества. Этот тезис встречает искренний отклик в общественном мнении, тем более что он созвучен идеологии родства и патриархальным концепциям нации (и государства), а также подпитывается процветающими сегодня исследованиями по популяционной генетике. Амбициозные программы исследований, далеко отойдя от постмодернистских и постколониальных подходов, в Казахстане отныне следуют по этому пути. Различные институции продвигают программы генетических исследований, которые посвящены, например, достоверности *шежиры* (родословные у казахов) с точки зрения генетических данных о родовых филиациях. Как бы строга ни была методология этих работ — и даже притом что мировые исследования по популяционной генетике вносят значительный вклад в понимание распространения человеческих групп — их институциональное место рядом с гуманитарными науками и непродуманность сближения двух этих областей напрямую ведут к их идеологической инструментализации. «Расиализация» этнической нации, идея о некоей изначальной чистоте, заложенная в эти концепции, продвигают органический и исключаящий инаковость взгляд на национальное сообщество и оставляют без внимания исторические условия его политического формирования. Подобная биологизация, вне всяких сомнений, является новым интеллектуальным конструктом, который рядится в одежды точных и естественных наук и опирается на их воображаемую объективность.

Эссенциализирующий подход к этническим идентичностям, крайний, но конкретный пример которого мы здесь приводим, сопряжен с опасностью «расиализации». Эссенциализация подтверждает и укрепляет национализм, который — в силу исторических социополитических процессов и сложных современных обстоятельств — мы можем наблюдать уже повсюду, как в государствах Центральной Азии, так и в России, где перемешаны и сосуществуют различные народы. Любой эссенциализм, в том числе стратегический, подразумевает разделение между теми, кто включен в некую определенную группу, и теми, кто исключен из нее. В таком случае, по нашему мнению, научное сообщество должно работать, наоборот, над «конструктивистским» пониманием идентичностей и, шире, над крити-

ческим подходом к категориям, вне зависимости от того, продиктованы ли они постколониальным ракурсом или нет (Бисенова, Медеуова, 2016).

На самом деле, сделать это позволяют многие концепты, позаимствованные у постколониальных исследований. Как и Шелекпаеву и Чокобаевой, нам кажется особенно плодотворным делать акцент на агентности акторов, их роли в конструировании политических форм, вырастающих из имперской колонизации и советизации, о чем писал покойный Анатолий Ремнев (Ремнев, 2011). Такие понятия, как «гибридность», отныне входят в инструментарий, использующийся в работах историков, которые пристально изучают условия формирования и функционирования колониальных и советских бюрократий в казахских степях и среди киргизов (Аманжолова, 2015; Султангалиева, 2015; Ууама, 2018; Балабиев, Турекулова, 2018; Akiyama, 2021). Избрать ракурс агентности — также значит изучать роль местных акторов в самых мрачных фазах недавней истории. Это должно позволить преодолеть парадигму виктимизации, чтобы понять, например, механизмы интериоризации сталинской политической культуры и ее возрождения в обновленном виде (см.: Gorlizki, Khlevniuk, 2020). Только такой беспристрастный, критический и конструктивистский подход, не важно, будет ли он считаться постколониальным или нет, позволит освободить исследования в области гуманитарных и социальных наук в Центральной Азии от гнета политической повестки дня, будь то в самой Центральной Азии, России или даже на Западе. Он сможет обрести силу и легитимность в поле продуцирования знаний на всех уровнях: местном, постсоветском и международном. Подобная строгость, даже если не распутает клубок отношений с политическими силами и финансирующими организациями, усилит позиции тех, кто отвергает политизированные и инструментализированные взгляды на прошлое и настоящее.

Литература

- Абашиин С. Н. (2007). Национализмы в Средней Азии: в поисках идентичности. СПб.: Алетейя.
- Аманжолова Д. (2015). Испытание властью: из истории формирования бюрократии Казахской АССР, 1920-е гг. // *Cahiers du monde russe*. Vol. 56. № 4. P. 753-791.
- Балабиев К., Турекулова Ж. (2018). Гибридность и когерентность правовых практик у казахов: суд аксакалов в системе правовых институтов и практик (вторая половина XIX — начало XX в.) // *Ab Imperio*. № 3. P. 187-218.
- Бисенова А., Медеуова К. (2016). Давление метрополий и тихий национализм в академических практиках // *Ab Imperio*. № 4. P. 207-255.
- Исмагулов О. (1982). Этническая антропология Казахстана (стоматологическое исследование). Алма-Ата.
- Исмагулов О., Исмагулова А. (2017). Происхождение казахского народа. По данным физической антропологии. Алматы.
- Рейтблат А. И. (2020). «Ориентализм» и русский ориентализм (Обзор книг по ориентализму в русских востоковедении и литературе) // *НЛО*. № 161. <https://>

- www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/161_nlo_1_2020/article/21990/
- Ремнев А. (2011). Колониальность, постколониальность и «историческая политика» в современном Казахстане // *Ab Imperio*. № 1. P. 169-205.
- Султангалиева Г. (2015). Казахские чиновники Российской империи в XIX в.: особенности восприятия власти // *Cahiers du Monde russe*. Vol. 56. № 4. P. 651-679.
- Шелекпаев Н., Чокобаева А. (2020). Восток внутри «Востока»? Центральная Азия между «стратегическим эссенциализмом» глобальных символов и тактическим эссенциализмом национальных нарративов // *Социологическое обозрение*. 19. № 3. С. 70-101.
- Abašin S. (2012). La désoviétisation dans la politique mémorielle de l'Ouzbékistan indépendant. Le musée de la mémoire des victimes des répressions // *Revue d'études comparatives Est-Ouest*. Vol. 43. № 1-2. P. 47-72.
- Akiyama T. (2021). *The Qırghız Baatır and the Russian Empire: A Portrait of a Local Intermediary in Russian Central Asia*. Leiden: Brill.
- Gorlizki Y., Khlevniuk O. (2020). *Substate dictatorship: networks, loyalty, and institutional change in the Soviet Union*. New Haven: Yale University Press.
- Gorshenina S. (2021). Orientalism, Postcolonial and Decolonial Frames on Central Asia: Theoretical Relevance and Applicability // *The European Handbook of Central Asia — History, Politics and Societies* / J. Van Den Bosch, A. Fauve, B. De Cordier (eds). Stuttgart . P. 175-244.
- Grosescu R., Neumayer L., Pettai E.-C. (eds) (2020). Transnational activism and the globalization of anti-communism after 1989 // *Revue d'études comparatives Est-Ouest*. № 2-3.
- Hohmann S., Mouradian C., Serrano S., Thorez J. (eds.) (2014) *Development in Central Asia and the Caucasus — Migration, Democratisation and Inequality in the Post-Soviet Era*. London — New York: I. B. Tauris.
- Independent Commission on International Development Issues (1980). *North-South, a programme for survival*. London: Pan Books.
- Koposov N. (2017). *Memory Laws, Memory Wars — The Politics of the Past in Europe and Russia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kozybaev M. K. (ed.) (1993). *История Казахстана с древнейших времен до наших дней. Очерк*. Алма-Ата: Дәуір.
- Laruelle M. (ed.) (2017). *Constructing the Uzbek State: Narratives of Post-Soviet Years*. Lanham: Lexington Books.
- Marat E. (2007). State-Propagated Narratives about a National Defender in Central Asian States // *Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies*. Vol. 6/7. <http://journals.openedition.org/inshs.bib.cnrs.fr/pipss/545>
- Maurel M.-C. (1982). *Territoire et stratégies soviétique*. Paris: Economica. <https://www.cairn.info/territoire-et-strategies-sovietiques--9782717805741.htm>
- Müller M. (2018). In search of the Global East: Thinking between North and South // *Geopolitics*. Vol. 25. № 3. P. 734-755.

- Müller M. (2019). Goodbye Post-socialism !// *Europe-Asia Studies*. Vol. 71. № 4. P. 533-550.
- Rumer B. Z. (1989). *Soviet Central Asia — A tragic experiment*. Boston: Unwin Hyman.
- Solarz M. W. (2012). North-South, Commemorating the First Brandt Report: searching for the contemporary spatial picture of the global rift// *Third World Quarterly*. Vol. 33. № 3. P. 559-569.
- Thorez J. (2014). The Post-Soviet space between North and South : Discontinuities, Disparities and Migrations// *Development in Central Asia and the Caucasus — Migration, Democratisation and Inequality in the Post-Soviet Era* / S. Hohmann, C. Mouradian, S. Serrano, J. Thorez (eds.). London — New York: I. B. Tauris. P. 215-241.
- Uyama T. (2018). Invitation, Adaptation, and Resistance to Empires: Cases of Central Asia// *Comparing Modern Empires: Imperial Rule and Decolonization in the Changing World Order* / T. Uyama (Ed.). Sapporo: Slavic-Eurasian Research Center. P. 99-118.

For a critical and dispassionate constructivism: revisiting the concept of the 'Global East' in its relevance to Central Asia

Isabelle Ohayon

Historian, Associate Research Professor, French National Centre for Scientific Research (CNRS), Centre for the Study of Russia, Caucasus, Eastern Europe and Central Asia (CERCEC) at EHESS (School of Advanced Studies in the Social Sciences, Paris)

Address: 54 boulevard Raspail 75006 Paris, France

E-mail: isabelle.ohayon@cnrs.fr

Julien Thorez

Geographer, Associate Research Professor, French National Centre for Scientific Research (CNRS), Centre for Iranian Studies (CeRMI) in Paris

Address: UMR 8083, CNRS, INALCO, Sorbonne nouvelle, EPHE

E-mail: julien.thorez@cnrs.fr

This article discusses A. Chokobayeva and N. Shelekpayev's critique of Müller's concept of the 'Global East' to describe the former socialist East, as well as their proposal to adopt a 'tactical essentialism of national discourses', which they consider necessary for the production of social science research in Central Asia, liberated from Russian interpretations of the past and present. Consequently, the article discusses the limitations of major paradigms, including that of the "Global East". It argues that this term ignores the fact that the scholarly field it is supposed to unite is divided by a post-colonial configuration that fosters divergent views. Furthermore, it highlights that this notion also neglects the crucial issue of research autonomy from political affairs. Finally, the article critiques the use of tactical essentialism as a response to these issues. However, the promotion of essentialism — be it tactical or strategic — in Central Asian studies, despite its laudable ambition to move away from imperial and neo-imperial narratives, can exacerbate organic, essentialist and nationalist visions of identity and nation already prevalent in political powers and public opinion. Therefore, the authors argue for a methodological postulate of critical and dispassionate constructivism that guarantees as much autonomy as possible for research in and on Central Asia.

Key words: Postcolonial studies, essentialism, constructivism, autonomy of scientific research, postsocialism, Central Asia, nationalism, politics of memory, neoimperialism, identity

References

- Abashin S. N. (2007) *Nacionalizmy v Srednej Azii: v poiskah identichnosti* [Nationalisms in Central Asia: in Search of Identity], Saint Peterburg: Aleteya.
- Abašin S. (2012) La déssoviétisation dans la politique mémorielle de l'Ouzbékistan indépendant. Le musée de la mémoire des victimes des répressions. *Revue d'études comparatives Est-Ouest*, vol. 43, no 1-2, pp. 47-72.
- Akiyama T. (2021) *The Qirghiz Baatir and the Russian Empire: A Portrait of a Local Intermediary in Russian Central Asia*, Leiden: Brill.
- Amangolova D. (2015) Ispytanie vlast'yu: iz istorii formirovaniya byurokratii Kazahskoj ASSR, 1920-e gg. [The test of power: from the history of the formation of the bureaucracy of the Kazakh ASSR, 1920s.]. *Cahiers du monde russe*, vol. 56, no 4, pp. 753-791.
- Balabiev K., Turekulova ZH. (2018) Gibridnost' i kogerentnost' pravovyh praktik u kazahov: sud aksakalov v sisteme pravovyh institutov i praktik (vtoraya polovina XIX — nachalo HKH v.) [Hybridity and coherence of legal practices among Kazakhs: the court of elders in the system of legal institutions and practices (the second half of the XIX — early XX century)]. *Ab Imperio*, no 3, pp. 187-218.
- Bisenova A., Medeuova K. (2016) Davlenie metropolij i tihij nacionalizm v akademicheskikh praktikah [Metropolitan pressure and quiet nationalism in academic practices]. *Ab Imperio*, no 4, pp. 207-255.
- Gorlizki Y., Khlevniuk O. (2020) *Substate dictatorship: networks, loyalty, and institutional change in the Soviet Union*, New Haven: Yale University Press.
- Gorshenina S. (2021) Orientalism, Postcolonial and Decolonial Frames on Central Asia: Theoretical Relevance and Applicability. *The European Handbook of Central Asia — History, Politics and Societies*. J. Van Den Bosch, A. Fauve, B. De Cordier (eds), Stuttgart, pp. 175-244.
- Grosescu R., Neumayer L., Pettai E.-C. (eds) (2020) Transnational activism and the globalization of anti-communism after 1989. *Revue d'études comparatives Est-Ouest*, no 2-3.
- Hohmann S., Mouradian C., Serrano S., Thorez J. (eds.) (2014) *Development in Central Asia and the Caucasus — Migration, Democratisation and Inequality in the Post-Soviet Era*, London — New York: I. B. Tauris.
- Independent Commission on International Development Issues (1980). *North-South, a programme for survival*, London: Pan Books.
- Ismagulov O. (1982) *Etnicheskaya antropologiya Kazahstana (stomatologicheskoe issledovanie)* [Etnicheskaya antropologiya Kazahstana (stomatologicheskoe issledovanie)], Alma-Ata
- Ismagulov O., Ismagulova A. (2017) *Proiskhozhdenie kazahskogo naroda. Po dannym fizicheskoy antropologii* [Origin of the Kazakh people. According to physical anthropology], Almaty
- Koposov N. (2017) *Memory Laws, Memory Wars — The Politics of the Past in Europe and Russia*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kozybaev M. K. (ed.) (1993) *Istoriya Kazahstana s drevneyshikh vremen do nashikh dney. Ocherk.* [The history of Kazakhstan from ancient times to the present day. Feature article], Alma-Ata: Däuir.
- Laruelle M. (ed.) (2017) *Constructing the Uzbek State: Narratives of Post-Soviet Years*, Lanham: Lexington Books.
- Marat E. (2007) State-Propagated Narratives about a National Defender in Central Asian States. *Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies*, vol. 6/7. <http://journals.openedition.org/inshs.bib.cnrs.fr/pipss/545>
- Maurel M.-C. (1982) *Territoire et stratégies soviétique*, Paris: Economica. <https://www.cairn.info/territoire-et-strategies-sovietiques--9782717805741.htm>
- Müller M. (2018) In search of the Global East: Thinking between North and South. *Geopolitics*, vol. 25, no 3, pp. 734-755.
- Müller M. (2019) Goodbye Post-socialism! *Europe-Asia Studies*, vol. 71, no 4, pp. 533-550.

- Remnev A. (2011) Kolonial'nost', postkolonial'nost' i «istoricheskaya politika» v sovremennom Kazakhstane [Coloniality, postcoloniality and «historical politics» in modern Kazakhstan]. *Ab Imperio*, no 1, pp. 169-205.
- Reytblat A. I. (2020) «Orientalizm» i russkiy orientalizm (Obzor knig po orientalizmu v russkikh vostokovedenii i literature) [«Orientalism» and Russian Orientalism (Review of Books on Orientalism in Russian Oriental Studies and Literature)]. *NLO*, no 161. https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/161_nlo_1_2020/article/21990/
- Rumer B. Z. (1989) *Soviet Central Asia — A tragic experiment*, Boston: Unwin Hyman.
- Shelekpayev N., Chokobayeva A. (2020) Vostok vnutri «Vostoka»? Tsentral'naya Aziya mezhdu «strategicheskim essentsializmom» global'nykh simvolov i takticheskim essentsializmom natsional'nykh narrativov [An East within “the East”? Central Asia between the “Strategic Essentialism” of Global Symbols and a “Tactical Essentialism” of National Narratives] *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 70-101.
- Solarz M. W. (2012) North-South, Commemorating the First Brandt Report: searching for the contemporary spatial picture of the global rift. *Third World Quarterly*, vol. 33, no 3, pp. 559-569.
- Sultangaliyeva G. (2015) Kazakhskiyе chinovniki Rossiyskoy imperii v XIX v.: osobennosti vospriyatiya vlasti [Kazakh officials of the Russian Empire in the 19th century: features of the perception of power]. *Cahiers du Monde russe*, vol. 56, no 4, pp. 651-679.
- Thorez J. (2014) The Post-Soviet space between North and South : Discontinuities, Disparities and Migrations. *Development in Central Asia and the Caucasus — Migration, Democratisation and Inequality in the Post-Soviet Era*. S. Hohmann, C. Mouradian, S. Serrano, J. Thorez (eds.), London — New York: I. B. Tauris, pp. 215 — 241.
- Uyama T. (2018) Invitation, Adaptation, and Resistance to Empires: Cases of Central Asia. *Comparing Modern Empires: Imperial Rule and Decolonization in the Changing World Order*. T. Uyama (Ed.), Sapporo: Slavic-Eurasian Research Center, pp. 99-118.

Между эссенциализмом и многоидентичностью: Центральная Азия как часть Востока, Юга и мира¹

Томохико Уяма

Профессор Центра славянско-евразийских исследований Университета Хоккайдо
Адрес: Kita 9, Nishi 7, Kita-ku, Sapporo 060-0809 Japan
E-mail: uyama@slav.hokudai.ac.jp

В данной статье автор размышляет над вопросами, поднятыми двумя учеными из Центральной Азии, Нари Шелекпаевым и Аминат Чокобаевой, в их комментариях к идее Мартина Мюллера о «Глобальном Востоке», а также над самой этой идеей. В Центральной Азии, как и в России, эссенциализм широко распространен, однако трудно назвать его «тактическим», как это делают Шелекпаев и Чокобаева. Они правильно считают «Глобальный Восток» политическим проектом, но его политический характер нужно понимать исходя из концепции «Глобального Юга» как эмансипаторного проекта против доминирования Севера и евроцентризма. Евроцентризм, проявляющийся даже в статье Мюллера, все еще влиятелен в академическом мире. Но сегодня, когда ужесточается соперничество между державами, в том числе и странами Юга и Востока, большим эмансипаторным стратегиям «Глобального Юга» или «Глобального Востока» трудно достичь успеха. Средним и малым странам приходится гибко реагировать на меняющиеся условия, сотрудничая одновременно с различными партнерами. В этом отношении многоидентичность Центральной Азии может принести ей пользу.

Ключевые слова: Глобальный Восток, Центральная Азия, эссенциализм, евроцентризм, эмансипаторный проект, соперничество между державами, многоидентичность

Тактический ли эссенциализм в Центральной Азии?

Статья Нари Шелекпаева и Аминат Чокобаевой «Восток внутри “Востока”?» содержит ряд замечаний о проблематичности идеи Мартина Мюллера о «Глобальном Востоке», особенно о ее неприменимости к Центральной Азии. Я во многом согласен с ними, особенно в том, что Центральная Азия находится в положении «двойной колониальности», и трудно примирить между собой национальные «эссенциализмы» стран предполагаемого «Глобального Востока» ввиду попыток вмешательства российских властей и исследователей в их исторические нарративы (Шелекпаев, Чокобаева, 2020: 85, 87).

Но мне непонятен их тезис о «тактическом эссенциализме». Единственный пример «тактики», который они приводят, — это публикация центральноазиатскими исследователями своих работ на местных языках, что позволяет избегать давления со стороны российских исследователей и дипломатов, которые, как правило, не владеют языками этих стран (Там же: 87). Однако известно, что в странах Центральной Азии широко практикуется поощрение и даже давление на людей, чтобы они использовали государственные (местные) языки. Например, в парламенте

1. Статья поступила в редакцию журнала 09.10.2021 года.

Кыргызстана постоянно критикуют чиновников, которые выступают на русском языке, хотя русский является официальным языком страны. По всей вероятности, они предпочитают использование государственного языка, потому что верят, что язык является основой национальной государственности, а не потому, что хотят скрывать содержание дискуссии от российских дипломатов. То, что мы наблюдаем во многих случаях, не является ли не «тактическим», а просто эссенциализмом?

Эссенциализм критикуется многими учеными, но он все еще не утратил своего влияния, особенно глубоко он укоренен в Центральной Азии. В 2018–2019 годах с целью создания общих академических платформ был осуществлен проект по изучению восстания 1916 года. В нем участвовали ученые из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, а я, Чокобаева и несколько западных ученых их консультировали. Все работали дружно, и в целом я доволен результатами. Но несмотря на транснациональный характер проекта, почти все его участники изучали восстание 1916 года в рамках истории своего народа или своей страны. Мы, консультанты, постоянно говорили о проблематичности понятия «национально-освободительное движение», так как повстанцы в большинстве случаев действовали на основе ненациональной (родоплеменной, местной или религиозной) общности, но некоторые наши коллеги так и не отказались от этого понятия.

Как отмечают Шелекпаев и Чокобаева (Там же: 85), понятие «национально-освободительное движение» было разработано советскими (и вообще марксистскими) учеными, и не чуждо и России. Хотя те российские ученые (в первую очередь Андрей Ганин) и политики, на которых ссылаются Шелекпаев и Чокобаева, не признают национально-освободительного характера восстания 1916 года, они также разделяют эссенциалистский подход, подчеркивая неизменно положительный характер деятельности русских и России. Дискурсивная структура нарративов обеих сторон, отстаивающих правоту своего народа, достаточно похожа друг на друга.

Более того, некоторые ученые в Центральной Азии легко соглашаются с российскими коллегами в том, что восстание подстрекалось «внешними силами»². Шелекпаев и Чокобаева правы: подобная теория заговора является отрицанием агентности восставших (Там же: 86), но некоторым людям приятнее освободить свой народ и русских от вины за кровопролитие, сваливая ее на внешние силы, чем подчеркнуть агентность местных. В исторической науке большинством ученых теории заговора не поддерживаются, но по текущим вопросам таким теориям верят довольно много людей. Так, на начальной стадии коронавирусной пандемии в Казахстане и Кыргызстане, так же как и в России, распространились слухи, что якобы вирус распыляют Билл Гейтс, Джордж Сорос и т. д. (см. например: Козачков, 2020). Вообще в Центральную Азию большинство сведений о событиях за рубежом передаются через Россию, так что довольно легко формируется общее с ней видение международных дел.

2. Самый яркий пример — Саламат Малабаев из Кыргызстана, который утверждает, что «События 1916 г. были своего рода “цветными революциями”, инспирированными в большей части извне» (Малабаев, 2016: 126).

Таким образом, эссенциализм распространяется и в Центральной Азии, и в России. В парадигмах колониальной истории и нациестроительства центральноазиатский и российский эссенциализмы не могут сосуществовать, но против «внешних сил» они могут объединиться. Означает ли это, что «стратегический эссенциализм», предложенный Мюллером, применим к отношениям между Центральной Азией и Россией? Прежде чем ответить на этот вопрос, рассмотрим понятие «Глобальный Восток» у Мюллера.

«Глобальный Восток» — какой политический проект?

Как отмечают Шелекпаев и Чокобаева (2020: 88), в предложениях Мюллера содержится политическая программа. Но, насколько я понял, Мюллер отнюдь не агитирует за политическое объединение постсоциалистических стран. Поскольку понятие «Глобальный Восток» предлагается как третья категория после «Глобального Севера» и «Глобального Юга», а из последних двух ключевым понятием считается «Глобальный Юг», сначала разберемся, в каком смысле «Глобальный Юг» является политическим проектом.

Хотя термин «Глобальный Юг» появился еще в годы Холодной войны, он стал широко использоваться после ее окончания вместо «третий мир», который утратил свою актуальность вследствие исчезновения «второго мира». Понятие «третий мир» объективно указывало на страны, которые не входили ни в «первый», ни во «второй мир», но исследователи и активисты часто вкладывали в него политический смысл, основанный на теории зависимости — они утверждали, что западные страны избыточно развиваются за счет неразвитости стран третьего мира, — которая, в свою очередь, явилась прямым следствием интеграции этих стран в мировую капиталистическую систему. Руководители самих стран третьего мира, осознавая общую историю колониального господства и эксплуатации, пытались солидаризироваться на основе принципов, принятых на Бандунгской конференции 1955 года и продвигая Движение неприсоединения (Sajed, 2020).

Понятие «Глобальный Юг» унаследовало от «третьего мира» критический настрой относительно капиталистической эксплуатации, добавив еще критику неолиберализма. «Глобальный Юг» — не просто группа стран, а транснациональная общность угнетенных и, по выражению Мюллера, «плоть от плоти постколониального проекта по высвобождению речи субалтернов» (Мюллер, 2020: 20). «Глобальный Юг» не чисто территориальное понятие, оно предполагает существование угнетенных в северных странах («Юг на Севере») и сверхбогатых в южных странах («Север на Юге»), а также крупных узлов мировой экономической сети («глобальных городов») на Юге (Ballestrin, 2020). Так что внутренняя колонизация в странах Севера и быстрое развитие некоторых стран на Юге, отмеченные Шелекпаевым и Чокобаевой (2020: 72–73), нисколько не противоречат концепции «Глобального Юга».

Словом, политический характер проекта «Глобального Юга» заключается в стремлении к освобождению угнетенных, особенно в бывших колониях. Тогда в каком смысле «Глобальный Восток» является политическим проектом? За что он должен бороться? От чего он должен освободиться? Об этом Мюллер пишет мало. Сожалея, что «он [Восток] исключен из борьбы Юга за эмансипацию» (Мюллер, 2020: 25), он считает, что ключевое понятие «стратегический эссенциализм» представляет собой «политическую практику, способную мобилизовать различные маргинальные группы, собрать их под общим знаменем эмансипаторного политического проекта» (Там же: 31), а «движение Юга к эмансипации может стать моделью для Востока в его политическом рывке к деколонизации производства знания и в попытке вернуться на карту» (Там же: 32). Здесь подразумевается, что, хотя Восток не является бывшей колонией Севера, он находится в колониальном положении в производстве знания. Но тогда почему Восток не может присоединиться к борьбе Юга за деколонизацию производства знания? В чем заключается «восточность» в эмансипаторном проекте?

И не менее важный вопрос: поскольку речь идет не просто о Востоке, а о «Глобальном» Востоке, «восточность» должна существовать глобально, а есть ли тогда «Восток на Севере» и «Восток на Юге»? Граненый стакан ИКЕА и другие примеры, которые Мюллер приводит для доказательства глобальности Востока, — это просто следствия международной торговли, миграции и культурных обменов. Они не связаны с глобальными задачами, подобными колониальности и угнетенности Глобального Юга и не могут служить субъектом или объектом эмансипаторного проекта.

Приходится констатировать, что «Глобальный Восток» — плохо доработанная концепция. Но в то же время следует серьезно считаться с озабоченностью Мюллера слабой представленностью постсоциалистического Востока в глобальном производстве знания. Однако здесь его подход также порождает много вопросов.

Евроцентризм и разобщенность академического мира

Как японский ученый, который занимается изучением Центральной Азии, я в двойном смысле хорошо понимаю озабоченность Мюллера о маргинализации «серых» регионов. Во-первых, как и везде, Центральная Азия — плохо узнаваемый в Японии регион, и специалистов по ней немного. Во-вторых, в мировом академическом сообществе Японию тоже могут считать «серой» страной. В Японии наука достаточно хорошо развита, и японские ученые прекрасно знакомы с достижениями западной науки, но мало кто из них приобретает известность на Западе, особенно в сфере гуманитарных и социальных наук. Это не только потому, что они в основном пишут на японском языке, но даже если они пишут и выступают на английском, их стили писания и манеры общения несколько отличаются от американских и европейских. Несмотря на более чем столетнюю историю нахождения

в ряду развитых стран мира, Япония все еще испытывает трудности в приобретении равного с западными странами положения в сфере науки.

Мюллер (2020: 35) поддерживает децентрирование Запада и «его претензии на производство универсального знания», но, как отмечают Шелекпаев и Чокобаева (2020: 78), нельзя не заметить скрытый евроцентризм в его взглядах: так, «Восток» остается «серым», потому что мировым (читай, западным) медиа и образовательным центром он плохо знаком (Мюллер, 2020: 21, 23). Он высоко оценивает некоторых ученых с Юга за теоретические импульсы, которые их работы дали Северу (Там же: 31–32), но получается, что право Юга и Востока на производство знаний признает и оценивает их уровень не кто иной, как Север/Запад.

Разумеется, такой скрытый евроцентризм, или точнее — западоцентризм, есть не проявление личных предрассудков Мюллера, а отражение реального положения дел в академическом мире. Евроцентризм как идеология уже давно раскритикован и на Западе, но Запад не отказался от доминирующей позиции в производстве знания, и даже наоборот, усиливает ее, притягивая талантливых исследователей из незападных стран и распространяя свои критерии оценивания исследований по всему миру. В постсоветских странах к этой тенденции присовокупляется неолиберализация образования и исследований, которая не только превратила эти страны в поле вмешательства и циркуляции идей и финансовых потоков (Шелекпаев, Чокобаева, 2020: 76), но и позволила оценивать по западным критериям работы исследователей и академических учреждений в этих странах как второстепенные. Примеров, подобных ученому из вымышленной страны Молвания, статья которого отвергается престижным журналом из-за «недостаточного количества ссылок на современные работы, логических нестыковок, а также стилистических погрешностей» (Там же: 76), очень много. В мировых университетских рейтингах, таких как THE и QS, университетам в постсоветских странах обычно дают невысокие оценки³. Неолиберализация также приводит к нестабильному финансированию и частой реорганизации образовательных и исследовательских учреждений, которые не просто ухудшают их оценки, а приводят к деградации условий самой научной работы (например, см.: Исабаева, 2021).

Распространение западных критериев оценивания не обязательно означает, что ученые на «Востоке» стали легко приобщаться к западной науке. Многие университеты и исследовательские институты прилагают усилия к улучшению количественных показателей, чтобы повысить свое место в рейтингах и получить гранты, но не всегда обращают должное внимание на освоение собственно достижений западной науки. Тех, кто постоянно читает новейшие работы западных ученых, мало, особенно в Центральной Азии. Многие западные теории, особенно конструктивистские, плохо приживаются в постсоветском пространстве. Гендер-

3. В большинстве рейтингов более или менее видное место занимает только Московский государственный университет — 174-е в THE 2021 и 78-е в QS 2022. Казахский национальный университет находится на 175-м месте в QS 2022, но ниже 1000-го в THE 2021.

ные исследования популярны в определенных кругах, но отвергаются другими. Правда, есть исследователи, которые учились и активно публикуются на Западе, но им часто трудно вести диалог с чисто местными учеными и оказывать на них влияние.

Подобные затруднения в качественном расширении влияния западной науки объясняются не только тем, что английский язык не стал *lingua franca* (Мюллер, 2020: 28), но и тем, что в каждой стране есть своя академическая иерархия, и авторитетные ученые и их ученики часто не желают переориентировать свои подходы к исследованиям. Особенно гуманитарным наукам трудно преодолеть языковые, культурные и идеологические барьеры. Достаточно вспомнить, что в последние годы китайцы заняли передовые места в области высоких технологий, но в гуманитарных науках они далеки от лидирующих позиций.

В общем, в научном мире происходит примерно такое же разделение, какое предполагают теоретики Глобального Севера/Юга: глобализация быстро распространяет формально единые правила и критерии, но не уравнивает и гомогенизирует мир, а воспроизводит различия между «передовыми», «средними» («серыми») и «отсталыми» странами. При этом в «средних» и «отсталых» странах есть собственные правила и ценностные установки, и потому они остаются разобщенными. Каким образом они могут освободить себя и занять более заметные места в мире? Может ли идея о «Глобальном Востоке» помочь, особенно странам Центральной Азии?

Эмансипаторные проекты в эпоху соперничества великих держав

Чтобы рассуждать о перспективности идеи о «Глобальном Востоке», необходимо понять, что ее вдохновитель — проект «Глобальный Юг» — является продуктом той эпохи, когда многим казалось, что образуется единый миропорядок под властью глобального капитализма, опекаемого единственным гегемоном, США. Такое видение мира позволяло вообразить сопротивление глобальной власти широких слоев угнетенных, имеющих разные характеры, интересы и ценности, но объединенных единой целью освобождения, в виде «Глобального Юга» или «множества» по термину Антонио Негри и Майкла Хардта (Hardt, Negri, 2004).

Но в последние двадцать лет мир изменился. Глобализация привела не к образованию единого порядка, а к ужесточению соперничества между державами. Интересы «северных» стран часто не совпадают друг с другом, что привело к такому явлению, как Брексит (выход Великобритании из Европейского союза). Между «южными» державами, такими как Китай и Индия, также возникают конфликты. Сотрудничество Юг-Юг, которое никогда не было беспроблемным, еще больше усложняется. Не получается возродить традиции Бандунгской конференции и Движения неприсоединения. Китай, который раньше иногда рассматривался как потенциальный лидер «Глобального Юга», стал слишком амбициозен, и вряд ли можно считать его эмансипатором угнетенных.

В этом отношении весьма показательным является изменение взгляда на Китай у Ариффа Дирлика, известного критика колониализма и глобального капитализма. В статье, опубликованной в 2007 году, он положительно оценил китайскую модель развития, которая «добилась значительных успехов в глобальной экономике, причем без ущерба для национальной самостоятельности и целей», и считал, что «Пекин может стать новым центром притяжения третьего мира или Глобального Юга», поскольку «век революционных социалистических поисков самостоятельности, подкрепленный недавними экономическими успехами, позволяет КНР в высшей степени обеспечить лидерство в формировании альтернативного глобального порядка» (Dirlik, 2007: 17–20). Через десять лет Дирлик, перечисляя такие негативные аспекты политики и экономики Китая, как разрушение окружающей среды, подавление прав и свобод граждан, создание одного из самых неравноправных обществ в современном мире, колониальная оккупация земель меньшинств, имперская воинственность и ирредентистские претензии, пишет, что «в отличие от времен холодной войны, претензии лидеров КНР к существующему мировому порядку оправдываются не предложением альтернативы капитализму или даже альтернативной идеологии. То, что они предлагают как способ убеждения, это просто и совершенно неприкрыто — “деньги”» (Dirlik, 2017: 534, 538–539).

На постсоциалистическом пространстве сотрудничество между странами складывается неудовлетворительно. Отношения между Россией и странами к западу от нее или плохие, или нестабильные. Между Россией и странами Центральной Азии отношения довольно тесные и стабильные за счет экономической уязвимости последних, но часто наблюдается несовпадение интересов, а также взглядов на историю (как подробно излагают Шелекпаев и Чокобаева). Отношения между самими странами Центральной Азии улучшились после смены президента Узбекистана в 2016 году, но все еще остается много проблем, в том числе пограничные, которые, например, привели к вооруженным столкновениям между Таджикистаном и Кыргызстаном в 2021 году. Более того, внутри стран региона расширяется экономическое неравенство, политические руководства стран не в полной мере представляют интересы широких слоев населения, а альтернативные неправительственные структуры слабы. Даже в Кыргызстане, где массовые протесты неоднократно приводили к свержению президентов, новые лидеры вновь сосредоточивали власть в руках своих и узкого круга своего окружения.

Что делать странам Центральной Азии и их населению? Очевидно, что «собрать их под общим знаменем эмансипаторного политического проекта» (Мюллер, 2020: 31) не получится. Нужна более сложная, многоаспектная стратегия. Хотя Центральная Азия во многих отношениях считается маргинальным регионом, она — часть множества макрорегионов: постсоветского пространства, Азии, мусульманского мира, тюркского мира (за исключением Таджикистана) и т. д. Это обстоятельство полезно учитывать для расширения разнообразия стратегий.

В частности, Центральная Азия может позиционировать себя и как часть «Юга», и как часть «Востока». По уровню социально-экономического развития

она, несомненно, принадлежит к «Югу». Мюллер (Там же: 21) прав, что некоторые ученые (по незнанию) не включают страны Центральной Азии в «Глобальный Юг», но международные организации и правительства развитых стран относятся к ним как к развивающимся странам, предоставляют им различные льготы в финансировании, технической помощи и научно-образовательных связях. По состоянию на 2021 год, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан включены в список получателей официальной помощи в целях развития, составленный Комитетом содействия развитию ОЭСР, в качестве стран с доходами ниже среднего, а Казахстан и Туркменистан — с доходами выше среднего⁴. Все пять государств также входят в группу развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (под эгидой ООН). Сотрудничество между развивающимися странами на правительственном и неправительственном уровнях не всегда успешно или заметно, но оно необходимо для того, чтобы «Север» больше слышал голоса «Юга», и потому странам Центральной Азии стоит еще более активно включить в него.

Центральная Азия является частью «Востока» во множестве значений. Как азиатские страны, они привлекают немалое внимание стран Восточной Азии. Как часть мусульманского Востока, они имеют хорошие отношения со странами Среднего Востока. И как часть в прошлом страны — лидера Восточного блока в Холодной войне — СССР, они сохраняют тесные отношения с Россией и другими постсоветскими странами. Конечно, наследие СССР и отношения с Россией носят неоднозначный характер, но все равно соседство с большой страной со схожими социально-политическими системами и умение большого числа граждан использовать русский язык помогают этим странам не замыкаться в себе. Как уже выяснилось в дискуссии между Мюллером, Шелекпаевым и Чокобаевой, научные работы на русском языке уступают работам на английском по международной цитируемости, но все равно они могут приобрести большую международную читательскую аудиторию, чем работы на национальных языках⁵. Также стоит отметить, что многие люди в Центральной Азии и России разделяют общее чувство своего отличия от Запада. Образ злого «коллективного Запада» в постсоветском пространстве искажен и часто используется для оправдания авторитаризма, шовинизма и гендерной дискриминации, но все-таки важно дать внешним акторам понять их чувство отличия от Запада, согласно которому не стоит им навязывать неуместные стандарты или рецепты разрешения проблем.

Разумеется, отношения с «Севером/Западом» тоже имеют огромное позитивное значение для Центральной Азии. Освоение западных теорий и подходов полезно и для повышения уровня науки, и для лучшего понимания и разрешения соци-

4. См. веб-сайт ОЭСР: <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm> (дата доступа: 09.08.2021)

5. Я отнюдь не намерен принижать значение национальных языков. Как историк Центральной Азии конца XIX — начала XX в., я выступаю за необходимость изучать арабграфические источники на местных языках и больше читать работы центральноазиатских ученых на национальных языках. Но этот вопрос выходит за рамки данной статьи.

альных проблем в регионе. В коммуникации ученых Запада и Центральной Азии существует немало элементов несправедливости, таких как эксплуатация и игнорирование местных знаний и мнений (Ким, 2019; Султаналиева, 2019). Но чтобы в мире больше слышали голоса представителей Центральной Азии и росло число понимающих несправедливость людей, не обойтись без более глубокого участия в академической жизни Запада.

В то же время стоит подчеркнуть и значение научно-культурных обменов между незападными странами. Доминирование Запада в науке и культуре серьезное, но не абсолютное. Такие страны, как Япония и Южная Корея, порой играют для центральноазиатских ученых роль связующего звена с Западом. В сфере популярной культуры западные страны иногда предоставляют площадку для начала восхождения на мировую сцену: К-поп сначала стал популярным в соседних странах Кореи и лишь потом приобрел всемирную известность, а казахский певец Димаш Кудайберген стал мировой звездой после своих успехов в Китае.

Ныне обостряющееся соперничество между державами может бросить тень на все эти международные связи, так как некоторые хотят построить сферы своего влияния и мешать другим развивать собственные отношения с другими государствами. Но даже такое соперничество может давать средним и малым странам возможность получать выгоду. Для государств Центральной Азии политика лавирования является исторически привычной, хотя нельзя игнорировать риск, что в долгосрочной перспективе оно может повредить их независимости (Ууата, 2018).

Всякого рода разделение, будь то Север-Юг или Запад-Восток, — условное. Особенно в сегодняшнем непредсказуемом мире, где не существует ни однополярного, ни биполярного порядка, большая освободительная стратегия под «общим знаменем» не складывается. Здесь более уместны гибкие тактики реагирования на меняющиеся условия, сотрудничество с различными партнерами, которые приведут если не к полному освобождению, то по крайней мере к улучшению своего положения. В этом отношении многоидентичность может дать преимущества Центральной Азии. Хотя невозможно полностью исключить эссенциализм из идентичности людей, в основе многостороннего сотрудничества должно лежать осознание, что Центральная Азия является не частью одного макрорегиона, а в конечном счете частью мира.

Литература

- Исабаева С. (2021). Ученые: казахстанская наука скорее мертва, чем жива. URL: <https://qmonitor.kz/politics/1114> (дата доступа: 09.08.2021).
- Ким Е. (2019). Если «поле» — твой институциональный дом: академическое вымогательство и жалоба как форма политического действия. URL: <https://www.opendemocracy.net/ru/when-the-field-is-your-institution-on-academic-extortion-and-complaining-as-activism-ru/> (дата доступа: 09.08.2021).

- Козачков М.* (2020). Звездаокалипсис. URL: <https://time.kz/articles/nu/2020/07/10/zvezdoapokalipsis> (дата доступа: 09.08.2021).
- Малабаев С. К.* (2016). Роль внешних сил в эскалации трагических событий 1916 г. в Кыргызстане // Цивилизационно-культурные аспекты взаимоотношений России и народов Центральной Азии в начале XX столетия (1916 год: уроки общей трагедии) / Т. В. Котюкова (ред.). Сборник докладов Международной научно-практической конференции, г. Москва, 18 сентября 2015 г. М.: [б.и.] С. 119–126.
- Мюллер М.* (2020). Разыскивая Глобальный Восток: мышление между Севером и Югом / Пер. с англ. Д. Безуглова // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 19–43.
- Султаналиева С.* (2019). Каково быть объектами изучения? Центральноазиатская перспектива. URL: <https://www.opendemocracy.net/ru/kakovo-byt-obyektami-izucheniya/> (дата доступа: 09.08.2021).
- Шелекпаев Н., Чокобаева А.* (2020). Восток внутри «Востока»? Центральная Азия между «стратегическим эссенциализмом» глобальных символов и тактическим эссенциализмом национальных нарративов // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 70–101.
- Ballestrin L.* (2020). The Global South as a Political Project. URL: <https://www.e-ir.info/2020/07/03/the-global-south-as-a-political-project/> (дата доступа: 09.08.2021).
- Dirlik A.* (2007). Global South: Predicament and Promise // *The Global South*. Vol. 1. No. 1. P. 12–23.
- Dirlik A.* (2017). The Rise of China and the End of the World as We Know It // *American Quarterly*. Vol. 69. No. 3. P. 533–540.
- Hardt M., Negri A.* (2004). *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*. New York: Penguin Press.
- Sajed A.* (2020). From the Third World to the Global South. URL: <https://www.e-ir.info/2020/07/27/from-the-third-world-to-the-global-south/> (дата доступа: 09.08.2021).
- Uyama T.* (2018). Invitation, Adaptation, and Resistance to Empires: Cases of Central Asia // *Uyama T.* (ed.). *Comparing Modern Empires: Imperial Rule and Decolonization in the Changing World Order*. Sapporo: Slavic-Eurasian Research Center. P. 99–118.

Between Essentialism and Multiple Identities: Central Asia as Part of the East, South and the World

Tomohiko Uyama

Professor, Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University

Address: Kita 9, Nishi 7, Kita-ku, Sapporo 060-0809 Japan

E-mail: uyama@slav.hokudai.ac.jp

In this article, the author reflects on the issues raised by two Central Asian scholars, Nari Shelekpayev and Aminat Chokobaeva, in their comments on Martin Müller's idea of the "Global East", as well as on this idea itself. In Central Asia, as well as in Russia, essentialism is widespread;

it is difficult to call it “tactical,” as Shelepkayev and Chokobaeva do. They correctly consider the “Global East” to be a political project, but its political nature must be understood based on the concept of the “Global South” as an emancipatory project against the domination of the North and Eurocentrism. Eurocentrism, as manifested even in Müller’s article, is still strong in the academic world. However, in today’s world, where the rivalry is getting fiercer between the great powers, including the powers of the South and the East, it is difficult for the emancipatory strategies of the Global South or Global East to succeed. Small countries and middle powers need the tact to respond flexibly to changing conditions and working with different partners. In this respect, Central Asia’s multiple identities can be beneficial to it.

Keywords: Global East, Central Asia, essentialism, Eurocentrism, emancipatory project, great power competition, multiple identities, tactics

References

- Ballestrin L. (2020) *The Global South as a Political Project*. Available at: <https://www.e-ir.info/2020/07/03/the-global-south-as-a-political-project/> (accessed 9 August 2021).
- Dirlik A. (2007) Global South: Predicament and Promise. *The Global South*, vol. 1, no 1, pp. 12–23.
- Dirlik A. (2017) The Rise of China and the End of the World as We Know It. *American Quarterly*, vol. 69, no 3, pp. 533–540.
- Hardt M., Negri A. (2004) *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*, New York: Penguin Press.
- Isabaeva S. (2021) Uchenye: kazahstanskaja nauka skoree mertva, chem zhiva [Scholars: Kazakhstani science is more likely dead than alive]. Available at: <https://qmonitor.kz/politics/1114> (accessed 9 August 2021).
- Kim E. (2019) When “the Field” is Your Institution: On Academic Extortion and Complaining as Activism. Available at: <https://www.opendemocracy.net/en/odr/when-the-field-is-your-institution-on-academic-extortion-and-complaining-as-activism/> (accessed 9 August 2021).
- Kozachkov M. (2020) Zvezdoapokalipsis [Star Apocalypse]. Available at: <https://time.kz/articles/nu/2020/07/10/zvezdoapokalipsis> (accessed 9 August 2021).
- Malabaev S. K. (2016) Rol’ vneshnih sil v jeskalacii tragicheskikh sobytij 1916 g. v Kyrgyzstane [The Role of External Forces in the Escalation of the Tragic Events of 1916 in Kyrgyzstan]. *Civilizacionno-kul’turnye aspekty vzaimootnoshenij Rossii i narodov Central’noj Azii v nachale XX stoletija (1916 god: uroki obshhej tragedii). Sbornik dokladov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii g. Moskva, 18 sentjabrja 2015 g.* [Civilizational and Cultural Aspects of Mutual Relations between Russia and the Peoples of Central Asia in the Early 20th Century (1916: Lessons of a Common Tragedy). Collection of Reports of the International Scientific and Practical Conference, Moscow, September 18, 2015] (ed. T. V. Kotjukova), Moscow, pp. 119–126.
- Müller M. (2020) Razyskivaja Global’nyj Vostok: myshlenie mezhd Severom i Jugom [In Search of the Global East: Thinking Between North and South]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 19–43.
- Sajed A. (2020) From the Third World to the Global South. Available at: <https://www.e-ir.info/2020/07/27/from-the-third-world-to-the-global-south/> (accessed 9 August 2021).
- Shelepkayev N., Chokobaeva A. (2020) Vostok vnutri “Vostoka”? Central’naja Azija mezhd “strategicheskim jessencializmom” global’nyh simvolov i takticheskim jessencializmom nacional’nyh narrativov [An East within “the East”? Central Asia between the “Strategic Essentialism” of Global Symbols and a “Tactical Essentialism” of National Narratives]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 70–101.
- Sultanalieva S. (2019) How Does It Feel to Be Studied? A Central Asian Perspective. Available at: <https://www.opendemocracy.net/en/odr/how-does-it-feel-be-studied-central-asian-perspective/> (accessed 9 August 2021).
- Uyama T. (2018) Invitation, Adaptation, and Resistance to Empires: Cases of Central Asia. *Comparing Modern Empires: Imperial Rule and Decolonization in the Changing World Order* (ed. T. Uyama), Sapporo: Slavic-Eurasian Research Center, pp. 99–118.

Как быть историком Центральной Азии сегодня? Наш ответ Изабель Огайон, Жюльену Торезу и Томохико Уяме¹

Аминат Чокобаева

Assistant Professor, факультет истории, философии и религиоведения, Назарбаев Университет,
Адрес: Кабанбай батыра 53, 010000, Астана, Казахстан
E-mail: aminat.chokobaeva@nu.edu.kz

Нари Шелекпаев

Assistant Professor, факультет славистики, Йельский университет
Адрес: Йорк 320, 06511, Нью-Хэйвен, США
E-mail: nariman.shelekpavev@yale.edu

Настоящая статья является ответом на отклик и замечания наших коллег на эссе, в котором мы обсуждаем применимость концепции «Глобального Востока», предлагаемой Мартином Мюллером, в контексте геополитического и экономического неравенства на постсоветском пространстве, в котором республикам Центральной Азии отводится роль ведомых. Наш аргумент состоит в том, что «тактический эссенциализм» академических сообществ Центральной Азии, на который мы обратили внимание как на инструмент ухода от давления внешних акторов, не эквивалентен примордиализму и является оборотной стороной интеллектуальной и политической субъектности местных ученых. На примере коммеморации восстания 1916 года в Кыргызстане мы показываем, что в написание истории часто вовлечены общины «на местах», чья заинтересованность обуславливается прежде всего поколенческой связью с событиями вековой давности. Таким образом, историческая повестка не статична и не диктуется исключительно государством, как предполагают наши собеседники.

Ключевые слова: «Глобальный Восток», Центральная Азия, постсоветское пространство, местные сообщества, эссенциализм, национализм(ы), историография

Мы прочитали тексты Изабель Огайон, Жюльена Тореза и Томохико Уямы, написанные в ответ на нашу статью, с большим интересом. Мы чрезвычайно признательны коллегам за разбор наших аргументов и за готовность вступить в диалог. Цель нашего ответа состоит прежде всего в том, чтобы разъяснить нашу позицию в отношении интерпретации коллегами тех идей, которые мы высказали двумя годами ранее. Мы попытаемся отреагировать на прозвучавшую критику и нащупать новые грани для дискуссии, начатой Мартином Мюллером в 2018 году (Müller, 2018).

С момента публикации нашей статьи в *Социологическом обозрении* прошло чуть более двух лет (Шелекпаев, Чокобаева, 2020). С академической точки зрения это небольшой срок. В регионе, о котором мы писали, однако, за это время произошли события столь масштабные и трагические, что возврат к обсуждению

1. Мы хотели бы поблагодарить Сергея Абашина за идею этого форума.

общности между исследователями из стран Восточной Европы, России и Центральной Азии сейчас кажется предельно несвоевременным. Вместе с тем события, произошедшие в 2022 году, подтверждают ключевой аргумент нашего тезиса двухлетней давности: в настоящее время объединение исследователей в сфере гуманитарных и социальных наук из стран Центральной Азии, Восточной Европы и России невозможно не только из-за эрозии общей идентификации и недостатка понимания того, чем является или чем мог бы стать воображаемый «Глобальный Восток», но еще и в силу непреодолимой центробежности политических процессов на пространстве бывшего СССР и стран Восточной Европы (Шелекпаев, Чокобаева, 2020: 74-77).

Мы также писали об особенностях взаимодействия между учеными в сфере гуманитарных и социальных наук из стран Центральной Азии и России. В начале 2022 года поддержка военного вторжения в Украину (или отсутствие внятной антимилиитаристской позиции) со стороны подавляющей части российского академического сообщества скомпрометировала возможность сотрудничества между российскими учеными и интеллектуалами из других стран (Российский союз ректоров, 2022). Хотя речь не идет обо всех российских ученых, последовавший выход России из Болонской системы и прекращение коллаборации с большинством международных научных организаций свидетельствует о том, что Россия более не стремится быть частью глобального мира. Ее руководство будет строить «суверенную науку» в автаркическом государстве, а гуманитарные науки, по-видимому, будут все больше служить опорой государственной пропаганде. В этих условиях статус русского языка как регионального неизбежно снизится, а количество и качество публикаций на нем сократится. Способствовать снижению привлекательности русского языка будет не только автономизация российской науки, но и государственная пропаганда, которая перестала проводить различия между языком как средством коммуникации на пространстве бывшего СССР и языком как инструментом политики, благодаря которому можно воздействовать на русскоговорящих людей в ближнем зарубежье.

Невозможно не упомянуть и то, какую роль сыграла инструментализация истории и изобретение нарратива, которые использует российское руководство для оправдания масштабного вторжения в Украину. Перед его началом Владимир Путин произнес речь, целью которой было убедить аудиторию в том, что государственность Украины является следствием щедрости национальной политики большевиков и что постсоветская Украина является несостоявшимся государством, которое западные страны используют для создания угроз для нынешней России². Так, он утверждал, что «современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией» (Путин, 2022).

2. Обращение Президента Российской Федерации, 21 февраля 2022, <http://kremlin.ru/events/president/news/67828>

Говоря о «сконструированности» Украины, Путин вторил тому, о чем неоднократно ранее писали многие исследователи, которых трудно упрекнуть в симпатиях к современной российской политике (Suny, 1998; Martin, 2001; Hirsch, 2005). Тот факт, что большевики способствовали созданию национальных государств, переживших СССР, по периметру бывшей Российской империи, сегодня является распространенной — если не общепринятой — точкой зрения (Smith, 1999; Khalid, 2015; Дюлен, 2019). В отличие от представителей тоталитарной школы, которые считали Сталина «разрушителем наций», многие современные исследователи отмечают, что национальная политика большевиков в 1920-е годы была основана на рациональном желании сохранить слабую власть, придумав «перегородки» для народов и этнических групп, которые до этого времени имели приблизительные внутренние или внешние границы (Conquest, 2000; Hodgkin, 2015). Речь Путина при этом свидетельствует об амальгаме из эссенциалистских представлений российского президента о собственной стране, которые он противопоставляет нарративу о сконструированности Украины и других государств бывшего СССР. В речи Путина Россия всегда — «историческая», а Украина — «целиком и полностью созданная Россией» и «не име[ющая] устойчивой традиции своей подлинной государственности» (Путин, 2022). Тот факт, что российская территория также была сконструирована с помощью колониальной экспансии и военных завоеваний, не упоминается им вовсе. Ленин, по мнению, Путина, «втиснул» в Украину Донбасс, Сталин передал ей «земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии», а Хрущев «подарил» Крым (Путин, 2022). Трагедия, однако, состоит в том, что Путин превратил нарратив, связанный с вытеснением и контролем, в руководство к действию для подконтрольных ему военных и гражданских лиц.

Что касается тактического эссенциализма, о котором мы писали в нашем тексте двухлетней давности. Мы сознательно не дали определения этому явлению, сосредоточившись на описании практик, которые его характеризуют, а также на артикуляции его различий по отношению к концепту «стратегического эссенциализма», предложенного Мартином Мюллером. Ключевыми характеристиками тактического эссенциализма является создание нарративов, которые ставят своей целью вытеснить из анализа и оценок прошлого всего того, что противоречит официальному дискурсу в настоящий момент времени. Проявлением тактического эссенциализма также является попытка контролировать производство знания при помощи внешней и внутренней политики, цензуры и финансовых инструментов.

В своем тексте Изабель Огайон и Жюльен Торез пишут, что мы пытаемся «популяризовать» наш аргумент о тактическом эссенциализме и что этот аргумент «может способствовать приданию легитимности в научных и политических дебатах тем взглядам, которые <...> представляются [Огайон и Торезу] проблематичными и даже опасными» (Огайон, Торез, 2023: 54).

Во-первых, необходимо уточнить, что мы не являемся приверженцами эссенциализма и никого к этому не призываем. Вдумчивое чтение нашего текста покажет, что наше отношение к любому виду эссенциализма — стратегическому,

к которому призывает Мюллер, или тактическому, описанному нами — было и остается весьма скептическим. Задачей нашего текста было не популяризовать «тактический эссенциализм», как утверждают Огайон и Торез, но описать это явление и проанализировать стоящие за ним дискурсы и практики. Именно поэтому мы постулировали, что наиболее неотложной задачей для историков постсоветского пространства является не иллюзорное «объединение под единым знаменем», но как минимум недопущение того, чтобы это знамя превратилось в попури из политических манифестов.

Во-вторых, Огайон и Торез справедливо отмечают, что понятие «стратегический эссенциализм», позаимствованное Мюллером у Гаятри Спивак, является категорией политической. При этом подразумевается, что политическое и научное существуют в отдельных, не соприкасающихся друг с другом отсеках. В отличие от наших коллег, мы не видим возможности отделить историю от политики. Значительная часть нашего текста была попыткой показать их переплетение и взаимосвязь.

Что касается примордиализма и усилий применить «биологический подход к выстраиванию коллективных идентичностей», о которых сетуют Огайон и Торез и который якобы свойственен историческим исследованиям в Казахстане на современном этапе, нам хотелось бы отметить три вещи. Во-первых, мы не считаем, что данный подход является распространенным. Подавляющее большинство ученых, работающих в университетах и научных институтах в Казахстане, занимаются исследованиями, которые имеют мало или совсем ничего общего с физической антропологией. Во-вторых, даже если подобные подходы и имеют место, они не существуют в вакууме. На них есть политический запрос. На фоне речей Путина об искусственно созданных «союзных республиках», военных действий в Украине, а также регулярных заявлений российских политиков и общественных деятелей о территориальных претензиях к Казахстану — сведение воедино права на территорию и национальной идентичности является не только и не столько отходом от «постмодернистских и постколониальных подходов», о которых пишут Огайон и Торез, но прежде всего следствием геополитики (Огайон, Торез, 2023: 55). В этой связи нам кажется наиболее продуктивным документировать и анализировать происходящее, а не брать на себя нормативную роль измерителей допустимого или недопустимого в научной практике или политическом дискурсе. В-третьих, является ли интерес к генеалогии проявлением примордиализма?

Возьмем *шежире*, о которых пишут наши коллеги. С социантропологической точки зрения шежире для казахов это не просто «родословные» или список с именами предков. Это инструмент сохранения коллективной памяти, поддержки общественных институтов, регулирования брачных и наследственных отношений и т. д. В советское время у казахов не было возможности исследовать свои шежире и тем более обсуждать их в публичном пространстве. Сейчас шежире — это способ вернуться к комплексному изучению семейной и родовой истории и пример деколонизации бытия «снизу» (в противовес академической истории, которая ос-

нована на архивных источниках, недоступных для большинства обычных людей). Для немногочисленных коллег, которые исследуют шежире как научный объект, это возможность проводить междисциплинарные исследования на стыке истории, антропологии и генетики, результаты которых публикуются в признанных рецензируемых журналах, таких как *Genome Research* (Sabitov et al., 2015).

Нам представляется интересным тот факт, что, критикуя шежире, Огайон и Торез упускают из виду огромную популярность генеалогии и генеалогических сервисов в Европе в настоящее время. От сайтов, где любой желающий может построить генеалогическое древо своей семьи, до многочисленных лабораторий, определяющих по ДНК «историю рода», изучение своих корней — феномен, модный далеко не только в Казахстане³. Можно ли в таком случае говорить о процветающем эссенциализме европейских обществ? Мы также хотели бы задать нашим коллегам вопрос, почему определенные практики в странах Центральной Азии видятся им в совершенно другом свете, чем схожие и даже аналогичные практики в их собственном регионе?

Вопросы, поднимаемые Томохико Уямой, также касаются использования нами понятия эссенциализма. В частности, Уяма задается вопросом, не является ли публикация исследований на местных языках в республиках Центральной Азии «просто эссенциализмом, а не “тактическим” вследствие “поощрения и даже давления” на ученых» (Уяма, 2023: 61). Развивая свою мысль о роли эссенциализма в современной исторической науке в странах Центральной Азии и России, Уяма приходит к выводу, что эссенциализм часто используется историками этих стран для «отстаивания правоты своего народа». Мы не отрицаем инструментализацию истории на постсоветском пространстве. Тем не менее нам хотелось бы скорректировать широко распространенное убеждение, что проведение исторических исследований в республиках Центральной Азии сводится к удовлетворению государственного заказа. Кроме того, мы не считаем, что политический характер исторических исследований непременно предполагает деление на «правых» и «неправых» и «своих» и «чужих».

Стоит ли считать предпочтение публиковаться на государственных языках проявлением исключительно эссенциализма, как пишет Уяма? С одной стороны, мы согласны с его утверждением, что в странах Центральной Азии академические работы по истории государств и народов региона являются частью национального строительства в постсоветском контексте. Вполне естественно, что подобные публикации могут оказаться политическим заказом или даже результатом давления на профессиональных историков. С другой стороны, нам представляется проблематичным мнение о том, что при прочих равных большинство ученых региона предпочитают публиковаться на русском языке. Вне сомнения, те ученые из стран Центральной Азии, которые получили образование до распада СССР и, вероятно, в 1990-е годы, владеют русским языком в достаточной степени и, как следствие, могут публиковаться в русскоязычных и российских журналах. Но все

3. См. например: www.genesreunited.co.uk

это не отменяет того факта, что число публикаций на языках стран Центральной Азии растёт. Более того, несмотря на повсеместное владение русским языком, немало центральноазиатских ученых говорят и предпочитают писать на родных языках. Понятие местных и государственных языков в этом случае не отражает эмоциональной нагрузки, вкладываемой в интеллектуальное и культурное (вос) производство знания. Так, редактор и авторы сборника Үркүн — 100: Кылымдар унуткус кыргын: Макалалар, блогдор, маектер, эскерүүлөр⁴ — прежде всего кыргызоязычные исследователи. Редактор сборника, Тынчтыкбек Чоротегин, известен на родине не только как историк, но и как писатель, публицист и переводчик с кыргызского языка. Резюмируя, мы не беремся опровергать мнение, что использование государственного языка диктуется верой в то, что язык является основой государственности. Это действительно так, но нам представляется, что публикации на государственных языках, это не только реакция на условный госзаказ (как в материальном, так и в символическом смысле), но еще и попытка ответить на запрос аудитории «на местах».

Существует вопрос содержания, которое может коррелировать с языком публикаций. Этот вопрос особенно актуален для исследований, касающихся наиболее трагических моментов в современной истории региона, будь то восстание 1916 года, голод в Казахстане или сталинские репрессии конца 1930-х годов. На это есть несколько причин. Во-первых, эти события затронули местное население в большей степени, чем пришлое европейское население. Показателен в этом случае факт, озвученный Сарой Кэмерон в ее книге, посвященной голоду 1930-х годов в Казахстане (Cameron, 2018). Кэмерон пишет, что у заключенных ГУЛАГа было больше шансов выжить, чем у кочевников-казахов (Cameron, 2018: 119-120). Память о голоде среди европейского населения Казахской ССР не сохранилась по той простой причине, что голод в этой группе населения никогда не достигал тех катастрофических масштабов, каких он достиг в казахских аулах. В Кыргызстане воспоминания о восстании 1916 года среди переселенцев и их потомков собирались в советское время и после распада СССР, но опять-таки, их число на русском языке относительно мало в сравнении со свидетельствами на кыргызском и казахском в силу того, что количество жертв среди коренного населения многократно превышало число жертв среди колонистов.

Такой этнодемографический перекокс объясняет и то, что память об этих событиях сохранилась и передавалась прежде всего на казахском и кыргызском языках, в том числе в советское время. В этом легко убедиться, посетив Академию наук Кыргызской Республики, где хранятся архивные записи воспоминаний о восстании 1916 года, а также песен, посвященных восстанию, собранных в 1920-1950-е годы. Часть этих воспоминаний была переведена на русский язык, но так и не была опубликована по политическим причинам (Рукописный фонд НАН КР, инвентарный номер 1491.0). Кроме того, перевод и публикация воспоми-

4. Столетие Великого Исхода кыргызского народа, 1 мая 2016, <https://rus.azattyq.org/a/kyrgyzstan-urkun-1916/27709420.html>

наний и новых исследований требуют финансовых ресурсов, отсутствие которых, как мы уже отмечали, сильно ограничивает возможности ученых в центрально-азиатских республиках. А учитывая отсутствие интереса со стороны русскоязычной аудитории, публикация таких исследований на русском языке представляется во многих случаях нецелесообразной.

Томохико Уяма отмечает, что эссенциализм в исторической науке часто ведет к поиску виноватых. Действительно, страны, недавно обретшие независимость, в том числе республики Центральной Азии, порой используют эксклюзивные и телеологические нарративы для достижения политических целей. Но нужно понимать, что эссенциализм не является имманентным атрибутом тех или иных национально-ориентированных версий истории (если только речь не идет о тотальном контроле государства над историками). Скорее, в период своего развития историографии склонны проходить через те или иные формы эссенциализма или детерминизма — и пересматривать их по мере эволюции подходов, а также накопления источников и точек зрения на те или иные исторические процессы и события. Иными словами, нам кажется, что для того, чтобы стать по-настоящему массовым явлением среди историков, подходам, проблематизирующим национальную рамку, по-видимому, должен предшествовать период, когда эта рамка обретет контуры, которые предстоит размывать будущим поколениям историков. Мы писали об этом в 2020 году, и надеемся, что данная мысль сейчас сформулирована понятнее (Шелекпаев, Чокобаева, 2020: 88-89). Мы также пытались показать, что естественный процесс развития историографии внутри Центральной Азии в данный момент ограничен из-за давления академических и политических метрополий, а также из-за желания властей не допустить повода для межэтнических трений в многонациональных республиках (Шелекпаев, Чокобаева, 2020: 81-87). Разумеется, можно относиться к происходящему по-разному. Но наша задача не разрубать гордиев узел, а терпеливо его развязывать, пытаясь отделить причины от следствий.

Что касается исторических исследований, не являющихся частью официального нарратива, то их общая тональность часто направлена на вытеснение советского прошлого с содержательной точки зрения, о чем мы также писали в 2020 году. Это вытеснение проявляется в интересе — иногда перетекающем в мифотворчество — к досоветскому периоду. Но имеет место и постепенная эволюция практик работы с прошлым и с коллективной памятью. Исходя из наших наблюдений, носители памяти «снизу» — в большинстве своем гражданские активисты — не заинтересованы в установлении правоты «своей» стороны, что является, по мнению Уямы, проявлением эссенциализма. Так, цель неофициальной коммеморации восстания 1916 года состоит в том, чтобы почтить память трагически погибших предков. Достаточно вспомнить памятные шествия, проводившиеся в Кыргызстане с начала 1990-х годов для поминовения восставших. Несмотря на участие в мероприятии политиков и общественных фигур, на данный момент они продолжаются только благодаря усилиям гражданских активистов. Так, в 2022 году шествие было организовано исследовательской платформой «Эсимде». Уча-

стие в шестивях и последующее захоронение человеческих останков, найденных во время раскопок в местах массовой гибели людей, остается для участников прежде всего данью почтения предкам, а не политическим жестом⁵.

В том же ключе стоит рассматривать и установку небольших памятников — часто просто надгробных камней и плит — жертвам восстания силами сельских общин. Не будучи официальными, эти памятники не являются частью государственного заказа, а их постройка обычно финансируется из пожертвований жителей близлежащих сел⁶. Порой об этих памятниках знают только в пределах той местности, где они были воздвигнуты. Политический характер подобных коммеморативных практик и их участие в конструировании национальной идентичности очевиден, но это пример конструирования «снизу», осуществляемого без вмешательства государства. Еще одним таким примером является кинетическая скульптура — мемориал памяти жертв восстания 1916 года. Создание мемориала было частной инициативой и включало в себя совместную работу активисток и местных сообществ. Для автора мемориала, художницы и искусствоведа Алтын Капаловой, мемориал представляет попытку «деколонизации исторического нарратива событий 1916 года»⁷. Таким образом, коллективная память о восстании 1916 года не вписывается в его официальное определение как «национально-освободительного». В отличие от официальной историографии восстания — наследуемой с советских времен — которая чествует восстание как борьбу за независимость, «народная» память трактует его как трагедию, которая не должна повториться.

Резюмируя, все проблемы, о которых мы писали два года назад — отсутствие независимости исследований, академическая конъюнктура, проблема языка для публикаций и интеграции в мировую науку, — были и остаются частью академического ландшафта в странах Центральной Азии. Все эти факторы отчасти и способствуют тому, что написание истории региона оказывается несвободным от тех или иных форм эссенциализма. Однако в отличие от наших коллег, для нас эти формы являются не вещью в себе, не источником сравнительной или нормативной оценки и не эпистемологической первопричиной, но *следствием* всех тех проблем, о которых мы писали ранее. При этом мы понимаем, разумеется, что историографические практики и политические вызовы могут восприниматься учеными по-разному в разных точках времени и пространства. Нам всем — в одинаковой степени — нужно стремиться к критике собственных представлений о *постоянно меняющемся* объекте нашего изучения.

Мы еще раз благодарим наших коллег за продуктивный диалог.

5. Столетие Великого Исхода кыргызского народа, 1 мая 2016, <https://rus.azattyq.org/a/kyrgyzstan-urkun-1916/27709420.html>

6. Отчет о поездке по местам памяти событий 1916 года в Иссык-Кульской области, 19 ноября 2020, <https://daniyarov.kg/2020/11/19/otchet-o-poezdke-po-mestam-pamyati-sobyty/>

7. «Искусство — это инструмент для социальных изменений»: интервью с Алтын Капаловой, 12 ноября 2021, <https://the-steppe.com/lyudi/iskusstvo-eto-instrument-dlya-socialnyh-izmeneniy-intervyu-s-altyn-kapalovoy>

Литература

- Дюлен С. (2019). Уплотнение границ. К истокам советской политики. 1920–1940-е. М.: Новое литературное обозрение.
- Мюллер М. (2020). Разыскивая уплотнение границ. К истокам советской политики // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 19–43.
- Шелекпаев Н., Чокобаева А. (2020). Восток внутри «Востока»? Центральная Азия между «стратегическим эссенциализмом» глобальных символов и тактическим эссенциализмом национальных нарративов // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 70–101.
- Cameron S. (2018). *The Hungry Steppe: Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan*. Ithaca: Cornell University Press.
- Conquest R. (2000). *Stalin: Breaker of Nations*. London: Orion Publishing Group.
- Hirsch F. (2005). *Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hodgkin S. (2015). Romance, Passion Play, Optimistic Tragedy: Soviet National Theater and the Reforging of Farhad // *Cahiers d'Asie centrale*. Vol. 24 (Littérature et société en Asie centrale, ed. Gulnara Aitpaeva). P. 239–266.
- Khalid A. (2015). *Making Uzbekistan: Nation, Revolution, and Empire in the Early USSR*. Ithaca: Cornell University Press.
- Martin T. (2001). *The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the USSR, 1923–1939*. Ithaca: Cornell University Press.
- Müller M. (2018). In Search of the Global East: Thinking between North and South // *Geopolitics*. Vol. 25. № 3. P. 734–755.
- Sabitov Zh. et al. (2015). A recent bottleneck of Y chromosome diversity coincides with a global change in culture // *Genome Research*. Vol. 25. P. 459–466. <https://genome.cshlp.org/content/25/4/459>.
- Shelekpayev N., Chokobayeva A. (2020). An East within “the East”? Central Asia between the “Strategic Essentialism” of Global Symbols and a “Tactical Essentialism” of National Narratives // *The Russian Sociological Review* vol. 19, no. 3, pp. 70–101.
- Smith J. (1999). *The Bolsheviks and the National Question, 1917–1923*. London: Macmillan Press Ltd.
- Suny R. (1998). *The Soviet Experiment: Russia, the USSR, and the Successor States*. Oxford: Oxford University Press.

How should we do Central Asian history today? Our response to Isabel Ohayon, Julien Thorez, and Tomohiko Uyama

Aminat Chokobaeva

PhD, Assistant Professor, Department of History, Philosophy and Religious Studies, Nazarbayev University,
Address: Kabanbai batyr 53, 010000, Astana, Kazakhstan
E-mail: aminat.chokobaeva@nu.edu.kz

Nari Shelekpayev

Assistant Professor, Department of Slavic Languages and Literatures, Yale University

Address: 320 York St, HQ 534, New Haven, CT, 06511

E-mail: nariman.shelekpayev@yale.edu

This text is a response to Isabelle Ohayon, Julien Thorez, and Tomohiko Uyama, who commented on our essay that was published two years ago in this journal. We argue that “tactical essentialism,” embraced by Central Asian scholarly communities to circumvent external academic and political pressure, is not equivalent to biological primordialism. We also discuss the commemoration of the 1916 uprising in Kyrgyzstan to demonstrate how the production of history in Central Asia involves the participation of local communities. The socio-historical agenda in the region is fluid and is not dictated solely by the state, as our interlocutors suggest.

Keywords: Global East, Central Asia, post-Soviet space, local communities, essentialism, nationalism(s), historiography

References

- Dulen S. (2019) *Uplotnenie granic. K istokam sovetskoj politiki. 1920-1940-e.* [Sealing of borders. To the origins of Soviet politics. 1920s-1940s], Moscow: NLO.
- Cameron S. (2018) *The Hungry Steppe: Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan*, Ithaca: Cornell University Press.
- Conquest R. (2000) *Stalin: Breaker of Nations*, London: Orion Publishing Group.
- Hirsch F. (2005) *Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union*, Ithaca: Cornell University Press.
- Hodgkin S. (2015) Romance, Passion Play, Optimistic Tragedy: Soviet National Theater and the Reforging of Farhad. *Cahiers d'Asie centrale*, vol. 24 (Littérature et société en Asie centrale, ed. Gulnara Aitpaeva), pp. 239-266.
- Khalid A. (2015) *Making Uzbekistan: Nation, Revolution, and Empire in the Early USSR*, Ithaca: Cornell University Press.
- Martin T. (2001) *The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the USSR, 1923–1939*, Ithaca: Cornell University Press.
- Müller M. (2018) In Search of the Global East: Thinking between North and South. *Geopolitics*, vol. 25, no 3, pp. 734–755.
- Sabitov Zh. et al (2015) A recent bottleneck of Y chromosome diversity coincides with a global change in culture. *Genome Research*, vol. 25, 459-466, <https://genome.cshlp.org/content/25/4/459>.
- Shelekpayev N., Chokobayeva A. (2020) Vostok vnutri «Vostoka»? Central'naya Aziya mezhdou «strategicheskimi esencializmami» global'nykh simvolov i takticheskimi esencializmami nacional'nykh narrativov [An East within “the East”? Central Asia between the “Strategic Essentialism” of Global Symbols and a “Tactical Essentialism” of National Narratives]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 70-101.
- Smith J. (1999) *The Bolsheviks and the National Question, 1917-1923*, London: Macmillan Press Ltd.
- Suny R. (1998) *The Soviet Experiment: Russia, the USSR, and the Successor States*, Oxford: Oxford University Press.

Выбор на брачном рынке или воля Божья? О практической и субстантивной рациональности в категориях пользователей православной платформы для знакомств¹

Полина Алексеева (Калиновская)

Бакалавр, лаборант, Лаборатория «Социология религии»
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.
Адрес: ул. Новокузнецкая, 23Б, Москва, Российская Федерация, 115184
E-mail: pstgu@pstgu.ru, p.kalinovskaya@mail.ru

Онлайн-дейтинг — поиск пары в интернете — сегодня становится все более распространенной и легитимной практикой. Этот поиск, по мнению исследователей, достаточно рационализирован: однотипные анкеты, отбор людей с помощью фильтров по параметрам и стремление найти «лучшее предложение» будто на рынке, стимулирование пользователя к размышлению над собственной результативностью на сайте. При этом среди различных онлайн-дейтинговых платформ существуют ресурсы с религиозной направленностью, в частности — православной, которая задает определенную нормативность поиску пары. Таким образом, наблюдается противоречие между «механистической», рыночной практической рациональностью, следование которой закладывает логика работы платформ для знакомств, и ценностно-нагруженной субстантивной рациональностью православной конфессии. Последняя признает лишь брачные отношения, считающиеся сакральными, а также предполагает агентность Бога в поиске этих отношений. В данной статье в рамках концепции рациональности М. Вебера, с помощью обоснованной теории на базе 14 интервью выявляются категории, позволяющие реконструировать рациональность пользователей при поиске пары на примере известной православной платформы для знакомств. Практическая рациональность реконструируется через категории «активный поиск», «время», «удобство» и «упрощение». Субстантивная, которая может противоречить практической, — через категории «свой человек», «потребительское отношение». Преодоление противоречия может быть описано категориями «самоконтроль», «борьба с искушениями». Что же до соотношения агентности Бога и пользователя на платформе, хотя информанты считают необходимым активно действовать, процесс поиска супруга все равно завершается «точкой воли Божьей» — исходом, который зависит от Бога.

Ключевые слова: онлайн-дейтинг, православие, поиск пары, практическая рациональность, субстантивная рациональность, теория Вебера, обоснованная теория, качественное исследование

1. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 18-78-10089, <https://rscf.ru/project/18-78-10089/>. Организация выполнения проекта — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Автор выражает благодарность Павлуткину Ивану Владимировичу, под руководством которого проходило эмпирическое исследование, ставшее основой для данной статьи, а также Галициной Кристине Викторовне и Хворостяновой Ольге Юрьевне, в команде с которыми проводилось исследование.

Статья признана лучшей по итогам Конкурса научных работ на соискание премии имени Макса Вебера 2021–2022 гг., организованного журналами «Социологическое обозрение» и «Экономическая социология».

Современные социальные науки под воздействием тренда осуждения позитивистских и «европоцентристских» взглядов, а также «социологического империализма» (Радаев, 2005: 59-60), как будто окончательно отказались от бинарной оппозиции «рациональное»/«иррациональное». Сегодня изучение «рациональности» как концепта приобретает множественность направлений. Мы все чаще слышим, что рациональность перестает быть однонаправленной шкалой и нет «более» и «менее» рационального как «более и менее совершенного». Вместо этого рациональность все чаще изучается как множественные рациональности, совокупность самых разных логик действия, разных «картин мира». Принятие этой множественности открывает большие возможности для изучения общественных явлений, и именно в этом изучении теория Макса Вебера оказывается как никогда нужной. «Очень разные виды действий и стилей жизни могут быть “рациональными”» (Kalberg, 1980: 1151) — к этой аксиоме Вебера мы обращаемся вновь и вновь, размышляя над одной из ключевых проблем социологии — соотношения структуры и действия.

Принимая множественность «картин мира», или, говоря языком Вебера, «субстантивных рациональностей» (Kalberg, 1980), мы неизбежно принимаем и то, что их отличность друг от друга подчас неизбежно предполагает и их противоречивость. Противоречия разных субстантивных рациональностей очень хорошо очерчиваются тогда, когда эти рациональности сталкиваются или же когда сталкивается субстантивная рациональность и рациональность практическая (Ibid.). Более того, особенно ярко мы можем увидеть эти противоречия, когда социальная группа, являющаяся носителем одной субстантивной рациональности, картины мира, попадает в структурные условия, где господствует рациональность иная, ей противоречащая. Будучи поставлены в такие условия, индивиды оказываются перед вопросами о принятии собственных решений, об определении субъективных смыслов своих социальных действий. Именно эти вопросы затрагивает данная статья, посвященная реконструкции рациональности обретения пары пользователями православной платформы для знакомств.

Необходимо поставить исследовательскую проблему данной работы. Поиск пары в Интернете, иначе — онлайн-дейтинг (Heino et al., 2010: 428), сегодня становится все более распространенной и легитимной практикой как в западных обществах, так и в России (Ильин, 2020). По мнению многих социологов, в условиях маркетизации культуры, а также становления неолиберальной субъектности в современном западном обществе, задающем романтический дискурс в целом, данный тренд вполне объясним. В связи с этими условиями поиск пары все чаще приобретает рыночные черты: перебор многочисленных вариантов, размышления о романтических отношениях как о «проекте по личностному развитию» и «инвестициях в себя» — все это делает «брачный рынок» не просто концептом из теории экономического империализма (Becker, 1991, 1997), но и повседневной реальностью взаимодействия потенциальных партнеров (Heino, Ellison, Gibbs, 2010; Аронсон, 2021; Иллуз, 2020). Социолог Е. Иллуз, вслед за К. Поланьи, даже провозглашает «великую трансформацию» романтических отношений, при которой данная сфера

отделяется от иных аспектов общественной жизни, становясь, подобно экономике, некой отдельной областью, о которой можно размышлять в логике объективации и калькуляции (Иллуз, 2020: 31). И поиск пары в Интернете как нельзя ярче отражает эту трансформацию и «рыночную» логику. Более того, по мнению некоторых авторов, онлайн-дейтинг сам способствует закреплению этой логики и ее переносу в офлайн-реальность (Аронсон, 2021: 145). Действительно, поиск пары в Интернете — это «будто пример поиска предельно рационализированного» (Галицина, Калиновская, Хворостянова, 2022: 66): множество однотипных анкет, отбор с помощью фильтров по различным параметрам, стимулирование пользователя к размышлению над собственной результативностью на сайте — таковы платформы для знакомств (Plouz, Finkelman, 2009: 402). «Как люди покупают необходимые им товары в онлайн-гипермаркетах, так они приходят и на сайт знакомств для “покупки” потенциальных романтических партнеров и “продажи” самих себя в том же качестве» (Галицина, Калиновская, Хворостянова, 2022: 35). Таким образом, мы можем предположить, что онлайн-дейтинг предполагает действия пользователей в рамках *практической рациональности* — воплощения целерационального типа действия (Kalberg, 1980: 1151).

С другой стороны, при кажущейся «механистичности» и стандартизованности происходящего на дейтинговых платформах, они в последнее время становятся все более специфичными, подстраиваются под запросы групп с самыми разными интересами и ценностями, в том числе — представителей разных религий (Xavier, 2016: 2). Не остаются в стороне и православные россияне, для которых функционирует специализированный ресурс с религиозной направленностью². Обобщая, можно сказать, что отношения с противоположным полом для представителей паствы Русской православной церкви окружены определенной нормативностью, связанной с православным дискурсом: догматами, мнением общины, представителей Церкви, религиозной литературой и т. д. Отношения с противоположным полом конечной своей целью имеют брак, причем, согласно церковным канонам, предполагается такая его форма, как венчание, а с ним — создание семьи, которая считается «малой церковью»³ (Основы социальной концепции РПЦ, 2000). Мы можем сказать, что поиск отношений и их результат предполагают определенный сакральный смысл. Значит, люди, окормляющиеся в Церкви, потенциально являются носителями определенной *субстантивной рациональности*, «картины мира», предполагающей специфический взгляд на отношения полов и поиск пары, который как будто бы едва ли органично сочетается с логикой платформы с ее механистичным рыночным поиском. В рамках этой субстантивной рациональности сама категория «поиска» может быть неактуальной, ведь вторая половинка зача-

2. По этическим соображениям, из уважения к работе платформы и ее требованиям, мы не приводим ее название.

3. Безусловно, религиозный дискурс православия, а также его интерпретации верующими очень разнообразны, а потому в данном исследовании для реализации поставленных задач мы допускаем много обобщений, при этом делая оговорки.

стую предстает как «тот самый» человек, единственный, посылающийся по воле Творца, а не являющийся результатом одной лишь человеческой воли⁴.

Итак, мы сталкиваемся с противоречием «механистической», рыночной практической рациональности, следование которой закладывает логика работы платформ для знакомств, и ценностно-нагруженной, предполагающей сакральность отношений мужчины и женщины, а также агентность Бога в отношениях субстантивной рациональности, которую задает дискурс православной конфессии. И, что особенно интересно, эти рациональности сталкиваются, когда речь идет об *относящих себя к православию людях*, стремящихся обрести пару на *православной платформе знакомств*. Вероятно, сталкиваясь друг с другом, эти рациональности превращаются в некий сплав (быть может, не лишенный противоречий), еще одну «картину мира», с особым сочетанием цели обретения пары на платформе и ценностей, заданных православным дискурсом. В нашей стране, с ее высоким процентом православных (ФОМ, 2022), это противоречие может быть особенно острым в среде воцерковленных, т. е. практикующих верующих, чьи ценностно-нормативные установки брака, вероятно, более проникнуты церковным дискурсом, чем взгляды тех, кто только идентифицирует себя с православием.

Это позволяет нам поставить исследовательский вопрос: *в каких категориях может быть реконструирована рациональность обретения пары православных воцерковленных пользователей платформы для знакомств с религиозной направленностью?* Для ответа необходимо поставить несколько более узких вопросов, последовательный поиск ответов на каждый из которых позволит разобраться:

- Можно ли вычленив в нарративах информантов следование как практической рациональности, предположительно заданной платформой, так и субстантивной рациональности, заданной дискурсом православной церкви?
- Если да, как сочетаются обе рациональности, вступают ли они в противоречие?
- Если противоречия существуют, как они преодолеваются?
- Наконец, как в нарративах информантов представлено распределение агентности в процессе обретения пары между человеком, Богом, сайтом и т. д.?

Методология исследования

Исследование проведено на стыке экономической социологии и социологии отношений. Его эмпирической основой служат интервью, собранные в рамках коллективного исследовательского проекта «Стратегии онлайн-дейтинга православной молодежи», проведенного в 2020–2021 годах в НИУ ВШЭ. Выборка исследования

4. См. статьи на портале «Азбука супружества». URL: https://azbyka.ru/semya/yandex_search/?searchid=2432584&lion=ru&reqenc=&text=%D0%B1%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0 (дата обращения: 07.06.2021)

составила 21 интервью с пользователями известной православной платформы знакомств из Москвы и ближайшего Подмосковья, из которых для данной статьи нас интересуют 14 — те информанты, которые при заполнении анкеты на платформе знакомств обозначили себя как «членов Церкви», то есть практикующих верующих, участвующих в богослужениях и главных таинствах Русской православной церкви — исповеди и причастии. Именно таких людей в данной работе мы называем воцерковленными. Интервью анализировались в логике обоснованной теории (Страусс, Корбин, 2001).

Социальное действие и рациональность в теории Макса Вебера

Ключевыми концептами в данной статье являются «социальное действие», «рациональность», такие ее типы как «практическая рациональность» и «субстантивная рациональность», а также концепты «рационализация» и «агентность». Концепт «картина мира», выступающий отправной точкой темы работы, будет пониматься в данном исследовании как синоним «субстантивной рациональности», что подробнее будет освещено далее.

Социальное действие, что отличает его от действия несоциального или же просто от поведения, предполагает, во-первых, наличие субъективно конструируемого смысла (*meaning*), а во-вторых, ориентацию на другого (Weber, 1968: 4-10). Вебер выделял четыре типа социального действия: аффективное, традиционное, целерациональное и ценностно-рациональное. Примечательно, что для Вебера типы действий являются, говоря антропологическим языком, культурными универсалиями: они присущи всем людям и сообществам (Kalberg, 1980: 1148). Из четырех типов для нашего исследования особенно важны целерациональное (действие, движимое мотивом достижения поставленной цели) и ценностно-рациональное (действие, в основе которого лежит стремление следовать ценностям, пусть это следование подчас вступает в противоречие с «эффективным» достижением цели).

Обратимся к концепту рациональности. В классической экономической теории рациональность — некое универсальное, предельно логичное, наполненное непрерывными калькуляциями издержек и выгод следование эгоистичному интересу, а иные по характеру действия — «иррациональные», качественно менее совершенные. Для социолога же рациональность — лишь одна из логик действия, она вариативна (Радаев, 2005: 103). И истоки такого понимания рациональности мы находим у Макса Вебера.

Едва ли возможно найти единое, строгое определение «рациональности», данное самим Вебером; ситуацию осложняет и специфика немецкого языка, в котором рождался концепт (а точнее, сразу несколько концептов: рациональность, рационализм и рационализация, причем первые два оказываются довольно близки и сложны для интерпретации) (Kalberg, 1980: 1146; Swidler, 1973: 35). Рациональность — это «господство идей над действиями» (Swidler, 1973: 35). Таким образом, мы можем понимать концепт рациональности как некую оптику, логику действо-

вания, которая задает осмысление собственных социальных действий и мотивацию этих действий.

Если типы действий, выделенные Вебером, являются универсальными, то типы рациональностей отличаются от культуры к культуре: люди в разных обществах по-разному мыслят о мире и собственных действиях в нем (Kalberg, 1980: 1148). Целерациональное действие становится основой *практической рациональности*, следуя которой, люди производят непрерывную калькуляцию, сопоставляя цели и средства их достижения (Kalberg, 1980: 1151). Ценностно-рациональное действие, «основанное на вере в самодовлеющие ценности» (Радаев, 2005: 104), лежит в основе другой рациональности, субстантивной — логике действия, апеллирующей к корпусу ценностей и норм группы или общества (Kalberg, 1980: 151). Итак, именно субстантивную рациональность мы считаем возможным рассматривать как синоним «картины мира».

Таким образом, логику устройства онлайн-дейтинга в целом мы ранее соотнесли с практической рациональностью, потому что эта логика как будто бы стимулирует пользователей к реализации четкой цели — нахождению знакомства на сайте — путем непрерывной калькуляции, отбора по стандартным фильтрам и т. д. Православное отношение к обретению пары мы назвали субстантивной рациональностью, потому что в основе его лежат определенные ценностные установки: понимание семьи как «малой церкви», осмысление пути к браку и жизни в нем с точки зрения греха и добродетели, сакральность брака, роль Бога в обретении пары⁵.

Рационализация — «эффективная ориентация средств на достижение цели» (Swidler, 1973: 35) — также один из ключевых концептов теоретического наследия Вебера, который во многом стал ключом к осмыслению общества модерна не только классиком социологии, но и многими его последователями. Логика платформ знакомств также является органичным продолжением развития модерна и «великой трансформации» романтических отношений, что нам еще предстоит увидеть в данных.

Теперь необходимым представляется разобраться с концептом «агентность». Этот прямой перевод с английского «agency» в данной работе мы будем понимать как способность к действию, причем нас, безусловно, будет интересовать субъективное восприятие агентности, то, как сами пользователи осмыслиют ее распределение между актерами в процессе поиска пары на платформе знакомств. Особенный интерес данный концепт представляет для нас в связи с «картиной мира», предполагаемой упомянутым общим православным дискурсом: последний предполагает агентность Бога в жизни человека, в частности — в процессе обретения супруга или супруги (условное «Бог послал супруга»), что может вступить

5. См., напр., подборку статей от журнала Фома (Фома 2021), а также положения о браке из Основ социальной концепции РПЦ (Основы социальной концепции РПЦ 2000). Едва ли возможно говорить о единообразной и внутренне непротиворечивой рациональности, свойственной всем пастырям и прихожанам Церкви, а потому мы говорим об этой рациональности согласно с наиболее общим православным дискурсом.

в противоречие с «рыночной» логикой работы платформы знакомств, предполагающей «личный выбор» (Галицина, Калиновская, Хворостянова, 2022).

Практическая рациональность против субстантивной: категории «активный поиск», «время», «удобство», «упрощение»

Обратимся к ответам на поставленные вопросы. Нарративы информантов не ограничивались поиском пары на платформе: участники исследования всегда выходили на более широкий уровень объяснения, рассуждая о поиске пары в целом (ведь сайт почти всегда был только одним из «вариантов» обретения пары). Поэтому далее мы неизбежно будем затрагивать и более широкий контекст поиска второй половинки.

Первая категория, которую мы рассмотрим, — «активный поиск». Он предполагает вполне конкретную *стратегию* по нахождению пары, цепочку четких действий, а также наличие *цели* найти вторую половинку. При активном поиске молодые люди говорят об этом поиске как о некотором «вопросе», который они «решают» или которым «занимаются». Таким образом, активный поиск как стратегия более всего близок к *целерациональному* типу действия в терминологии Вебера, и направляется этот поиск *практической рациональностью*, являющейся воплощением целерационального действия.

«Ну я имею в виду под “активным поиском” прям активные действия конкретно по поиску. Кто-то там, допустим, в Интернете регистрируется, кто-то на каких-то сайтах целенаправленных, кто-то даже, есть вот проект такой, X⁶, кто-то туда ездит. Кто-то целенаправленно, там, допустим, у подружек спрашивает. Или в компании, то же самое, строит наполеоновские планы, скажем: мальчик понравился, начинают строить там какие-то планы по “захвату”» (Илья, 21 год).

В интервью с представителями стратегии «активного поиска» мы сталкиваемся с еще одной категорией — «время». Речь идет почти всегда о нехватке времени. Многие информанты стремятся к отношениям, имеют такую цель, но также ощущают недостаток времени в своей жизни и именно потому идут на платформу знакомств, ведь тут можно осуществить поиск быстрее, чем «в жизни». «Потратить время», «тратить время» — эти формулировки часто встречаются в интервью; информанты не хотят расходовать временной ресурс на «ненужных людей», стараясь осуществлять поиск, говоря языком Вебера, максимально целерационально:

«Времени нет жутко. Поэтому я на сайте знакомств» (Георгий, 34 года).

Еще две категории из речи информантов — это «упрощение» и «удобство». Упрощение, которое дает платформа знакомств, достигается благодаря тому, что

6. Проект, целью которого является помощь православным христианам в создании семьи.

платформа, опять же, экономит время, позволяет быстро понять, нужно ли «продолжать общаться» с каким-либо пользователем, или стоит переходить к другому. Вот как один из информантов говорит об этом:

«...удобнее, наверное, быстро понять, нужно ли тратить на человека время. Как-то оценить общие какие-то интересы, понять точки соприкосновения и уже после этого решить, имеет ли смысл продолжать общаться. <...> православная платформа упрощает знакомство, вот этот первоначальный этап понимания человека» (Михаил, 24 года, создание семьи, член Церкви).

Об удобстве как о преимуществе поиска пары через онлайн-дейтинговую платформу говорят и иные информанты. Знакомства онлайн удобнее знакомств «в жизни», ведь предлагают более широкий круг людей:

«Просто (на платформах знакомств) людей намного больше (чем в жизни), и это удобнее, вот и все» (Илья, 21 год).

Наличие большего числа людей как раз экономит время на поиск. Как отмечают информанты, сегодня найти православную пару не так просто, а потому большое число пользователей на сайте увеличивает плотность «православной сети» пользователя, сосредотачивает много православных «в одном месте» сразу (то есть на платформе), так что не нужно долго и старательно искать их, как «в жизни». Это, таким образом, увеличивает потенциал экстенсивного, говоря языком К. Гирца, активного поиска. О более высокой «эффективности» поиска пары онлайн ввиду более широкого круга контактов, а также о том, что онлайн-дейтинг экономит время, писал и социолог В. Ильин (Ильин, 2020: 86).

Таким образом, из категорий пользователей воссоздается практическая рациональность, которая движет людьми на сайте и выражается в стремлении к оптимизации, упорядочиванию и контролю процесса поиска. Прослеживается четкая стратегия поиска, некий набор шагов, или даже, как выразился один из информантов, «технология» поиска, связанная с включением и исключением потенциальных избранниц:

«...у меня сейчас такая технология: я примерно составил самый простой фильтр по анкетам, и просто... исключаю из поиска» (Николай, 32 года).

Более того, практическая рациональность действует не только в рамках сайта: ею пользователи руководствуются в вопросах поиска пары по жизни в целом. Вероятно, это связано с общей тенденцией рационализации человеческой жизни в эпоху модерна, а в особенности — с трендом последних лет, когда становление неолиберальной субъектности, как представляется, затрагивающее и нашу страну, превращает даже сферу отношений в «проект по личному развитию», в «инвестиции в себя», а механистическая, рыночная логика онлайн-дейтинга перемещается

и на офлайн-реальность (Аронсон, 2021). Таким образом, сама практика онлайн-дейтинга становится способом эффективного, предположительно, более быстрого достижения четкой цели нахождения пары в эпоху позднего модерна, где сама сфера романтических отношений все чаще окружена практической рациональностью.

Однако неужели даже воцерковленные пользователи, чей взгляд на брак, как мы предполагали, должен был бы направляться субстантивной рациональностью, заданной православным дискурсом, не ощущают никакого противоречия, следуя описанной выше практической рациональности, и не используют иных категорий в своей речи, из которых мы могли бы заключить о наличии у них иной рациональности — субстантивной?

Субстантивная рациональность против практической: категории «свой человек», «потребительское отношение», «самоконтроль», «борьба с искушениями»

В нарративах информантов действительно обнаруживается столкновение двух желаний: с одной стороны, сделать поиск быстрым и удобным (практическая рациональность), но с другой — найти «своего человека», «близкого по духу», а для этого нужно больше узнать о человеке, быть «осознанным» в процессе поиска, что все-таки требует времени и затраты ресурсов. Разберемся в обозначенном противоречии.

Упрощение поиска, которое создает платформа знакомств, при всех своих преимуществах может приводить к негативным последствиям — «потребительскому отношению». Категория означает поверхностное, обесценивающее отношение к пользователям на платформе, вызванное наличием большого числа этих пользователей и легкостью, с которой можно бросить общение с одним и перейти к другому. Эта категория показывает, как сталкиваются практическая рациональность «упрощенного» поиска и субстантивная рациональность, в рамках которой «потребительское отношение» к другим людям на сайте считается чем-то неправильным (вероятно, это связано с православным дискурсом, осуждающим подобное отношение):

«[Платформа] вырабатывает такое, немного потребительское отношение к знакомствам. То есть ты знакомишься с человеком и понимаешь, что есть еще куча других, с которыми можно познакомиться, и поэтому каждого конкретного человека из-за этого ты меньше ценишь. То есть, наверное, в этом его минус <...> вообще, как и любого сайта знакомств, поскольку вы всегда понимаете, что есть вот куча других людей, с которыми можно познакомиться. Я думаю, это такой, один из минусов сайтов знакомств» (Михаил, 24 года).

Далее молодой человек поясняет, что если кто-то на сайте ему «не нравится, раздражение какое-то вызывает», то пользователь «быстро теряет интерес

и обращается к другим людям», ведь на сайте их очень много; отдельный человек перестает быть столь ценен, так как можно быстро найти кого-то еще. Так широта выбора с ее удобством и эффективностью оборачивается «потребительским отношением».

Итак, мы видим, что практическая рациональность активного поиска вступает в противоречие с ценностями информантов, как мы предполагаем, во многом заданными их картиной мира, их православной субстантивной рациональностью. Но как же преодолевается это противоречие? Один из информантов, в нарративе которого заметны как практическая, так и субстантивная рациональность, прибегает к внутренней рефлексии для снятия противоречия между ними:

«[Потребительское отношение] это проблема конкретного человека. То есть если изменить свое отношение, просто к этому как-то правильное относиться, то есть быть честным, то, наверное, можно как-то перебороть, минимизировать, как сказать, эффект вот этот [потребительский]. <...> Я не могу сказать, что я его переборол. Все равно я до сих пор с этим борюсь ощущением. <...> Возможно, одним из способов борьбы с этим чувством было бы стараться как-то больше внимания уделять этому человеку, чтобы понять, нравится он мне или нет, либо честно говорить, что мы друг другу не подходим. Быть более честным и терпеливым» (Михаил, 24 года).

Далее информант описывает внутреннюю борьбу с потребительским эффектом, используя православный дискурс: называет ее «борьбой с искушениями», в которой требуются «самоконтроль», «дисциплина» и «осознанность» (впрочем, последняя категория, вероятно, является не частью православного, но общего неолиберального дискурса современности). Именно от такой внутренней работы «конкретного человека» и зависит, удастся ли преодолеть негативные черты практической рациональности в процессе поиска, сочетать ее с субстантивной рациональностью, во многом закладываемой православным дискурсом, формируя, таким образом, новый тип субстантивной рациональности, которой пользователь будет руководствоваться в поиске пары на сайте, да и в жизни в целом. Такие мыслительные операции с задействованием рефлексивности — то, к чему член современного общества риска вынужден прибегать все чаще (Бекк, 1992). «Осознанность» является способом сохранения собственной «картины мира» под натиском проникающей во все большее число сфер жизни практической рациональности.

Стоит особо отметить и то, что практическая рациональность, поддерживаемая общей логикой платформы, не только может противоречить субстантивной рациональности при поиске пары. Как бы парадоксально это ни звучало, удобство и упрощение процесса достижения цели нахождения пары даже подчас... препятствуют достижению этой цели. Многие информанты в своей речи часто переходили от одобрения оптимизации и упрощения поиска на сайте к критике таких проявлений практической рациональности. Чтобы найти пару «раз и на всю жизнь», создать семью по православным канонам, эффективного выставления фильтров

недостаточно: нужно, наоборот, потратить время, более глубоко пообщаться с отдельными людьми, чтобы узнать их, а стандартизированные механизмы поиска по анкетам такой возможности не дают. Быть может, здесь мы наблюдаем ситуацию, при которой практическая рациональность трансформируется в формальную (Kalberg, 1980): механизированный процесс поиска начинает довлеть над целью этого поиска, вплоть до того, что средства затмевают саму цель. Об этой ситуации, при которой «рыночный» процесс поиска пары на платформах знакомств становится бесконечным и так и не приводит к выбору, пишут и социологи (Иллуз, 2020; Аронсон, 2021), и представители медиа⁷. Мы же, вновь прибегая к концептуальному аппарату Вебера, можем назвать эту ситуацию одним из проявлений той «железной клетки рациональности», которая так характерна для эпохи модерна.

Но направляемые целью обретения пары для создания семьи раз и на всю жизнь воцерковленные пользователи преодолевают и это противоречие. Говоря языком Гирца, помимо экстенсивного поиска по стандартным анкетам в рамках практической рациональности, пользователи осуществляют и поиск интенсивный, пытаясь углублять отдельные знакомства, ведя многомерный торг, прибегая к клиентелизации. (подробнее см. более раннее исследование: Галицина, Калиновская, Хворостянова, 2022)). Таким образом, мы вновь видим, как практическая или даже формальная рациональность могут преодолеваются через практики, направляемые определенной «картиной мира» человека, ищущего пару для создания семьи «раз и на всю жизнь».

Воля Бога или личный выбор? Агентность на платформе знакомств

Хотя мы уже рассмотрели, как практическая рациональность может противоречить православной субстантивной, как происходит обратное противоречие, а также как это противоречие может преодолеваться, неразрешенным остался еще один вопрос. Православная «картина мира» в целом предполагает, что агентность принадлежит не только (а подчас и не столько) человеку, но и Богу. В православном дискурсе часто встречаются такие выражения, как «на все воля Божия», «Бог послал мне супруга», «промысел Божий». При этом в православном вероучении существует и понятие синергии — соработничества Божественной благодати и свободной воли человека, когда решительные действия человека «поддерживаются» Богом⁸. Как же эти компоненты православной субстантивной рациональности, предполагающие активное участие Бога в жизни человека, сочетаются с «активным поиском» и целерациональными действиями в рамках практической рациональности?

7. В связи с внешнеполитической обстановкой данную статью The Village нет возможности прочесть в России, однако ее пересказ доступен в одном из медиа: https://www.topnews.ru/media_id_17739.html?ysclid=16amcnuwev812530758

8. См. корпус богословской литературы в разделе «Воля» сайта «Азбука Веры». URL: <https://azbyka.ru/volya>

В рамках интервью мы пытались вывести информантов на то, каковы, с их точки зрения, роли воли Бога, их воли, воли других пользователей в процессе поиска на сайте. Мы предполагали, что активное проявление своей воли, выражающееся в отборе потенциальных избранниц и избранников «по параметрам» и проч., могут в интерпретациях пользователей противоречить воле Бога о человеке. Безусловно, здесь мы должны помнить о том, что само пребывание на сайте знакомств — уже проявление некоего самоотбора (те, кто только ожидает, пока Бог пошлет им невесту или жениха, вряд ли регистрируются на сайтах знакомств), однако такие противоречия воли Бога и человека вполне могли бы наличествовать, будучи неотрефлексированными.

Однако оказалось, что в нарративах пользователей не обнаружилось данного противоречия. Для представителей «активного поиска» пары стратегию этого поиска мы можем представить в виде четкой линии из последовательных шагов, которая завершается этапом, условно названным нами «точкой Божьей воли» или «фатальной точкой». Мы также могли бы назвать ее «точкой неопределенности». Пользователь делает четкие шаги по поиску пары, но в самом конце он не знает, что получится, потому что тут уже «как Бог решит» или просто «как сложится». Так, одна из информанток отмечает, что, несмотря на все усилия по настраиванию поиска, отбора человека по нужным критериям, пользователь не может знать, как в конце все произойдет:

«Чем больше критериев, по идее, тем же легче найти, ты же можешь отфильтровать. Но в том дело, что люди — это ж не колготки на Wildberries, отфильтровал себе по параметрам, и вот, выбирай. В этом сложность, потому что это отношения, там не всегда все работает, как должно работать» (Нина, 26 лет).

Но дело православного пользователя — все-таки предпринимать действия, самостоятельно дойти до «точки Божьей воли», оказавшись «в нужном месте» и «в нужное время»:

«Так вот, как найти вторую половинку. Наверное, это нечто другое, что ты сам сделать не можешь. Тебе просто нужно быть в том месте, где скорее всего она тебя найдет. Вот, сайт православных знакомств — одно из тех мест, где можно это найти» (Георгий, 34 года).

«Ну нет, я считаю, что нужно проявлять активность, то есть как минимум быть в нужном месте, в нужное время, а для этого нужно шевелиться» (Екатерина, 28 лет).

Обобщая, можно говорить о воле Бога, проявляющейся через события, встречающихся по жизни людей и отсутствие чего-либо в жизни, если этому Бог не благоволит:

«Воля Божья, она проявляется через людей. Это, на мой взгляд, вполне соче- тается, то есть как бы и самому работать, и... То, что не по воле Бога, оно все равно не случится, как ни пытайся» (Елена, 32 года).

Некоторые также упоминают, что, регистрируясь на сайте, они «оставляют за Богом один из вариантов» послать им супруга. Тот же фильтр не может, условно говоря, встать на пути у Божьей воли, ведь Бог наперед знает действия человека, в том числе выбор им фильтра.

Заключение

Таким образом, удалось выявить, в каких категориях может быть реконструирована рациональность обретения пары православных пользователей платформы для знакомств с религиозной направленностью. Возвращаясь к поставленным во введении вопросам, в нарративах информантов обнаруживается следование как практической рациональности, заданной платформой, так и субстантивной рациональности, заданной дискурсом православной церкви. В рамках практической рациональности, которую оказалось возможным реконструировать на основании нарративов, основными стали категории «активный поиск», «время», «удобство» и «упрощение». В рамках субстантивной рациональности, которая действительно подчас вступает в противоречие с практической, — категории «свой человек», «потребительское отношение». Тем не менее такое противоречие обнаруживалось не у всех воцерковленных информантов — в нарративах многих практическая рациональность переплеталась с православной «картиной мира» поиска пары для создания семьи и подчас выходила на первый план. Преодоление противоречия в случае, если информанты фиксировали последнее, может быть описано категориями «самоконтроль», «борьба с искушениями». Что же до распределения агентности, то хотя информанты и делали акцент на необходимости предпринимать активные действия, процесс поиска супруга все равно завершается «точкой воли Божьей», «точкой неопределенности» — исходом, который зависит от Бога.

Безусловно, ограничением данной работы стала необходимость упрощения понимания православной «картины мира», рассмотрения ее в целом, согласно с наиболее общим православным дискурсом. Однако, как показал и сбор поля для данного исследования, таких православных субстантивных рациональностей может быть несколько, и нам еще предстоит разобраться в них.

Затронем и более широкую дискуссию о рациональности в современном мире. Быть может, на примере поиска пары на платформе знакомств мы вновь наблюдаем, как в позднем модерне именно практическая рациональность становится основой мышления о реальности в целом и подчиняет себе все больше сфер общественной жизни. Можем ли мы тогда говорить о том, что и *практическая рациональность может считаться «картиной мира»*? Например, как бы сказали сегодня, взглядом на мир, присущим неолиберальной субъектности, с ее «эффективностью», «результативностью», «саморазвитием»? Сплавом «рационализированного» взгляда на мир с «религиозными», «духовными», «магическими» и т.п. элементами, в которых так нуждается практическая рациональность, сама по себе не способная стать тем, что Кальберг вслед за Вебером назвал «methodical way of

life» (Kalberg, 1980: 1164)? Или же вернее будет предположить, что субъект современности, руководимый практической рациональностью, теряет «картину мира» как таковую, все менее опираясь на ценности, и все более — на практический смысл (в рамках которого даже аспекты религиозности и иные практики духовности подчас оказываются такими же средствами на пути к целерациональным действиям, как и все иные средства)?

Или же, наоборот, возможно говорить о том, что субстантивная рациональность, в том числе «картина мира» воцерковленного человека, способна возвыситься над практической рациональностью, как бы не замечать ее на пути к цели обретения пары, делая даже целерациональные этапы этого пути осмысленными и укладывающимися в «картину мира», наполненную ценностями? Это покажут будущие исследования.

Литература

- Аронсон П. (2021). Любовь. Сделай сам. Как мы стали менеджерами своих чувств. М.: Individuum.
- Галицина К., Калиновская П., Хворостянова О. (2022). Онлайн-дейтинг: рынок или базар? Процесс поиска брачной пары на православном сайте знакомств // Экономическая социология. Т. 23. № 2. С. 65-90.
- Гириц К. (2009). Базарная экономика: информация и поиск в крестьянском маркетинге // Экономическая социология. Т. 10. № 2. С. 54-61.
- Ильин В. И., Афанасьева Ю. А., Баимакова М. А. и др. (ред.) (2020). Двое в обществе: интимная пара в современном мире. М.: ВЦИОМ.
- Иллуз Е. (2020). Почему любовь ранит? Социологическое объяснение. М.: Директ-медиа Пабблишинг.
- Архиерейский собор. 2000. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html> (дата доступа: 20.08.2022).
- Радаев В. (2005). Экономическая социология. М.: Изд. дом ВШЭ.
- Страусс А., Корбин Дж. (2001). Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники / Пер. с англ. и послесловие Т. С. Васильевой. М.: Эдиториал УРСС.
- ФОМ (2022). Пасха. URL: <https://fom.ru/TSennosti/14719> (дата доступа: 20.08.2022).
- Beck U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity / Translated by M. Ritter. London: Sage Publications.
- Becker G. (1977). The Economic Approach to Human Behavior, Chicago: University of Chicago Press.
- Heino R., Ellison N., Gibbs J. (2010). Relationshopping: Investigating the market metaphor in online dating // Journal of Social and Personal Relationships. Vol. 27. №. 4. P. 427-447.
- Kalberg S. (1980). Max Weber's Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in History // The American Journal of Sociology. Vol. 85. №. 5. P.1145-1179.

- Swidler A. (1973). The Concept of Rationality in the Work of Max Weber // Sociological Inquiry. Vol. 43. №. I. P. 35-42.
- Weber M. (1968). Basic Sociological Terms. // Economy and Society / Ed. by G. Roth and C. Wittich. Berkeley: University of California Press.

The choice on a marriage market or the God's will? On practical and substantial rationalities in orthodox dating platform users' categories

Polina A. Alekseeva (Kalinovskaya)

Bachelor, Research assistant, "Sociology of Religion" research laboratory, St. Tikhon's Orthodox University.
Address: 23B, Novokuznetskaya str., Moscow, 115184, Russian Federation
E-mail: pstgu@pstgu.ru, p.kalinovskaya@mail.ru.

Online-dating, or the practice of searching for a partner on the Internet, is becoming more widespread and legitimate these days. According to some researchers, the search process is quite rationalized. This is underpinned by the fact that such platforms presuppose standard profiles, filters usage, and strike for a "better offer" just like on a market, stimulating users to reflect upon their performance. At the same time, there are religious online-dating platforms as well with their specific partner search normativity (i.e., Orthodox). Thus, there is a contradiction between the market practical rationality evoked by online-dating platform logics and substantial Orthodox Christian rationality, with the latter considering only marital relations as good, sacred and also, notably, those God has agency in. Relying on M. Weber's conception of rationality, a grounded theory approach and an empirical base of 14 interviews, the paper reconstructs partner search rationality in the online-dating platform users' categories (here, in the case of a popular Orthodox platform). Practical rationality is reconstructed in the "active search", "time", "convenience", and "simplification" categories. For substantial rationality, which may contradict the practical one, such categories are "soulmate" and "consumer attitude". The overcoming of the contradiction between the two rationalities is described in the categories of "self-control" and "the fight against temptation". In regard to the relationship between an individual's agency and God's agency on the platform, although the informants believe active actions are required, the search for a marriage partner inevitably ends at "the God's will point" — the result of what God wants.

Keywords: Online-dating, Orthodoxy, mating, substantial rationality, practical rationality, Weber's theory, grounded theory, qualitative research

References

- Archierejskij sobor (2000) Osnovy social'noj koncepcii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi [Bishops' Council. The foundations of the social concept of the Russian Orthodox Church]. Available at: <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html> (accessed 20 August 2022).
- Aronson P. (2021) *Lubov. Sdelay sam. Kak my staly menegeramy svoikh chuvstv* [Love. Do it yourself. How we became managers of our feelings], Moscow: Individuum.
- Beck U. (1992) *Risk Society: Towards a New Modernity*. Translated by M. Ritter, London: Sage Publications.
- Becker G. (1977) *The Economic Approach to Human Behavior*, Chicago: University of Chicago Press.
- FOM. (2022) Paskha [Easter]. Available at: <https://fom.ru/TSennosti/14719> (accessed 20 August 2022).
- Galitsina K., Kalinovskaya P., Khvolostianova O. (2022) Onlajn-dejting: rynek ili bazar? Process poiska brachnoj pary na pravoslavnom sajte znakomstv [Online dating: market or bazaar? The process of finding a married couple on an Orthodox dating site]. *Ekonomicheskaya sociologiya*, vol. 23, no 2, pp. 65-90.

- Geertz K. (2009) Bazarnaya ekonomika: informatsiya i poisk v krest'yanskom marketing [Market Economy: information and search in peasant marketing]. *Ekonomicheskaya sociologiya*, vol. 10, no 2, pp. 54-61.
- Heino R., Ellison N., Gibbs J. (2010) Relationshopping: Investigating the market metaphor in online dating. *Journal of Social and Personal Relationships*, vol. 27, no 4, pp. 427-447.
- Illuz E. (2020) *Pochemu lyubov' ranit? Sociologicheskoe obyasnienie* [Why does love hurt? A sociological explanation], Moscow: Direktmedia Publishing.
- Ilyin V. I., Afanas'eva YU. A., Bashmakova M. A. et al. (eds). (2020) *Dvoe v obshchestve: intimnaya para v sovremennom mire* [Two in society: an intimate couple in the modern world], Moscow: VTSIOM.
- Kalberg S. (1980) Max Weber's Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in History. *The American Journal of Sociology*, vol. 85, no 5, pp.1145-1179.
- Radaev V. (2005) *Ekonomicheskaya sociologiya* [Economic Sociology], Moscow: Izd. dom HSE.
- Strauss A., Korbin G. (2001) *Osnovy kachestvennogo issledovaniya: obosnovannaya teoriya, procedury i tekhniki*, [Fundamentals of qualitative research: sound theory, procedures and techniques]. Translated and afterword by T. S. Vasil'eva, Moscow: Editorial URSS.
- Swidler A. (1973) The Concept of Rationality in the Work of Max Weber. *Sociological Inquiry*, vol. 43, no 1, pp. 35-42.
- Weber M. (1968) Basic Sociological Terms. *Economy and Society*, Ed. by G. Roth and C. Wittich, Berkeley: University of California Press.

Образование и риски революционной дестабилизации: опыт количественного анализа

Вадим Устюжанин

Стажер-исследователь Центра изучения стабильности и рисков Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Адрес: 101000 Россия, Москва, ул. Мясницкая, д. 20.

E-mail: vvustiuzhanin@yandex.ru

Яна Степанищева

Стажер-исследователь Центра изучения стабильности и рисков Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Адрес: 101000 Россия, Москва, ул. Мясницкая, д. 20.

E-mail: Yanastepanischeva@gmail.com

Альбина Галлямова

Стажер-исследователь Центра социокультурных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Адрес: 101000 Россия, Москва, ул. Мясницкая, д. 20.

E-mail: aagallyamova@hse.ru

Леонид Гринин

Доктор философских наук, главный научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

Адрес: 101000 Россия, Москва, ул. Мясницкая, д. 20.

E-mail: leonid.grinin@gmail.com

Андрей Коротаев

Доктор исторических наук, профессор, директор Центра изучения стабильности и рисков Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

Адрес: 101000 Россия, Москва, ул. Мясницкая, д. 20.

E-mail: akorotayev@gmail.com

Существует значительное количество теоретических работ, связывающих образование и социально-политическую дестабилизацию. В то же время наблюдается практически полное отсутствие глобальных количественных кросс-национальных исследований, анализирующих влияние образования на риски революционной дестабилизации. В настоящей работе предпринята попытка заполнить этот пробел. Имеющаяся литература показывает, что образование способствует накоплению человеческого капитала, развивает культуру дискуссии и терпимости, делает людей более восприимчивыми к либерально-демократическим ценностям. Все это, с одной стороны, повышает ожидания и требования населения к властям, а с другой — увеличивает относительные издержки участия в любых формах выступлений. В связи с этим выдвигаются предположения, что охват формальным образованием: (1) будет снижать вероятность возникновения вооруженных революционных выступлений, сопряжен-

1. Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2022 г. при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-18-00254).

ных с большими рисками и неопределенностью для участников, (2) но при этом будет криволинейно связан с рисками вооруженных выступлений — на ранних стадиях модернизации наблюдается положительная связь, в то время как в наиболее развитых странах связь будет отрицательной. Из этого следует, что образование в целом отрицательно связано с общим риском революционной дестабилизации.

В ходе анализа было использовано 10 350 наблюдений (с 387 революционными событиями) за период с 1950 по 2019 год на основе доработанных данных NAVCO и сочетания проекта Барро и Ли по исследованию образования с информацией от UNDP (с кросс-валидацией по собственной базе данных авторов). Основными методами исследования выступили кросс-табуляция и корреляционно-регрессионный анализ с построением вероятностных функций.

Ключевые слова: образование, человеческий капитал, революции, максималистские кампании, дестабилизация, вооруженные революции, вооруженные революции

В качестве предикторов революционной дестабилизации могут выступать индикаторы самого разного рода — например, такие социальные и политические переменные, как дискриминация, волны протестов в странах-соседях, сплоченность оппозиции, распространенность коррупции, политические режимы и институты (Goldstone, 2004; Sanderson, 2015; Gleditsch, Rivera, 2017; Farzanegan, Witthuhn, 2017; Grinin, Grinin, 2022; Устюжанин, Гринин, Коротаев, 2021)². Вместе с этим различные модернизационные факторы (ВВП, урбанизация, индустриализация, секуляризация, распространение независимых СМИ, демократизация) также выделяются в качестве значимых факторов нестабильности (Korotayev, Shishkina, 2020; Goldstone, Bates, Epstein, Gurr, Lustik, Marshall, Woodward, 2010; Dahl, Lindblom, 2017). Однако при этом распространение формального образования как предиктор революционной дестабилизации рассматривается лишь в незначительном количестве эмпирических кросс-национальных работ. Например, Ч. Батчер и И. Свенсон (Butcher, Svensson, 2016) пишут о негативной зависимости между образованием и вооруженными революционными выступлениями, а С. Дахлум и Т. Виг (Dahlum, Wig, 2019) нашли положительную связь между образованием и нестабильностью в странах Африки. При этом М. Л. Безансон (Besançon, 2005) приходит к выводу, что неравенство в человеческом капитале, операционализированное через неравенство в среднем числе лет обучения, приводит к более высокой жесточечности во внутригосударственных конфликтах. С другой стороны, У. Ченовет и Дж. Улфелдер (2017) и М. Бессинджер (2022) находят, что охват населения формальным образованием не является статистически значимым предиктором начала революционных выступлений³. Таким образом, выводы имеющихся количественных кросс-национальных работ противоречивы, а тема остается явно недоисследованной.

2. Особо стоит упомянуть внешнее влияние крупных держав, которые используют революции в качестве геополитического оружия (см., например: Mitchell, 2022; Grinin, 2022a; Filin et al., 2022).

3. Отметим, что и Батчер и Свенсон, и Ченовет и Улфелдер предпочитают говорить о максималистских кампаниях, избегая термина «революция». Вместе с тем отметим, что использующие данный термин авторы определяют «кампанию» как «серию наблюдаемых, непрерывных, осознанных массовых тактик для достижения политической цели», подчеркивая, что в центре их внимания находятся «кампании с целями, которые воспринимаются как максималистские по своей природе: смена режи-

Рост грамотности и образования является неотъемлемой составляющей процесса модернизации, которая, в свою очередь, связана с революционной дестабилизацией (Шульц, 2017; Розов и др., 2019; Huntington, 1968; Grinin, 2012, 2022b). Модернизация характеризуется комплексным развитием социальных, культурных и экономических институтов. Процесс, как правило, занимает достаточно длительное время — меняется не только образ жизни (с аграрного на городской), но и мировосприятие, которое формирует новые потребности у населения. Повышение грамотности, как общей, так и политической, значительно увеличивает ожидания граждан относительно своей жизни. Однако возникшие ожидания часто не удовлетворяются, что впоследствии приводит к повышению политической активности, а в отдельных случаях и к насилию (Abemethy, Coombe, 1965). Чем выше контраст ожиданий и реальности, тем более крайние формы может принимать дестабилизирующее поведение. Для высокообразованных людей, которые остались без работы или были отчуждены иным способом, характерно поведение, провоцирующее политические волнения (Huntington, 1968). Также образованное население с большей вероятностью будет требовать политической либерализации, и в случае, если эти требования не удовлетворяются, политическая стабильность в государстве подвергается риску (Lipset, 1959; Glaeser, Ponzetto, Shleifer, 2007). Во многом это связано с ростом потребности в самовыражении, что также приводит к увеличению требований к власти и к желанию расширенного участия в политических процессах, что выливается в протестную активность (Inglehart, Puranen, Welzel, 2015), которая является неотъемлемой частью революционного репертуара. Межстрановые исследования отмечают, что фактором, связывающим образование с участием в револю-

ма или национальное самоопределение» (Chenoweth, Stephan, 2011: 68; см. также: Ackerman, Kruegler, 1994). Но данное определение оказывается практически тождественным современным определениям революции — например: «революция — это коллективная мобилизация, направленная на быстрое и насильственное свержение действующего режима с целью трансформации политических, экономических и символических отношений» (Lawson, 2019: 5); «революция — антиправительственные (очень часто противозаконные) массовые акции (массовая мобилизация) с целью: свержения или замены в течение определенного времени существующего правительства, захвата власти или обеспечения условий для прихода к власти определенных сил, существенного изменения режима, социальных или политических институтов» (Гринин, Коротчаев, 2020); революция есть «попытка преобразовать политические институты и дать новое обоснование политической власти в обществе, сопровождаемая формальной или неформальной мобилизацией масс и такими неинституционализированными действиями, которые подрывают существующую власть» (Goldstone, 2006). Отметим также, что в базе данных The Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes (NAVCO) «кампаниями» обозначаются все бесспорные революции начала XX века, такие как русские революции 1905–1907 и 1917 годов, Конституционная революция в Персии, Синьхайская революция в Китае, Мексиканская революция 1910–1917 годов (Chenoweth, Christopher, 2020), что, собственно говоря, и показывает, что т.н. «максималистские кампании» и есть не что иное, как революции, позволяя нам рассматривать исследования «максималистских кампаний» именно как исследования революций. Стоит также подчеркнуть, что т.н. «ненасильственные максималистские кампании» в реальности обозначают *невооруженные* революционные выступления. Как убедительно демонстрируют М. Кадивар и Н. Кечли (2018), участники большинства так называемых «ненасильственных максималистских кампаний» в достаточно серьезных масштабах прибегали к насилию. Так, Египетская революция 2011 года и «Евромайдан» 2013–2014 годов классифицируются в базе данных NAVCO именно как «ненасильственные максималистские кампании» (Chenoweth, Christopher, 2020).

ционных кампаниях, оказывается и экономическое недовольство, которое растет, если ожидаемое благосостояние не достигается (Campante, Chor, 2012), в чем, как правило, винят государство. При этом, как пишет Бессинджер (2022), именно производные от образования навыки — общая политическая грамотность и критическое отношение к происходящему — увеличивают потенциал протеста и вероятность того, что большее число людей выступит против действующего режима.

Высшее образование развивает критическое мышление: образованные люди более скептически настроены по отношению к правительству, а также больше стремятся к тому, чтобы влиять на политические решения (Dee, 2004; Hillygus, 2005). Люди с высшим образованием гораздо чаще принимают участие в голосовании, вступают в партии и больше недовольны политическими институтами (Dee, 2004; Freeman, 2003). В свою очередь, университеты часто являются очагами революционных настроений. В качестве примеров можно привести события на площади Тянаньмэнь в 1989 году (Dahlum, Wig, 2019), «Арабскую весну», когда протестующие, как правило, были высокообразованными, но неустроенными молодыми людьми (Малков и др., 2013; Гринин, Коротаев, Исаев, Шишкина, 2014; Korotayev, Issaev et al., 2013, 2014; Grinin, Korotayev, 2022; Korotayev, Zinkina, 2022), или революционные выступления в Таиланде 1973 года, когда костяк протестующих составили студенты (Beissinger, 2022). Таким образом, развитое политическое сознание и критическое отношение к политическим институтам у населения, которое формируется во время получения образования, более вероятно приводят к политической нестабильности в форме революций, особенно в сочетании с экономическими трудностями и безработицей (Hall, Rodeghier, Useem, 1986; Thyne, 2006; Beissinger, 2022).

При этом успешность революционной кампании зависит от способности протестующих организовать свои действия (Gurr, 1970; Dahlum, Wig, 2019). Так, более образованные люди обладают большим социальным капиталом, а также развитыми навыками коммуникации, что увеличивает потенциал протеста (Inglehart, Puranen, Welzel, 2015; Dahlum, 2019)⁴. Например, базовые навыки — письмо и чтение — позволяют успешнее распространять информацию, призывать к революции, а также использовать Интернет и социальные сети (Dahlum, Wig, 2019; Beissinger, 2022). Все это увеличивает шансы на мобилизацию максимального числа людей, что является ключевым фактором возникновения и успеха революционных выступлений (Glaeser, Ponzetto, Shleifer, 2007; Murtin, Wacziarg, 2014; Dahlum, Wig, 2019; Dahl, Gates, Gleditsch, Gonzales, 2020). При этом рекрутирование протестующих также осуществляется посредством связей на основе места жительства, профессиональной и общинной принадлежности и дружбы (Goldstone, 2004). Образование же укрепляет групповую солидарность и формирует развитые социальные связи (Goldstone, 1994; McClurg, 2003), которые влияют на вероятность

4. Также имеет значение, где именно получено образование, особенно в связи с усилением стремления к продвижению демократических революций (см., например: Beissinger, 2007). Соответственно, чем больше молодых лидеров получили образование в США и Западной Европе, тем активнее могут быть соответствующие революционные протесты.

участия в революционных выступлениях (McClurg, 2003). Так, люди, посещавшие одну и ту же школу или университет, более вероятно будут иметь схожее мировоззрение, что облегчит взаимодействие и координацию (Tarrow, 1994).

Очень важно разделять вооруженные и невооруженные революционные выступления, поскольку, как было убедительно показано к настоящему времени, уровни рисков их начала связаны с действием разных факторов, когда позитивный предиктор вооруженного революционного выступления может оказываться негативным предиктором выступления невооруженного, и наоборот (Устюжанин, Гринин, Коротяев, Медведев, 2022; Goldstone, 2004; Chenoweth, Stephan, 2011; Butcher, Svensson, 2016; Chenoweth, Ulfelder, 2017; Gleditsch, Rivera, 2017; Dahl et al., 2020; Beissinger, 2022).

В целом можно ожидать, что вероятность вооруженных революционных выступлений будет снижаться по мере распространения образования. Во-первых, получение образования является инвестицией в собственный человеческий капитал и увеличение дохода в будущем, что приводит к росту издержек от участия в вооруженных революциях, сопряженных с огромными рисками потери накопленных инвестиций — не только смерти (Barakat, Urdal, 2009; Dahlum, Wig, 2019; Dahl, Gates, Gleditsch, Gonzalez, 2020), но и утраты здоровья, свободы или потери карьеры. Во-вторых, люди с профессиональными навыками в меньшей степени готовы терять возможность стабильного заработка в пользу опасных для жизни действий, результат которых часто непредсказуем (Hegghammer, 2013). Другими словами, их альтернативные издержки также довольно велики. В-третьих, люди с более высоким уровнем образования в силу воспитания, семейных традиций и воспринятых идей гуманизма в целом менее склонны решать конфликты силовым путем, чем люди с более низким образовательным статусом (см., например: Устюжанин и др., 2022; Pinker, 2011). В-четвертых, люди с высшим образованием реже имеют опыт службы в армии или силовых структурах и не стремятся туда (где заработки часто ниже, чем в гражданских областях деятельности), и в этом плане они имеют меньшие склонности (и соответствующий менталитет) в плане решения проблем силовым путем. В-пятых, по мере роста образования все больший процент людей с высоким образовательным статусом составляют женщины. А женщины менее склонны к насилию, чем мужчины (см. в отношении студентов и студенток: Гринин и др., 2017; Устюжанин и др., 2022). Таким образом, общая ментальность людей с образованием сильнее препятствует использованию насилия, а в экономическом плане повстанческая и вооруженная деятельность становится невыгодной образованным участникам революционных кампаний и ее лидерам (Collier, 2004; Barakat, Urdal, 2009), что позволяет нам сформулировать первую гипотезу:

Н1: С ростом охвата населения формальным образованием общий риск вооруженных революционных выступлений снижается.

Однако при этом образованные люди скорее склонны участвовать в невооруженных выступлениях. Мирные протесты, в отличие от вооруженных акций,

позволяют выразить свою политическую позицию с меньшими индивидуальными рисками и не противоречат концепции прав человека (Dahl, Gates, Gleditsch, Gonzalez, 2020). С ростом уровня образования граждане становятся более требовательными не только к существующим институтам из-за предпочтения подотчетного и лучшего управления, но и к своим действиям. Так, образованные люди терпимее к различным мнениям и выбирают диалог в качестве решения проблем (Newton, 1997; Inglehart, Puranen, Welzel, 2015), то есть скорее прибегают к любым невооруженным практикам, и революционные выступления тут не исключение (Goldston, 2001; Inglehart, Puranen, Welzel, 2015; Dahlum, Wig, 2019; Устюжанин, Гринин, Коротаев, Медведев, 2022).

Кроме того, перечисленные выше навыки, облегчающие координацию и вербовку сторонников для массовой мобилизации, увеличивают шанс на успех именно невооруженных выступлений (Dahl, Gates, Gleditsch, Gonzales, 2020; Beissinger, 2022) и делают их относительно несложными в организации для образованных людей (Устюжанин, Гринин, Коротаев, Медведев, 2022), что увеличивает общую вероятность бескровных революций. Так, образованные люди «обладают определенными преимуществами для участия и координации в коллективных действиях» (Beissinger, 2022: 84)⁵.

Отметим также, что предшествующие исследования показали для слабо- и среднеразвитых стран совершенно закономерную выраженную положительную корреляцию между охватом населения формальным образованием и интенсивностью антиправительственных демонстраций (Коротаев, Билюга, Шишкина, 2017а; Коротаев, Сойер и др., 2020, 2021; Романов и др., 2021; Korotayev, Bilyuga et al., 2018; Korotayev, Sawyer, Romanov, 2021; Sawyer et al., 2021; Sawyer, Korotayev, 2022). Между тем антиправительственные демонстрации являются важнейшим элементом репертуара именно невооруженных революционных выступлений.

Все это дает нам основания сформулировать следующую гипотезу:

H2: В слабо- и среднеразвитых странах охват населения формальным образованием положительно и достаточно сильно связан с рисками невооруженных революционных выступлений.

Тем не менее С. Хантингтон утверждал, что «революция — характерный признак модернизации» (Huntington, 1968: 12)⁶, отдельно обращая внимание на ста-

5. О связи довольно большой группы революций XXI столетия, называемых «цветными», и уровня образования следует заметить, что «цветные» революции особенно распространены в обществах с гибридным политическим режимом и высокой долей молодых образованных людей, а также нацелены на мирные способы борьбы (см., например: Mitchel, 2022). Сказанное подтверждается и киргизской революцией 2005 года, где революция замышлялась как «цветная», но недостаток уровня образования населения привел к тому, что в ряде мест и случаев она приняла насильственный характер (Ivanov, 2022).

6. Хотя точнее было бы сказать, что период модернизации повышает риск революционных событий в обществе (Гринин, 2017; Grinin, 2022b); но в особенности, как мы увидим ниже, он повышает риски невооруженных революционных выступлений.

бильность, доступную модернизированным обществам. Развитые и гибкие политические институты позволяют влиять на политические решения путем легального политического участия. Вероятность революций снижается в политических системах, где существуют возможности распространения власти и расширения границ политической активности внутри системы (Huntington, 1968). Кроме того, исследования подтверждают, что в большой степени образование является предиктором революционных кампаний в странах, не соответствующих демократическим стандартам (Dahlum, Wig, 2019). Таким образом, следует ожидать разного влияния образования на стабильность в менее и более развитых социальных системах.

Если на ранних и средних этапах модернизации фактор повышения риска потери привычной жизни приводит к отказу от вооруженных революционных выступлений (Dahlum, Wig, 2019; Dahl, Gates, Gleditsch, Gonzalez, 2020), то мы предполагаем, что этот же предиктор на поздних этапах ведет уже к повышению рисков начала и бескровных революционных кампаний. Судя по всему, инвестиции в собственный человеческий капитал в виде образования, которые на последних стадиях модернизации становятся особенно большими, заставляют отказываться от участия в любых выступлениях, так или иначе связанных с рисками репрессий или задержания. Более того, альтернативные издержки от участия в революционных выступлениях также возрастают в силу относительно высокого дохода индивида с высоким человеческим капиталом.

Это дает нам основания сформулировать еще одну гипотезу:

Н₃: В развитых странах образование отрицательно и слабо связано с рисками невооруженных революционных выступлений.

Из гипотез Н₂ и Н₃ следует, что можно ожидать общую криволинейную зависимость между рисками невооруженных выступлений и уровнем образования. Отсюда следует, что незначимость образования как предиктора невооруженных революционных выступлений в работах Э. Ченовет и Дж. Ульфелдера (Chenoweth, Ulfelder, 2017), а также М. Бессинджера (Beissinger, 2022) может быть объяснена именно этим — разным эффектом, оказываемым образованием на страны с разными уровнями развития. Итак, наша четвертая гипотеза имеет следующий вид:

Н₄: Уровень образования криволинейно связан с рисками невооруженных революционных выступлений.

С учетом того, что мы ожидаем достаточно сильную положительную корреляцию в слабо- и среднеразвитых странах и достаточно слабую отрицательную корреляцию в развитых странах, следует ожидать общую слабую линейную положительную корреляцию между распространением формального образования и рисками невооруженных революционных выступлений. Это позволяет нам сформулировать следующую гипотезу:

H5: Существует слабая положительная линейная зависимость между образованием и рисками невооруженных революционных выступлений для всех стран мира, взятых в целом.

Итак, у нас есть теоретические основания ожидать, с одной стороны, достаточно сильную отрицательную корреляцию между уровнем образования и рисками вооруженной революционной дестабилизации, и, с другой стороны, слабую линейную положительную корреляцию между образованием и рисками невооруженных революционных выступлений. Сочетание сильной отрицательной и слабой положительной корреляций должно дать в итоге средней силы отрицательную корреляцию, что позволяет нам сформулировать нашу последнюю гипотезу:

H6: Существует отрицательная средней силы корреляция между распространением формального образования и рисками любых революционных выступлений.

Данные и методы

Для анализа мы используем информацию, предоставляемую базой данных *Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes (NAVCO) 1.3* (Chenoweth, Christopher, 2020), которая идентифицирует 622 революционных выступления/«кампании», происходивших с 1900 по 2019 год. Она описывает революционные выступления по целям, продолжительности, успеху или неудаче и, что важно для нас, по методам — вооруженным и невооруженным⁷. Именно последняя классификация — было ли революционное выступление/«кампания» вооруженной или нет — будет взята нами в качестве основы для создания трех зависимых переменных. Так, первой зависимой переменной будет наличие вооруженного революционного выступления за определенный год в конкретной стране, когда «1» — произошло вооруженное революционное выступление, а «0» — или отсутствие любого события, или невооруженное выступление. Вторая зависимая переменная — наличие невооруженного революционного выступления, которое получено тем же образом, однако «1» свидетельствует о невооруженном характере события. И последняя, третья зависимая переменная — наличие любого революционного выступления, где «1» отражает вооруженное или невооруженное событие за определенной год в конкретной стране, а «0» — отсутствие любого события.

7. При этом авторы базы данных особо замечают, что «кампании являются в первую очередь ненасильственными, когда подавляющее большинство участников не вооружены и когда они используют в основном ненасильственные методы <...>. Кампании являются преимущественно насильственными, когда большинство участников применяют силу, особенно вооруженную, против режимов и их сторонников» (Chenoweth, Shay, 2020: 6). Дополнительная кросс-валидация проводилась по нашей собственной базе данных революционных событий (Коротаев, Гринин и др., 2022; Grinin, Grinin, 2022).

Однако стоит отдельно отметить, что классификация вооруженности/невооруженности, используемая в NAVCO, не учитывает так называемых «куволюций» («coupvolution» или «coup-volution»), то есть событий, когда «революционная массовая мобилизация на первой фазе сопровождается военным переворотом на второй фазе революционного процесса; при этом в ходе данного переворота реализуются многие требования участников первой фазы куволюционного процесса» (Коротаяев и др., 2021: 338). Другими словами, такое революционное выступление, «куволюцию», следует характеризовать именно как вооруженное в силу наличия военного переворота, ведь военные являются такими же участниками конфликта, на которых действуют те же факторы, что и на все общество в целом. Таким образом, мы несколько меняем изначальную классификацию из базы данных NAVCO с целью лучшего понимания и анализа революционных процессов.

В качестве главной независимой переменной мы используем среднюю продолжительность лет обучения в стране. Она получена путем совмещения данных Программы развития ООН (UNDP, 2021) и проекта Р. Барро и Дж. Ли (Barro, Lee, 2021), посвященного оценке образования в разных странах мира. База данных Барро и Ли освещает временной промежуток с 1950 по 2010 год, поэтому к ней были добавлены данные от Программы развития ООН, чтобы увеличить охватываемый период до 2019 года⁸. Поскольку методы расчета ООН идентичны тем, что используются в проекте Барро и Ли (Barro, Lee, 1993, 2010), совмещение этих двух баз данных не требует никаких дополнительных перерасчетов. Программа развития ООН определяет нашу переменную как «среднее количество лет образования, полученного лицами в возрасте 25 лет и старше, пересчитанное из показателя образовательного уровня населения с учетом официальной продолжительности каждого уровня образования» (Джахан, 2015: 11).

В свою очередь, общемировая выборка по охвату населения формальным образованием была поделена на шесть равных частей (секстилей, каждый из которых составляет ~16,6% выборки), что позволило выделить группы стран по шести уровням образования:

1. очень низкий (среднее число лет обучения меньше 2,08);
2. низкий (среднее число лет обучения — от 2,08 до 3,81);
3. нижний средний (среднее число лет обучения — от 3,81 до 5,58);
4. верхний средний (среднее число лет обучения — от 5,58 до 7,45);
5. высокий (среднее число лет обучения — от 7,45 до 9,4);
6. очень высокий (среднее число лет обучения — 9,4 и более).

Для анализа революционной нестабильности мы будем пользоваться следующими методами: (1) таблицей сопряженности, которая позволит посмотреть на количество тех или иных эпизодов среди выделенных групп стран, что отразит

8. Стоит отметить, что расширенный нами временной промежуток для среднего числа лет обучения с 1950 по 2019 все равно не полностью покрывает промежуток зависимых переменных (с 1900 по 2019), что не позволяет нам учесть некоторое количество эпизодов из начала XX века. В результате, в итоговом анализе мы учитываем 378 революционных выступлений.

совместное распределение и риски того, что событие произойдет на определенном уровне образования; (2) корреляционным анализом на основе полученных таблиц сопряженности, что позволит статистически проверить наличие или отсутствие связей между разными уровнями образования и рисками той или иной революционной дестабилизации; и (3) логистической регрессией (в силу бинарного характера зависимой переменной) с визуализацией связи между полиномом второй степени среднего числа лет обучения и невооруженными революционными выступлениями, что необходимо для проверки четвертой гипотезы о наличии криволинейной зависимости между образованием и рисками невооруженной революционной дестабилизации.

Результаты

В этом разделе с помощью описанных методов мы анализируем влияние уровня образования на риски той или иной революционной нестабильности. Сначала мы проверим первую гипотезу о наличии негативной связи между средним числом лет обучения и рисками вооруженной революционной дестабилизации. Далее будет представлен анализ связи между образованием и невооруженными революционными выступлениями. В частности, мы отдельно проанализируем риски невооруженной революционной нестабильности в слабо- и среднеразвитых и развитых странах, а также представим общий характер связи без разбиения по уровням развития с использованием логистического регрессионного анализа. В заключении будет рассмотрено общее влияние образования на риски любых революционных выступлений.

Образование и вооруженные революционные выступления

На рисунке 1 представлен график, визуализирующий таблицу сопряженности, где по оси ординат отмечено количество вооруженных революционных выступлений в шести группах стран, выделенных по уровню образования, а по оси абсцисс — средние независимой переменной внутри каждой группы⁹. Так, видна явная и сильная негативная связь между образованием и интенсивностью вооруженных революционных выступлений. В частности, если в первой группе стран с очень низким уровнем образования (где среднее число лет обучения в группе равно 1,16) произошло 58 вооруженных эпизодов, то в странах с очень высоким уровнем образования (где среднее равно 10,97) — всего 4.

9. Другими словами, представлено среднее по переменной «среднее число лет обучения» для выборки, ограниченной границами определенного сектора. Например, для первой группы стран с очень низким уровнем образования среднее равно 1,16.

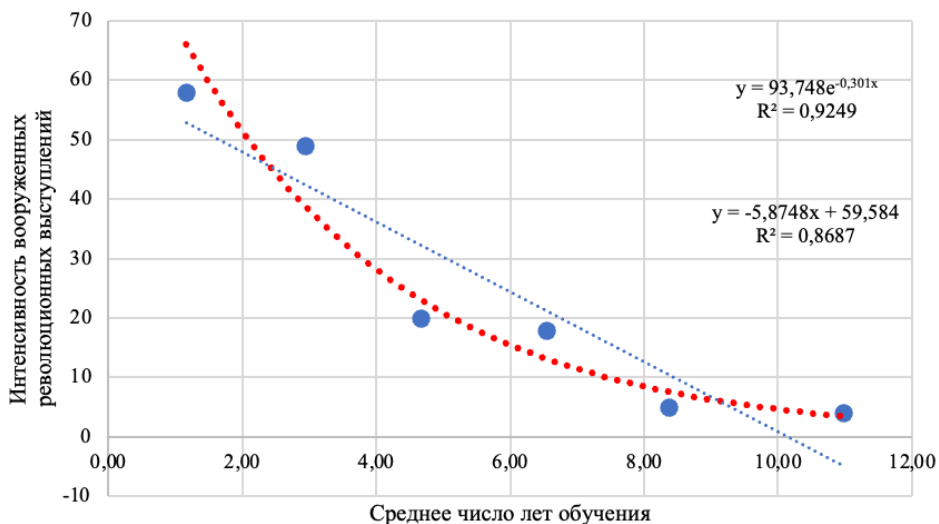


Рисунок 1. Корреляция между средним числом лет обучения по секстилям и числом вооруженных революционных выступлений

Примечание: красная пунктирная линия и верхнее уравнение — экспоненциальная кривая ($p < 0,01$ при двустороннем тесте значимости); синяя пунктирная линия и нижнее уравнение — прямая линейной регрессии ($p < 0,05$ при двустороннем тесте значимости).

Также на рисунке 1 наложены линии линейной и экспоненциальной регрессии. Как видно, и та и другая показывает наличие сильной и значимой отрицательной связи между уровнем образования и рисками вооруженных революционных выступлений. При этом примечательно, что доля объясненной дисперсии наиболее велика именно у экспоненциальной кривой (порядка 92,5%), которая отражает своего рода убывающую отдачу от образования в качестве снижающего риски вооруженной нестабильности фактора. Другими словами, среднее число лет обучения в странах на ранних и активных стадиях модернизации оказывает наибольший эффект, в то время как в случае с развитыми странами этот эффект снижается (во многом за счет эффекта насыщения, что особенно видно при сравнении стран с высоким (пятая группа) и очень высоким (шестая группа) уровнями образования) — переход из одной группы в другую не дает сильного ингибирующего эффекта.

Так или иначе, мы можем заключить, что наша первая гипотеза о наличии сильной отрицательной связи между средним числом лет обучения в стране и рисками кровавой революционной дестабилизации полностью подтверждается.

Образование и невооруженные революционные выступления

На рисунке 2 представлены совместные распределения между интенсивностью невооруженных революционных выступлений и слабо- и среднеразвитыми (рис. 2А), а также развитыми (рис. 2Б) странами, выделенными по уровню обра-

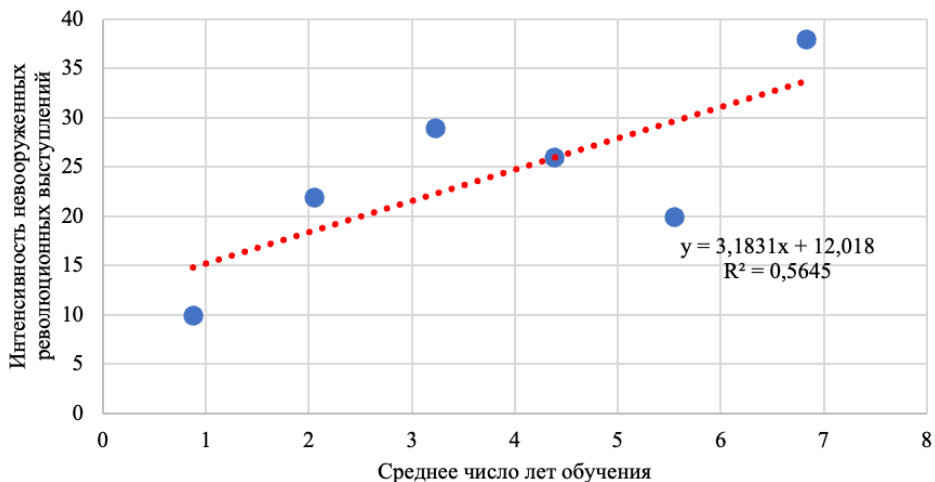
зования, который мы обозначили ранее. Слабо- и среднеразвитые страны представляют собой выборку с 1-го по 4-й секстиль включительно (то есть страны от очень низкого до верхнего среднего уровня образования), а развитые — с 4-го секстиля включительно по 6-й (страны от верхнего среднего до очень высокого уровня образования). В свою очередь, выделенные нами выборки стран также бьются на подгруппы — секстили. При этом для развитых стран 1-й секстиль (рис. 2Б), который можно назвать относительно очень низким уровнем образования для этой подгруппы, пропущен, потому что эмпирически было установлено, что именно 2-й секстиль в этой группе будет являться точкой перегиба, что и представляет для нас наибольший интерес. Стоит отметить, что методологически это допущение о пропуске одного секстиля обосновано, ведь он является составной частью 4-го секстиля из общемировой выборки, который был включен как в группу развитых, так и в группу слабо- и среднеразвитых стран. Другими словами, все революционные выступления учитываются и не опускаются при анализе, что для нас является самым важным.

Так, график на рисунке 2А показывает, что есть существенная положительная связь между средним числом лет обучения и рисками невооруженной революционной дестабилизации внутри слабо- и среднеразвитых стран. Если в первом секстиле в этой группе (где среднее число лет обучения равно 0,87) произошло 10 невооруженных революционных выступлений, то в последнем секстиле (где среднее равно 6,38) их уже 38. При этом наиболее выраженный рост наблюдается среди первых трех секстилей, тогда как начиная с 4-го секстиля видно снижение интенсивности невооруженных революционных событий вплоть до 5, что представляет собой повод для дальнейшего изучения. Тем не менее после небольшого сокращения интенсивности число эпизодов вновь резко возрастает, что видно при сравнении 5-го и 6-го секстилей (20 и 38 эпизодов соответственно).

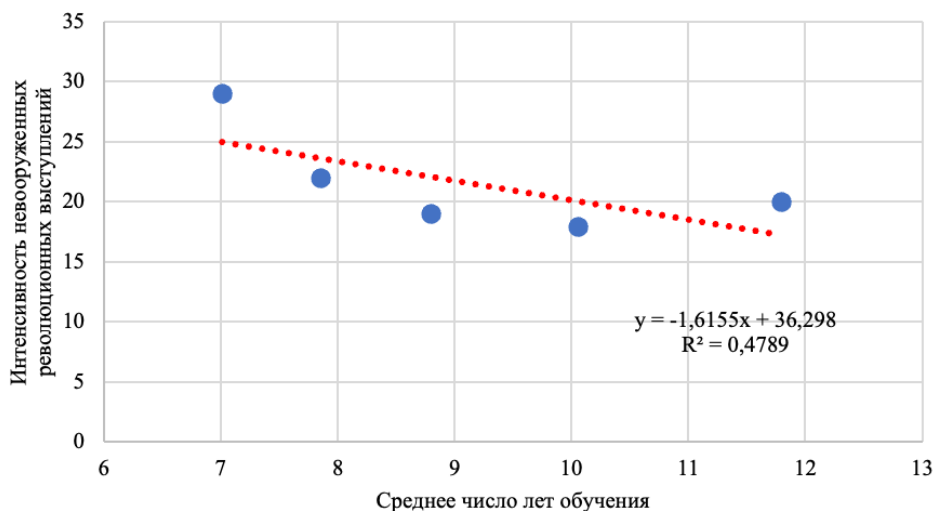
Таким образом, можно говорить о наличии общей положительной связи между образованием и рисками невооруженной революционной активности в слабо- и среднеразвитых странах.

Если обращаться к анализу интенсивности невооруженных революционных выступлений в развитых странах (рис. 2Б), можно увидеть обратную ситуацию: существует отрицательная связь между средним числом лет обучения и количеством выступлений. Так, если в первой группе стран (со средним равным 7,01) наблюдается порядка 30 выступлений, то в последней группе (со средним равным 11,79) — 20. При этом стоит обратить внимание, что минимум революционной активности зафиксирован в предпоследней группе, где произошло 18 эпизодов. Такой небольшой восходящий тренд «на хвосте» также требует отдельного внимания.

Тем не менее из двух графиков на рисунке 2 видно, что в группе слабо- и среднеразвитых стран в целом существует положительная связь между средним числом лет обучения и интенсивностью невооруженных революционных выступлений, а в группе развитых — отрицательная.



А. Интенсивность невооруженных революционных выступлений в слабо- и среднеразвитых странах



Б. Интенсивность невооруженных революционных выступлений в развитых странах

Рисунок 2. Корреляции между средним числом лет обучения в слабо- и среднеразвитых и развитых группах стран и числом невооруженных революционных выступлений

Для дополнительной проверки этих выводов в таблице 1 представлена логистическая регрессия с бинарной зависимой переменной — наличием (= 1) или отсутствием (= 0) невооруженного революционного выступления — и полиномом второй степени от среднего числа лет обучения в качестве независимой переменной. Видно, что как натуральный, так и квадратичный член оказались значи-

мыми на уровне $p < 0,01$, что говорит о важности образования как предиктора невооруженных революционных выступлений. Однако для нас больший интерес представляют оцененные коэффициенты. При среднем числе лет обучения коэффициент сильно положительный (отношение шансов при увеличении охвата образованием на 1 год составляет 1,31), что показывает, с одной стороны, сильное влияние этого фактора на вероятность наступления события, а с другой — смещение кривой функции вероятности от образования в правую, более образованную сторону. При этом квадратичный член имеет отрицательный коэффициент, что показывает криволинейность в виде параболы ветвями вниз и также говорит в пользу наших гипотез о положительной связи между интенсивностью невооруженных выступлений в слабо- и среднеразвитых странах, отрицательной корреляции в группе развитых стран и общей перевернутой U-образной криволинейной зависимости с определенной «левосторонней» асимметрией, когда положительная корреляция в «левой» части спектра (среди слабо- и среднеразвитых стран) оказывается существенно более выраженной, чем отрицательная корреляция в его правой части.

Таблица 1. Логистическая регрессия между невооруженными революционными выступлениями и средним числом лет обучения

	Наличие невооруженного революционного выступления (= 1) или его отсутствие (= 0)
Среднее число лет обучения	0,269** (0,086)
Квадрат среднего числа лет обучения	-0,018** (0,007)
Константа	-4,567*** (0,250)
N	10 350
AIC	2154,785

Примечание: *** $p < ,001$; ** $p < ,01$; * $p < ,05$; в скобках приведены стандартные ошибки.

На рисунке 3 представлен график с предсказанными вероятностями того, что в стране случится невооруженный революционный эпизод, от среднего числа лет обучения в ней с 95% доверительным интервалом. Другими словами, это визуализация модели из таблицы 1, где изображен эффект независимой переменной на вероятность наступления события из зависимой переменной. Из этого графика видно, что вместе с увеличением уровня образования растет и вероятность наступления события вплоть до того, как среднее число лет обучения в стране равно приблизительно 7 годам. Эта точка в целом полностью соотносится с нашей отсекающей границей между слабо- и среднеразвитыми государствами, с одной стороны, и высокоразвитыми странами — с другой. После того как кривая достигает

максимума с вероятностью невооруженного революционного выступления приблизительно в 2,7%, начинается снижение рисков по мере роста образования. При этом стоит отметить, что если на возрастающем участке доверительный интервал, который выглядит как закрашенная серая область, довольно узкий, что говорит о высокой значимости полученной в виде кривой связи, то на убывающем участке доверительный интервал постепенно «размывается», что говорит о меньшей значимости и, соответственно, меньшей точности полученной связи (в этом во многом и выражается эффект «левосторонней асимметрии»). Так или иначе, границы доверительных интервалов на этом участке все равно имеют отрицательный наклон, что свидетельствует о том, что в развитых странах по мере роста образования риски невооруженной революционной дестабилизации снижаются.

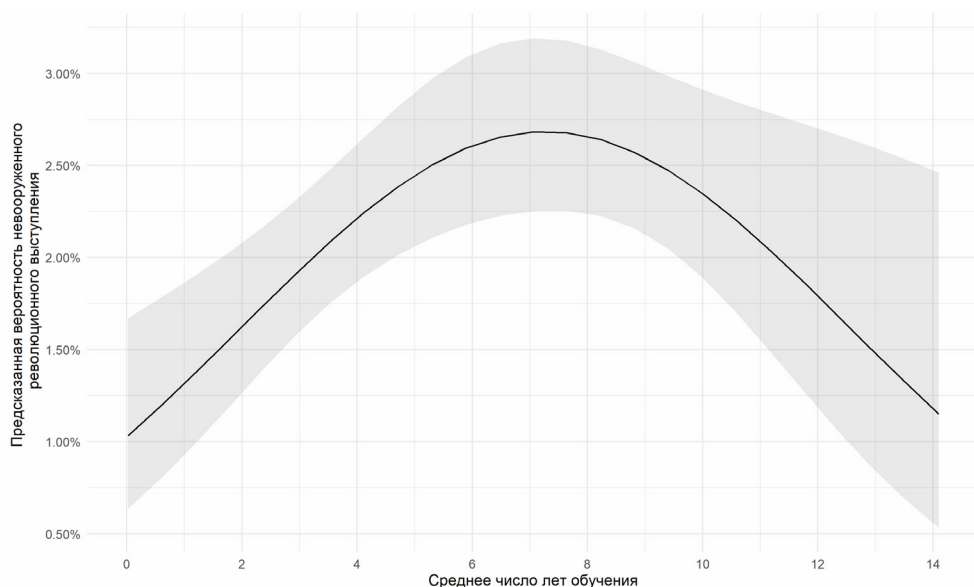


Рисунок 3. Предсказанные вероятности возникновения невооруженного революционного выступления в зависимости от среднего числа лет обучения

В целом та же зависимость прослеживается на рисунке 4, где представлена интенсивность невооруженных революционных выступлений в каждой группе стран (без отдельного разбиения на слабо- и среднеразвитые и развитые страны), выделенных по уровню образования. Так, если наложить на график полиномиальную кривую, то она довольно точно объясняет различия между разными группами (объясняется порядка 83% дисперсии), имея при этом вид параболы ветвями вниз, что было отражено и логистической моделью на рисунке 3. Если наложить прямую линейной регрессии, то она имеет небольшой положительный наклон с относительно низкой значимостью и объяснительной силой, хотя при этом корреляция Пирсона равна 0,56.

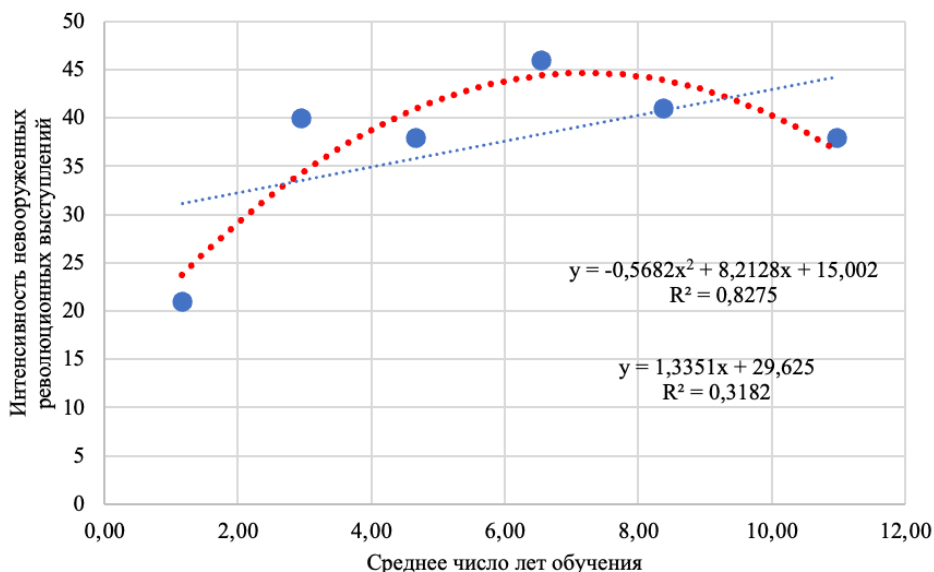


Рисунок 4. Корреляция между средним числом лет обучения по секстилям и числу невооруженных революционных выступлений

Примечание: красная пунктирная линия и верхнее уравнение — полиномиальная кривая ($p < 0,1$ при двустороннем тесте значимости); синяя пунктирная линия и нижнее уравнение — прямая линейной регрессии.

Образование и любые революционные выступления

На рисунке 5 можно увидеть распределение всех революционных событий между шестью группами стран, выделенных по уровню образования. Так, существует прямая отрицательная связь между общей интенсивностью революционных выступлений и средним числом лет обучения в стране, что полностью отражает наши теоретические ожидания. Судя по всему, это действительно обусловлено крайне сильной отрицательной корреляцией между вооруженными выступлениями и образованием, с одной стороны, и слабой общей корреляцией (но сильной криволинейностью) между образованием и невооруженными выступлениями — с другой. Именно поэтому анализируя два типа революционных событий вместе, мы получаем негативную связь между образованием и общими рисками революционных выступлений. Но она значительно слабее корреляции между уровнем охвата населения формальным образованием и рисками *вооруженных* революционных выступлений, так как последняя в высокой степени гасится заметно более слабой, но положительной линейной корреляцией образования с рисками *невооруженных* революций. Следовательно, и наша последняя, шестая гипотеза также подтверждается.

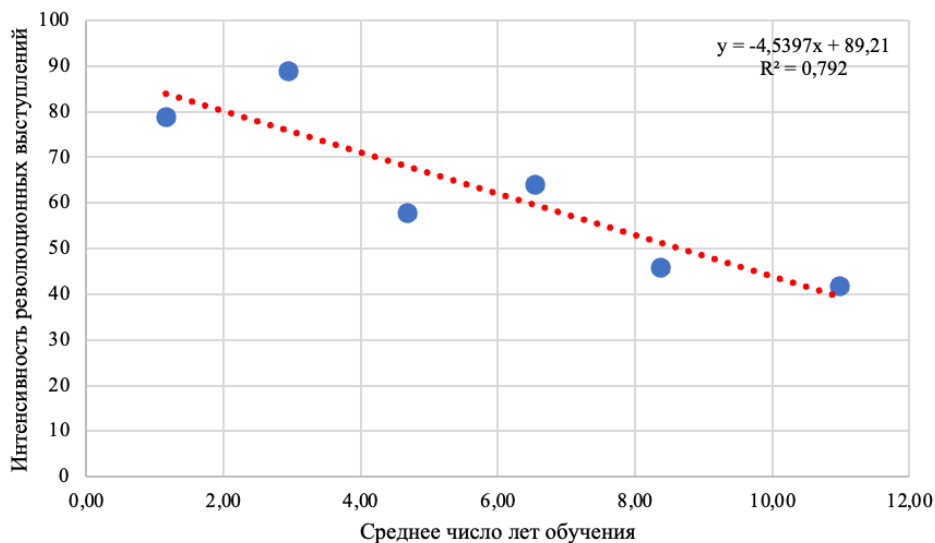


Рисунок 5. Корреляция между средним числом лет обучения по секстилям и числу любых революционных выступлений

Примечание: красная пунктирная линия и верхнее уравнение — прямая линейной регрессии ($p < 0,01$ при двустороннем тесте значимости).

Обсуждение

Проведя анализ революционных выступлений, мы пришли к нескольким важным выводам, часть из которых уже была освещена в литературе, а другая — требует тщательного отдельного изучения.

Во-первых, революционные выступления действительно имеет смысл рассматривать, деля их на вооруженные и невооруженные, потому что они имеют совершенно разную природу и причины, хоть и могут быть объяснены (но по-разному!) одними и теми же факторами (коим в нашем случае было образование). Отсюда вытекает, что помимо такой важной переменной, как образование, стоит обратить внимание и на другие факторы для анализа рисков вооруженных и невооруженных революционных выступлений, которые до этого могли казаться незначимыми.

Во-вторых, невооруженные революционные выступления кажутся наиболее интересными и то же время сложными для понимания процессов в рамках анализа риска их начала. Как было видно из проведенного анализа, именно невооруженные революционные события имеют довольно сложные взаимосвязи, что выразилось в том, что в слабо- и среднеразвитых странах на определенном промежутке наблюдалось снижение рисков невооруженной дестабилизации, после чего

они галопировали вверх. При этом в развитых странах общее снижение рисков завершилось их небольшим подъемом в последней, самой образованной группе стран. С одной стороны, это можно объяснить несовершенством сбора информации и используемой базы данных и сослаться на ожидаемые в таких ситуациях отклонения от действительности. Однако кажется, что дело тут все же кроется в невероятной сложности изучаемых нами процессов, которые требуют объяснения при последующем изучении. Так, небольшой подъем рисков в группе развитых стран может объясняться сильным превалированием ценностей самовыражения над относительно высокими альтернативными издержками, чего не было в менее образованных странах. В то же время снижение рисков невооруженных выступлений в слабо- и среднеразвитых странах в средних группах выборки может быть объяснено тем, что в начальных группах на самом деле основную роль играло не образование, а общая сильная нестабильность, характерная для слаборазвитых стран, что объясняет такой начальный рост на выбранном промежутке. В любом случае, все приведенные в настоящем разделе рассуждения являются догадками и требующими основательной проверки гипотезами.

Заключение

Все наши гипотезы, сформулированные во введении к данной работе, нашли вполне убедительные подтверждения. Во-первых, распространение формального образования действительно сильно отрицательно связано с рисками вооруженных революционных выступлений (H1). Во-вторых, в слабо- и среднеразвитых странах наблюдается сильная и значимая положительная связь между уровнем образования и интенсивностью невооруженных революционных выступлений (H2), но при этом в развитых странах видна обратная зависимость — существует относительно слабая отрицательная связь между уровнем образования и рисками невооруженной революционной нестабильности (H3). Отсюда общая зависимость носит явно выраженный криволинейный характер со смещением в правую, образованную сторону (H4), что обуславливает общую положительную линейную связь между средним числом лет обучения в стране и рисками невооруженной революционной дестабилизации (H5). И наконец, более высокий уровень количественного охвата населения формального образования коррелирует в целом с более низкими рисками революционной дестабилизации (вооруженной и невооруженной вместе взятой) (H6). Также важно подчеркнуть, что среднее число лет обучения в странах на ранних и активных стадиях модернизации оказывает наибольший эффект, в то время как в случае с развитыми странами этот эффект снижается, так что переход из одной группы в другую не дает сильного ингибирующего эффекта на интенсивность вооруженных выступлений.

В заключение важно отметить, что образование хоть и является важным фактором, который влияет как на общие риски революционной дестабилизации, так и на выбор революционных тактик, все же далеко не единственный модерниза-

онный предиктор революционных выступлений. Конечно, есть и другие модернизационные факторы, которые могут оказывать дестабилизирующий или ингибирующий эффект на общество. Нельзя забывать, что такие факторы модернизации, как экономический рост и благосостояние (Коротаев, Васькин, Билюга, 2017; Brancati, 2014; Gaby, Herrold, 2017; Korotayev, Vaskin et al., 2018; Korotayev, Shishkina, 2020), урбанизация (Гринин, Коротаев, 2009; Wallace, 2013; Sanderson, 2015), секуляризация (Розов и др., 2019; Huntington, 1968), индустриализация (Huntington, 1968; Stephens, Reuschmeyer, Stephens, 1992; Butcher, Svensson, 2016; Grinin, 2012, 2022b), распространение независимых СМИ и демократизация (Коротаев, Исаев, Васильев, 2015; Коротаев, Билюга, Шишкина, 2016; Коротаев, Слинко и др., 2016; Chenoweth, 2017) также могут играть важную роль в революционной дестабилизации. Несмотря на то что эти переменные мы не анализировали в своем исследовании, их роль явно значима, поэтому в будущем необходимо уделять им пристальное внимание при анализе рисков возникновения революций.

Требует дополнительного исследования и связь уровня образования и насильственных революционных действий в следующих аспектах:

(а) в модернизирующихся обществах роль армии и силовых структур обычно очень высока. В этих обществах хотя военные могут иметь высокий уровень образования, по своей ментальности они более склонны к насильственным методам, поэтому корреляция между их уровнем образования и насильственными революциями может иметь иной вид, чем в приведенной нами диаграмме, учитывающей количественный охват всего населения формальным образованием;

(б) среди разных типов революций национальные и национально-освободительные¹⁰ хотя и подчиняются общей тенденции, но все же для них эта зависимость (отрицательная корреляция) между уровнем образования и числом насильственных революционных событий может быть слабее, а гражданские войны более реальными даже при высоких уровнях охвата населения формальным образованием (близкие результаты были получены, скажем, применительно к старению населения, которое, как выясняется, оказывает на вооруженные национально-освободительные революции несравненно меньшее ингибирующее влияние, чем на вооруженные революционные выступления иных типов [Cincotta, Weber, 2021]);

(в) следует различать образование, которое получают граждане в светских и демократических обществах, и образование с тоталитарным уклоном (религиозное или сильно идеологизированное). Последний тип образования вполне может уживаться с ментальностью, склонной к насилию в революционных действиях¹¹. В целом мы полагаем, что даже и тоталитарное образование при росте его уровня будет отрицательно коррелировать с числом насильственных революционных событий, но не столь заметно, как уровень чисто светского и независимого

10. О национально-освободительных революциях в XX веке см.: Grinin, 2022.

11. Поэтому неудивительно, что во главе не только террористических действий, но и террористических революций на Ближнем Востоке и в Африке довольно часто стоят весьма образованные люди (см., например: Grinin et al., 2019; Korotayev, Vaskin, Tsirel, 2021).

от идеологии образования (ср.: Østby, Urdal, Dupuy, 2019). Все эти аспекты проанализированной в данной статье исследовательской проблемы требуют, конечно же, дополнительного изучения.

Литература

- Голдстоун Дж.А. (2006). К теории революции четвертого поколения // Логос. Т. 5. С. 58–103.
- Гринин Л. Е. (2017). Русская революция и ловушки модернизации // Полис. Политические исследования. № 4. С. 138–155.
- Гринин Л. Е., Билюга С. Э., Коротаев А. В., Малыженков С. В. (2017). Доля студентов в общей численности населения и социально-политическая дестабилизация. Опыт количественного анализа // Политика: Анализ. Хроника. Прогноз. № 4 (87). С. 35–47.
- Гринин Л. Е., Коротаев А. В. (2009). Урбанизация и политическая нестабильность: к разработке математических моделей политических процессов // Полис. Политические исследования. № 4. С. 34–52.
- Гринин Л. Е., Коротаев А. В. (2020). Методологические пояснения к исследованию революционных событий // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Т. 11. С. 854–861.
- Гринин Л. Е., Коротаев А. В. (2021). Революционные события XXI века и теория революции. Методологические пояснения // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Т. 12. С. 543–567.
- Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Исаев Л. М., Шишкина А. Р. (2014). Введение. Риски дестабилизации в контексте нарастающей неопределенности в «афразийской» зоне // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Т. 5. С. 4–10.
- Джахан С. (2015). Доклад о человеческом развитии 2015: Труд во имя человеческого развития. М.: Программа развития ООН.
- Коротаев А. В., Билюга С. Э., Шишкина А. Р. (2016). ВВП на душу населения, уровень протестной активности и тип режима: опыт количественного анализа // Сравнительная политика. Т. 7. № 4. С. 72–94.
- Коротаев А. В., Билюга С. Э., Шишкина А. Р. (2017а). ВВП на душу населения, интенсивность антиправительственных демонстраций и уровень образования. Кросс-национальный анализ // Политика: Анализ. Хроника. Прогноз. № 1 (84). С. 127–143.
- Коротаев А. В., Билюга С. Э., Шишкина А. Р. (2017б). Экономический рост и социально-политическая дестабилизация: опыт глобального анализа // Полис. Политические исследования. № 2. С. 155–169.
- Коротаев А., Васькин И., Билюга С. (2017). Гипотеза Олсона–Хантингтона о криволинейной зависимости между уровнем экономического развития и социально-политической дестабилизацией: опыт количественного анализа // Социологическое обозрение. Т. 16. № 1. С. 9–49.

- Кортаев А. В., Гринин Л. Е., Медведев И. А., Слав М.* (2022). Типы политических режимов и риски революционной дестабилизации в XXI веке // Социологическое обозрение. Т. 21. № 2. С. 9-65.
- Кортаев А. В., Исаев Л. М., Васильев А. М.* (2015). Количественный анализ революционной волны 2013–2014 гг. // Социологические исследования. № 8. С. 119–127.
- Кортаев А. В., Ликумович Я. Б., Хохлова А. Р.* (2021). Революционные события в Мали (1960–2021 гг.) // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Т. 12. С. 329–370.
- Кортаев А. В., Слинко Е. В., Шульгин С. Г., Билюга С. Э.* (2016). Промежуточные типы политических режимов и социально-политическая нестабильность. Опыт количественного кросс-национального анализа // Политика: Анализ. Хроника. Прогноз. № 3 (82). С. 31–52.
- Кортаев А., Сойер П., Гладышев М., Романов Д., Шишкина А.* (2021). О некоторых социально-демографических факторах интенсивности антиправительственных демонстраций: доля молодежи в населении, урбанизация и протесты // Социологическое обозрение. Т. 20. № 3. С. 98–128.
- Кортаев А. В., Сойер П. С., Гринин Л. Е., Шишкина А. Р., Романов Д. М.* (2020). Социально-экономическое развитие и антиправительственные протесты в свете новых результатов количественного анализа глобальных баз данных // Социологический журнал. Т. 26. № 4. С. 25–41.
- Малков С. Ю., Кортаев А. В., Исаев Л. М., Кузьминова Е. В.* (2013). О методике оценки текущего состояния и прогноза социальной нестабильности: опыт количественного анализа событий «арабской весны» // Полис. Политические исследования. № 4. С. 137–162.
- Розов Н. С., Пустовойт Ю. А., Филиппов С. И., Цыганков В. В.* (2019). Революционные волны в ритмах глобальной модернизации. М.: Красанд/URSS.
- Романов Д. М., Мещерина К. В., Кортаев А. В.* (2021). Доля молодежи в общей численности взрослого населения как фактор интенсивности ненасильственных протестов: опыт количественного анализа // Полис. Политические исследования. № 3. С. 166–181.
- Устюжанин В. В., Гринин Л. Е., Кортаев А. В.* (2021). Революционные события XXI века в африканской макроне нестабильности и некоторых других мир-системных зонах: предварительный количественный анализ // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков: ежегодник. Т. 12. С. 106–144.
- Устюжанин В. В., Гринин Л. Е., Медведев И. А., Кортаев А. В.* (2022). Образование и революции. Почему революционные выступления принимают вооруженную или невооруженную форму? // Политика: Анализ. Хроника. Прогноз. № 1. С. 50–71.
- Шульц Э. Э.* (2016). Теория революции: Революции и современные цивилизации. М.: Ленанд/URSS.
- Abemethy D., Coombe T.* (1965). Education and Politics in Developing Countries // Harvard Educational Review. Vol. 3. P. 134–162.

- Ackerman P., Kruegler C.* (1994). *Strategic Nonviolent Conflict: The Dynamics of People Power in the Twentieth Century*. Westport: Praeger.
- Ang A. U., Dinar S., Lucas R. E.* (2014). Protests by the young and digitally restless: The means, motives, and opportunities of anti-government demonstrations // *Information, Communication & Society*. Vol. 17. № 10. P. 1228–1249.
- Barakat B., Urdal H.* (2009). *Breaking the waves? Does education mediate the relationship between youth bulges and political violence?* Washington, DC: World Bank.
- Barro R. J.* (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries // *The Quarterly Journal of Economics*. Vol. 106. № 2. P. 407–443.
- Barro R. J., Sala-i-Martin X.* (1995). *Economic Growth* // *Journal of Economic Dynamics and Control*. Vol. 21. № 4–5. P. 895–898.
- Barro R. J., Lee J. W.* (1993). International comparisons of educational attainment // *Journal of monetary economics*. Vol. 32. № 3. P. 363–394.
- Barro R. J., Lee J. W.* (2010). *Educational attainment in the world: 1950–2010*. Cambridge, MA: NBER.
- Barro R. J., Lee J. W.* (2011). Barro-Lee educational attainment dataset. URL: <http://barrolee.com>.
- Benos N., Zotou S.* (2014). Education and Economic Growth: A Meta-Regression Analysis // *World Development*. Vol. 64 (C). P. 669–689.
- Besaçon M. L.* (2005). Relative resources: Inequality in ethnic wars, revolutions, and genocides // *Journal of Peace Research*. Vol. 42. № 4. P. 393–415.
- Beissinger M. R.* (2007). Structure and example in modular political phenomena: The diffusion of Bulldozer/Rose/Orange/Tulip revolutions // *Perspectives in Politics*. Vol. 5. № 2. P. 259–276.
- Beissinger M. R.* (2022). *The Revolutionary City*. Princeton: Princeton University Press.
- Butcher C., Svensson I.* (2016). Manufacturing dissent: Modernization and the onset of major nonviolent resistance campaigns // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 60. № 2. P. 311–339.
- Campante F. R., Chor D.* (2012). Schooling, Political Participation, and the Economy // *Review of Economics and Statistics*. Vol. 4. № 94. P. 841–859.
- Chenoweth E., Shay C. W.* (2020). List of Campaigns in NAVCO 1.3. Harvard Database.
- Chenoweth E., Stephan M. J.* (2011) *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict*. New York: Columbia University Press.
- Chenoweth E., Ulfelder J.* (2017). Can structural conditions explain the onset of nonviolent uprisings? // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 61. № 2. P. 298–324.
- Cincotta R., Weber H.* (2021). Youthful Age Structures and the Risks of Revolutionary and Separatist Conflicts // *Goerres A., Vanhuysse P.* (eds.) *Global Political Demography: Comparative Analyses of the Politics of Population Change in All World Regions*. London: Palgrave. P. 57–92.
- Collier P.* (2004). Greed and grievance in civil war // *Oxford Economic Papers*. Vol. 4. № 56. P. 563–595.

- Dahl M., Gates S., Gleditsch K., Gonzalez B.* (2020). Accounting for numbers: Group characteristics and the choice of violent and nonviolent tactics // *Economics of Peace and Security Journal*. Vol. 16. № 1. P. 5–25.
- Dahl R. A., Lindblom C. E.* (2017). *Politics, economics, and welfare*. London: Routledge.
- Dahlum S., Wig T.* (2019). Educating Demonstrators: Education and Mass Protest in Africa // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 63. № 1. P. 3–30.
- Dee T. S.* (2004). Are There Civic Returns to Education? // *Journal of Public Economics*. Vol. 88. № 9. P. 1697–1720.
- Farzanegan M. R., Witthuhn S.* (2017). Corruption and political stability: Does the youth bulge matter? // *European Journal of Political Economy*. Vol. 49. P. 47–70.
- Filin N., Khodunov A., Koklikov V.* (2022). Serbian “Otpor” and the color revolutions’ diffusion // *Goldstone J., Grinin L., Korotayev A.* (eds.) *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change*. Cham: Springer. P. 465–482.
- Freeman R. B.* (2003). *What, Me Vote?* Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Glaeser E. L., Ponzetto G. A., Shleifer A.* (2007). Why does democracy need education? // *Journal of Economic Growth*. Vol. 12. № 2. P. 77–99.
- Gleditsch K. S., Rivera M.* (2017). The diffusion of nonviolent campaigns // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 61. № 5. P. 1120–1145.
- Goldstone J. A.* (1994). Is revolution individually rational? Groups and individuals in revolutionary collective action // *Rationality and Society*. Vol. 6. № 1. P. 139–166.
- Goldstone J. A.* (2001). Toward a fourth generation of revolutionary theory // *Annual Review of Political Science*. Vol. 4. № 1. P. 139–187.
- Goldstone J. A.* (2004). More social movements or fewer? Beyond political opportunity structures to relational fields // *Theory and Society*. Vol. 33. № 3. P. 333–365.
- Goldstone J. A., Bates R. H., Epstein D. L., Gurr T. R., Lustik M. B., Marshall M. G., Ulfelder J., Woodward M.* (2010). A global model for forecasting political instability // *American Journal of Political Science*. Vol. 54. № 1. P. 190–208.
- Goldstone J. A., Grinin L., Korotayev A.* (2022). The Phenomenon and Theories of Revolution // *Goldstone J., Grinin L., Korotayev A.* (eds.) *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change*. Cham: Springer. P. 37–68.
- Grinin L.* (2012). State and socio-political crises in the process of modernization // *Cliodynamics*. Vol. 3. № 1. P. 124–157.
- Grinin L.* (2022a) On revolutionary situations, stages of revolution, and some other aspects of the theory of revolution // *Goldstone J., Grinin L., Korotayev A.* (eds.) *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change*. Cham: Springer. P. 69–104.
- Grinin L.* (2022b). Revolution and Modernization Traps // *Goldstone J., Grinin L., Korotayev A.* (eds.) *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change*. Cham: Springer. P. 219–240.

- Grinin L., Grinin A.* (2022) Revolutionary waves and lines of the 20th century // *Goldstone J., Grinin L., Korotayev A.* (eds.) Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change. Cham: Springer. P. 315–388.
- Grinin L., Korotayev A.* (2022). The Arab Spring: Causes, Conditions, and Driving Forces // *Goldstone J., Grinin L., Korotayev A.* (eds.) Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change. Cham: Springer. P. 595–624.
- Grinin L., Korotayev A., Tausch A.* (2019). Islamism, Arab Spring, and the Future of Democracy. World System and World Values Perspectives. Cham: Springer.
- Gurr T.* (1970). Why Men Rebel. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hall R. L., Rodeghier M., Useem B.* (1986). Effects of Education on Attitude to Protest // *American Sociological Review.* № 51. Pp. 564–573.
- Hegghammer T.* (2013). The recruiter's dilemma // *Journal of Peace Research.* Vol. 50. № 1. P. 3–16.
- Hillygus D.* (2005). The missing link: Exploring the relationship between higher education and political engagement // *Political behavior.* Vol. 27. № 1. P. 25–47.
- Huntington S.* (1996). Political order in changing societies. New Haven: Yale University Press.
- Inglehart R., Welzel C.* (2005). Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Inglehart R., Puranen B., Welzel C.* (2015). Declining willingness to fight for one's country // *Journal of Peace Research.* Vol. 52. № 4. P. 418–434.
- Ivanov E.* (2022). Revolutions in Kyrgyzstan // *Goldstone J., Grinin L., Korotayev A.* (eds.) Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change. Cham: Springer. P. 517–548.
- Kadivar M. A., Ketchley N.* (2018). Sticks, stones, and Molotov cocktails: Unarmed collective violence and democratization // *Socius.* Vol. 4. P. 1–6.
- Korotayev A., Bilyuga S., Shishkina A.* (2018). GDP Per Capita and Protest Activity: A Quantitative Reanalysis // *Cross-Cultural Research.* Vol. 52. № 4. P. 406–440.
- Korotayev A., Grinin L., Bilyuga S., Meshcherina K., Shishkina A.* (2017). Economic development, sociopolitical destabilization and inequality // *Russian Sociological Review.* Vol. 16. № 3. P. 9–35.
- Korotayev A., Issaev L., Malkov S., Shishkina A.* (2013). Developing the methods of estimation and forecasting the Arab Spring // *Central European Journal of International and Security Studies.* Vol. 7. № 4. P. 28–58.
- Korotayev A., Issaev L., Shishkina A.* (2014) The Arab spring: a quantitative analysis // *Arab Studies Quarterly.* Vol. 36. № 2. P. 149–169.
- Korotayev A., Shishkina A.* (2020). Relative Deprivation as a Factor of Sociopolitical Destabilization: Toward a Quantitative Comparative Analysis of the Arab Spring Events // *Cross-Cultural Research.* Vol. 54. № 2–3. P. 296–318.

- Korotayev A., Sawyer P., Romanov D.* (2021). Socio-Economic Development and Protests. A Quantitative Reanalysis // *Comparative Sociology*. Vol. 20. № 2. P. 195–222.
- Korotayev A., Vaskin I., Bilyuga S., Ilyin I.* (2018). Economic Development and Socio-political Destabilization: A Re-Analysis // *Cliodynamics: The Journal of Quantitative History and Cultural Evolution*. Vol. 9. № 1. P. 59–118.
- Korotayev A., Vaskin I., Tsirel S.* (2021). Economic Growth, Education, and Terrorism: A Re-Analysis // *Terrorism and Political Violence*. Vol. 33. № 3. P. 572–595.
- Korotayev A., Zinkina J.* (2022). Egypt's 2011 Revolution. A Demographic Structural Analysis // *Goldstone J., Grinin L., Korotayev A.* (eds.) *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change*. Cham: Springer. P. 651–683.
- Kuran, T.* (1991). Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989 // *World Politics*. Vol. 44. № 1. P. 7–48.
- Lawson G.* (2019) *Anatomies of Revolution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lipset S. M.* (1959) *Democracy and Working-Class Authoritarianism* // *American Sociological Review*. Vol. 24. № 4. P. 482–501.
- McClurg S. D.* (2003). Social networks and political participation: The role of social interaction in explaining political participation // *Political Research Quarterly*. Vol. 56. № 4. P. 449–464.
- Murtin F., Wacziarg R.* (2014). The democratic transition // *Journal of Economic Growth*. Vol. 19. № 2. P. 141–181.
- Mitchell L. A.* (2022). The “color” revolutions. Successes and limitations of non-violent protest // *Goldstone J., Grinin L., Korotayev A.* (eds.) *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change*. Cham: Springer. P. 435–446.
- Newton K.* (1997). Social capital and democracy // *American Behavioral Scientist*. Vol. 40. № 5. P. 575–586.
- Østby G., Urdal H., Dupuy K.* (2019). Does education lead to pacification? A systematic review of statistical studies on education and political violence // *Review of Educational Research*. Vol. 89. № 1. P. 46–92.
- Pinker S.* (2011). *The better angels of our nature: The decline of violence in history and its causes*. London: Penguin.
- Romanov D. M., Korotayev A. V.* (2019). Non-Violent, but Still Dangerous: Testing the Link Between Youth Bulges and the Intensity of Nonviolent Protests. Moscow: HSU University (HSU University Research Paper # 69).
- Sanderson S. K.* (2015). *Revolutions: A worldwide introduction to political and social change*. London: Routledge.
- Sawyer P. S., Korotayev A. V.* (2022). Formal Education and Contentious Politics: The Case of Violent and Non-Violent Protest // *Political Studies Review*. DOI: 10.1177/1478929921998210
- Sawyer P., Romanov D., Slav M., Korotaev A.* (2021). Urbanization, the Youth, and Protest: A Cross-National Analysis // *Cross-Cultural Research*. Vol. 56. № 2–3. P. 125–149.

- Smart A., Smart J.* (2003). Urbanization and the global perspective // Annual Review of Anthropology. Vol. 32. № 1. P. 263–285.
- Tarrow S.* (1994). Social movements in Europe: movement society or Europeanization of conflict? Florence: EUI (EUI Working Paper # 94/8).
- Thyne C.L.* (2006). ABC's, 123's, and the golden rule: The pacifying effect of education on civil war, 1980–1999 // International Studies Quarterly. Vol. 50. № 4. P. 733–754.
- UNDP: *Human Development Reports*. (2020) UNDP. URL: <http://hdr.undp.org/en/indicators/103006>.
- Urdal H., Hoelscher K.* (2012). Explaining urban social disorder and violence: An empirical study of event data from Asian and sub-Saharan African cities // International Interactions. Vol. 38. №4. P. 512–528.
- Welzel C.* (2013). Freedom Rising: Human Empowerment and the Quest for Emancipation. Cambridge: Cambridge University Press.

Education and Revolutionary Destabilization Risks: A Quantitative Analysis

Vadim Ustyuzhanin

Research intern of the Center for Stability and Risks Analysis of HSE University.
Address: 20 Myasnitskaya, Moscow 101000, Russia.
E-mail: vvustiuzhanin@yandex.ru

Yana Stepanishcheva

Research intern of the Center for Stability and Risks Analysis of HSE University.
Address: 20 Myasnitskaya, Moscow 101000, Russia.
E-mail: Yanastepanishcheva@gmail.com

Albina Gallyamova

Research intern of the Centre for Sociocultural Research of HSE University.
Address: 20 Myasnitskaya, Moscow 101000, Russia.
E-mail: aagallyamova@hse.ru

Leonid Grinin

Doctor of Philosophy; Senior Researcher of the Center for Stability and Risks Analysis of HSE University; Senior Researcher at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences.
Address: 20 Myasnitskaya, Moscow 101000, Russia.
E-mail: leonid.grinin@gmail.com

Andrey Korotayev

Doctor of Historical Sciences, Ph.D., Professor, Director of the Center for Stability and Risks Analysis of HSE University; Senior Research Professor at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences.
Address: 20 Myasnitskaya, Moscow 101000, Russia.
E-mail: akorotayev@gmail.com

There is a significant number of theoretical studies linking education and socio-political destabilization. At the same time, there is an almost complete absence of global quantitative cross-national studies analyzing the impact of education on the risks of revolutionary uprisings. This research is aimed to fill the existing gap.

The existing literature shows that education contributes to the accumulation of human capital, develops a culture of discussion and tolerance, and makes people more susceptible to liberal democratic values. On the one hand, these factors raise the population's expectations of and demands on the authorities. On the other hand, they increase the relative costs of participating in any type of demonstrations. In this regard, it is hypothesized that formal education enrollment: (1) will reduce the likelihood of armed revolutionary campaigns, which are associated with greater risks and uncertainty for participants, but (2) will be curvilinearly correlated to the risks of unarmed campaigns, since in the early and active stages of modernization there will be a positive relationship, while in the most developed countries it will be negative. Accordingly, it follows that education in general is negatively associated with any revolutionary actions.

The analysis uses 10,350 observations (with 387 revolutionary events) from 1950 to 2019, based on extended-release NAVCO data and a combination of the Barro and Lee Education Research Project with information from the UNDP (with cross-validation on the basis of the authors' own database). The main research methods were cross-tabulation and correlation-regression analyses with the construction of probability functions.

Keywords: education, human capital, revolution, maximalist campaigns, destabilization, armed revolutions, unarmed revolutions

References

- Abemethy D., Coombe T. (1965) Education and Politics in Developing Countries. *Harvard Educational Review*, vol. 3, pp. 134–162.
- Ackerman P., Kruegler C. (1994) *Strategic Nonviolent Conflict: The Dynamics of People Power in the Twentieth Century*, Westport: Praeger.
- Ang A. U., Dinar S., Lucas R. E. (2014) Protests by the young and digitally restless: The means, motives, and opportunities of anti-government demonstrations. *Information, Communication & Society*, vol. 17, no 10, pp. 1228–1249.
- Barakat B., Urdal H. (2009). *Breaking the waves? Does education mediate the relationship between youth bulges and political violence?* Washington, DC: World Bank.
- Barro R. J. (1991) Economic Growth in a Cross Section of Countries. *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 106, no 2, pp. 407–443.
- Barro R. J., Lee J. W. (1993) International comparisons of educational attainment. *Journal of Monetary Economics*, vol. 32, no 3, pp. 363–394.
- Barro R. J., Lee J. W. (2010) *Educational attainment in the world: 1950–2010*, Cambridge, MA: NBER.
- Barro R. J., Lee J. W. (2011) Barro-Lee educational attainment dataset. Available at: BarroLee.com.
- Barro R. J., Sala-i-Martin X. (1995) *Economic Growth*, New York: McGraw Hill.
- Benos N., Zotou S. (2014) Education and Economic Growth: A Meta-Regression Analysis. *World Development*, vol. 64 (C), pp. 669–689.
- Besançon M. L. (2005) Relative resources: Inequality in ethnic wars, revolutions, and genocides. *Journal of Peace Research*, vol. 42, no 4, pp. 393–415.
- Bessinger M. (2022). *The Revolutionary City*, Princeton: Princeton University Press.
- Butcher C., Svensson I. (2016) Manufacturing dissent: Modernization and the onset of major nonviolent resistance campaigns. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 60, no 2, pp. 311–339.
- Campante F. R., Chor D. (2012) Schooling, Political Participation, and the Economy. *Review of Economics and Statistics*, vol. 94, no 4, pp. 841–859.
- Chenoweth E., Stephan M. J. (2011) *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict*, New York: Columbia University Press.
- Chenoweth E., Ulfelder J. (2017) Can structural conditions explain the onset of nonviolent uprisings?. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 61, no 2, pp. 298–324.

- Chenoweth E., Shay C. W. (2020) List of Campaigns in NAVCO 1.3. Harvard Dataverse.
- Cincotta R., Weber H. (2021) Youthful Age Structures and the Risks of Revolutionary and Separatist Conflicts. *Global Political Demography: Comparative Analyses of the Politics of Population Change in All World Regions* (eds. A. Goerres, P. Vanhuysse), London: Palgrave, pp. 57–92.
- Collier P. (2004) Greed and grievance in civil war. *Oxford Economic Papers*, vol. 4, no 56, pp. 563–595.
- Dahl M., Gates S., Gleditsch K., Gonzalez B. (2020) Accounting for numbers: Group characteristics and the choice of violent and nonviolent tactics. *Economics of Peace and Security Journal*, vol. 16, no 1, pp. 5–25.
- Dahl R. A., Lindblom C. E. (2017) *Politics, economics, and welfare*, New York: Routledge.
- Dahlum S., Wig T. (2019) Educating Demonstrators: Education and Mass Protest in Africa. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 63, no 1, pp. 3–30.
- Dee T. S. (2004) Are There Civic Returns to Education? *Journal of Public Economics*, vol. 9, no 88, pp. 1697–1720.
- Dzhahan S. (2015) Doklad o chelovecheskom razvitii 2015: Trud vo imja chelovecheskogo razvitija. [Human Development Report 2015: Working for Human Development.], Moscow: Programma razvitija OON.
- Farzanegan M. R., Witthuhn S. (2017) Corruption and political stability: Does the youth bulge matter? *European Journal of Political Economy*, vol. 49, pp. 47–70.
- Filin N., Khodunov A., Koklikov V. (2022) Serbian “Otpor” and the color revolutions’ diffusion. *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change* (eds. J. Goldstone, L. Grinin, A. Korotayev), Cham: Springer, pp. 465–482.
- Freeman R. B. (2003) *What, Me Vote?* Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Glaeser E. L., Ponzetto G. A., Shleifer A. (2007) Why does democracy need education?. *Journal of Economic Growth*, vol. 12, no 2, pp. 77–99.
- Gleditsch K. S., Rivera M. (2017) The diffusion of nonviolent campaigns. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 61, no 5, pp. 1120–1145.
- Goldstone J. A. (1994) Is revolution individually rational? Groups and individuals in revolutionary collective action. *Rationality and Society*, vol. 6, no 1, pp. 139–166.
- Goldstone J. A. (2001) Toward a fourth generation of revolutionary theory. *Annual review of political science*, vol. 4, no 1, pp. 139–187.
- Goldstone J. A. (2004) More social movements or fewer? Beyond political opportunity structures to relational fields. *Theory and society*, vol. 33, no 3, pp. 333–365.
- Goldstone J. A., Bates R. H., Epstein D. L., Gurr T. R., Lustik M. B., Marshall M. G., Ulfelder J., Woodward M. (2010) A global model for forecasting political instability. *American Journal of Political Science*, vol. 54, no 1, pp. 190–208.
- Goldstone J., Grinin L., Korotayev A. (2022) The Phenomenon and Theories of Revolutions. *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change* (eds. J. Goldstone, L. Grinin, A. Korotayev), Cham: Springer, pp. 37–68.
- Grinin L. (2012) State and socio-political crises in the process of modernization. *Cliodynamics*, vol. 3, no 1, pp. 124–157.
- Grinin L. (2017) Russkaya revolyutsiya i lovushki modernizatsii [The Russian Revolution and the pitfalls of Modernization]. *Polis. Politicheskiye is-sledovaniya*, no 4, pp. 138–155.
- Grinin L. (2022a) On revolutionary situations, stages of revolution, and some other aspects of the theory of revolution. *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change* (eds. J. Goldstone, L. Grinin, A. Korotayev), Cham: Springer, pp. 69–104.
- Grinin L. (2022b) Revolution and Modernization Traps. *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change* (eds. J. Goldstone, L. Grinin, A. Korotayev), Cham: Springer, pp. 219–240.
- Grinin L., Grinin A. (2022) Revolutionary waves and lines of the 20th century. *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of*

- Disruptive Political Change* (eds. J. Goldstone, L. Grinin, A. Korotayev), Cham: Springer, pp. 315–388.
- Grinin L., Bilyuga S., Korotayev A., Malyzhenkov S. (2017) Share of Students in Total Population and Socio-Political Destabilization (Quantitative Analysis). *Politeia-Journal of Political Theory, Political Philosophy, and Sociology of Politics*, no 4 (87), pp. 35–47.
- Grinin L.Y., Korotayev A.V. (2009) Urbanizatsiya i politicheskaya nestabil'nost': k razrabotke matematicheskikh modeley politicheskikh protsessov [Urbanization and Political Instability: to the Development of Mathematical Models of Political Processes]. *Polis-Politicheskiye Issledovaniya*, no 4, pp. 34–52.
- Grinin L.E., Korotayev A.V. (2020) Metodologicheskie poyasneniya k issledovaniyu revolyutsionnykh sobytiy [Methodological explanations to the study of revolutionary events]. *Sistemnyi monitoring globalnykh i regionalnykh riskov*, vol. 11, pp. 854–861.
- Grinin L.E., Korotayev A.V. (2021). Revolyutsionnyye sobyitiya XXI veka i teoriya re-volyutsii. Metodologicheskiye poyasneniya [Revolutionary events of the XXI century and the theory of revolution. Methodological explanations]. *Sistemnyi monitoring globalnykh i regionalnykh riskov*, vol. 12, pp. 543–567.
- Grinin L., Korotayev A. (2022). The Arab Spring: Causes, Conditions, and Driving Forces. *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change* (eds. J. Goldstone, L. Grinin, A. Korotayev), Cham: Springer, pp. 595–624.
- Grinin L.E., Korotayev A.V., Issaev L.M., Shishkina A.R. (2014) Vvedenie. Riski destabilizatsii v kontekste narastajushhej neopredelennosti v "afrazijskoj" zone. [Introduction. Risks of destabilization in the context of growing uncertainty in the "African" zone.] *Sistemnyi monitoring globalnykh i regionalnykh riskov*, vol. 5, pp. 4–10.
- Grinin L., Korotayev A., Tausch A. (2019) *Islamism, Arab Spring, and the Future of Democracy. World System and World Values Perspectives*, Cham: Springer.
- Gurr T. (1970) *Why Men Rebel*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hall R.L., Rodeghier M., Useem B. (1986) Effects of Education on Attitude to Protest. *American Sociological Review*, vol. 51, pp. 564–573.
- Hegghammer T. (2013) The recruiter's dilemma. *Journal of Peace Research*, vol. 50, no 1, pp. 3–16.
- Hillygus D. (2005) The missing link: Exploring the relationship between higher education and political engagement. *Political behavior*, vol. 27, no 1, pp. 25–47.
- Huntington S. (1968) *Political order in changing societies*, New Haven: Yale University Press.
- Inglehart R., Welzel C. (2005) *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*, Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Inglehart R., Puranen B., Welzel C. (2015) Declining willingness to fight for one's country. *Journal of Peace Research*, vol. 4, no 52, pp. 418–434.
- Ivanov E. (2022). Revolutions in Kyrgyzstan. *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change* (eds. J. Goldstone, L. Grinin, A. Korotayev), Cham: Springer, pp. 517–548.
- Kadivar M.A., Ketchley N. (2018) Sticks, stones, and Molotov cocktails: Unarmed collective violence and democratization. *Socius*, vol. 4, pp. 1–6.
- Korotayev A., Grinin L., Bilyuga S., Meshcherina K., Shishkina A. (2017) Economic development, sociopolitical destabilization and inequality. *Russian Sociological Review*, vol. 16, no 3, pp. 9–35.
- Korotayev A.V., Bilyuga S.E., Shishkina A.R. (2016) VVP na dushu naseleniya, uroven' protestnoy aktivnosti i tip rezhima: opyt kolichestvennogo analiza [GDP per Capita, Protest Intensity and Regime Type: A Quantitative Analysis]. *Sravnitel'naya Politika-Comparative Politics*, vol. 7, no 4, pp. 72–94.
- Korotayev A., Bilyuga S., Shishkina A. (2017a) GDP per capita, intensity of anti-government demonstrations and level of education. Cross-national analysis. *Politeia-Journal of Political Theory, Political Philosophy, and Sociology of Politics*, no. 1 (84), pp. 127–143.
- Korotayev A.V., Bilyuga S.E., Shishkina A.R. (2017b) Ekonomicheskij rost i sotsial'no-politicheskaya destabilizatsiya: opyt global'nogo analiza [Correlation between GDP Per Capita and Protest Intensity: A Quantitative Analysis]. *Polis-Politicheskiye Issledovaniya*, no 2, pp. 155–169.

- Korotayev A., Bilyuga S., Shishkina A. (2018) GDP Per Capita and Protest Activity: A Quantitative Reanalysis. *Cross-Cultural Research*, vol. 52, no 4, pp. 406–440.
- Korotayev A., Grinin L., Medvedev I., Slav M. (2022) Tipy politicheskikh rezhimov i riski revolyucionnoy destabilizatsii v XXI veke [Political Regime Types and Revolutionary Destabilization Risks in the Twenty-First Century]. *Russian Sociological Review*, vol. 21, no 2, pp. 9–65.
- Korotayev A., Issaev L., Malkov S., Shishkina A. (2013) Developing the methods of estimation and forecasting the Arab Spring. *Central European Journal of International and Security Studies*, vol. 7, no 4, pp. 28–58.
- Korotayev A., Issaev L., Shishkina A. (2014) The Arab spring: a quantitative analysis. *Arab Studies Quarterly*, vol. 36, no 2, pp. 149–169.
- Korotayev A., Issaev L., Vasilev A. (2015) Kolichestvennyy analiz revolyutsionnoy volny 2013–2014 gg. [Quantitative analysis of 2013–2014 revolutionary wave]. *Sotsiologicheskije Issledovaniya*, no 8, pp. 119–127.
- Korotayev A. V., Liokumovich J. B., Khokhlova A. R. (2021) Revoljucionnye sobytija v Mali (1960–2021 gg.). [Revolutionary events in Mali (1960–2021)]. *Sistemnyi monitoring globalnyh i regionalnyh riskov*, vol. 12, pp. 329–370.
- Korotayev, A., Sawyer P., Gladyshev M., Romanov D., Shishkina A. (2021) O nekotorykh social'no-demograficheskikh faktorah intensivnosti antipravitel'stvennykh demonstratsij: dolya molodezhi v naselenii, urbanizatsiya i protesty [Some Sociodemographic Factors of the Intensity of Anti-Government Demonstrations: Youth Bulges, Urbanization, and Protests]. *Russian Sociological Review*, vol. 20, no 3, pp. 98–128.
- Korotayev A. V., Sawyer P. S., Grinin L. E., Romanov D. M., Shishkina A. R. (2020) Socio-economic Development and Anti-government Protests in Light of a New Quantitative Analysis of Global Databases. *Sotsiologicheskij Zhurnal*, vol. 26, no 4, pp. 61–78.
- Korotayev A., Sawyer P., Romanov D. (2021). Socio-Economic Development and Protests. A Quantitative Reanalysis. *Comparative Sociology*, vol. 20, no 2, pp. 195–222.
- Korotayev A., Shishkina A. (2020) Relative Deprivation as a Factor of Sociopolitical Destabilization: Toward a Quantitative Comparative Analysis of the Arab Spring Events. *Cross-Cultural Research*, vol. 54, no 2–3, pp. 296–318.
- Korotayev A., Slinko E., Shulgin S., Biluga S. (2016) Promezhutochnyye tipy politicheskikh rezhimov i sotsial'no-politicheskaya nestabil'nost'. Opyt kolichestvennogo kross-natsional'nogo analiza [Intermediate Types of Political Regimes and Socio-Political Instability (Quantitative Cross-National Analysis)]. *Politeia-Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics*, no 3, pp. 31–51.
- Korotayev A., Vaskin I., Bilyuga S. (2017) Gipoteza Olsona — Huntingtona o krivolineynoy zavisimosti mezhdou urovnem ekonomicheskogo razvitiya i sotsial'no-politicheskoy destabilizatsiyey: opyt kolichestvennogo analiza [Olson-Huntington Hypothesis on a Bell-Shaped Relationship Between the Level of Economic Development and Sociopolitical Destabilization: A Quantitative Analysis]. *Russian Sociological Review*, vol. 16, no 1, pp. 9–49.
- Korotayev A., Vaskin I., Bilyuga S., Ilyin I. (2018) Economic Development and Sociopolitical Destabilization: A Re-Analysis. *Cliodynamics: The Journal of Quantitative History and Cultural Evolution*, vol. 9, no 1, pp. 59–118.
- Korotayev A., Vaskin I., Tsirel S. (2021) Economic Growth, Education, and Terrorism: A Re-Analysis. *Terrorism and Political Violence*, vol. 33, no 3, pp. 572–595.
- Korotayev A., Zinkina J. (2022) Egypt's 2011 Revolution. A Demographic Structural Analysis. *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change* (eds. J. Goldstone, L. Grinin, A. Korotayev), Cham: Springer, pp. 651–683.
- Kuran T. (1991) Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989. *World Politics*, vol. 44, no 1, pp. 7–48.
- Lawson G. (2019) *Anatomies of Revolution*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Lipset S. M. (1959) Democracy and Working-Class Authoritarianism. *American Sociological Review*, vol. 24, no 4, pp. 482–501.
- Malkov S. Y., Korotayev A. V., Isayev L. M., Kuzminova Y. V. (2013) O metodike otsenki tekushchego sostoyaniya i prognoza sotsial'noy nestabil'nosti: opyt kolichestvennogo analiza sobyitiy

- Arabskoy vesny [On Methods of Estimating Current Condition and of Forecasting Social Instability: Attempted Quantitative Analysis of the Events of the Arab Spring]. *Polis-Politicheskiye Issledovaniya*, no 4, pp. 137–162.
- McClurg S. D. (2003) Social networks and political participation: The role of social interaction in explaining political participation. *Political Research Quarterly*, vol. 56, no 4, pp. 449–464.
- Mitchell L. A. (2022) The “color” revolutions. Successes and limitations of non-violent protest. *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change* (eds. J. Goldstone, L. Grinin, A. Korotayev), Cham: Springer, pp. 435–446.
- Murtin F., Wacziarg R. (2014) The democratic transition. *Journal of Economic Growth*, vol. 19, no 2, pp. 141–181.
- Newton K. (1997) Social capital and democracy. *American behavioral scientist*, vol. 40, no 5, pp. 575–586.
- Østby G., Urdal H., Dupuy K. (2019) Does education lead to pacification? A systematic review of statistical studies on education and political violence. *Review of Educational Research*, vol. 89, no 1, pp. 46–92.
- Pinker S. (2011) *The better angels of our nature: The decline of violence in history and its causes*, London: Penguin.
- Romanov D. M., Meshcherina K. V., Korotaev A. V. (2021) Dolya molodezhi v obshchej chislennosti vzroslogo naseleniya kak faktor intensivnosti nenasil'stvennykh protestov: opyt kolichestvennogo analiza [The Share of Youth in the Total Population as a Factor of Intensity of Non-Violent Protests: A Quantitative Analysis]. *Polis (Russian Federation)*, no 3, pp. 166–181.
- Rozov N. S., Pustovoit Yu. A., Filippov S. I., Tsygankov V. V. (2019) *Revoljutsionnye volny v ritmakh global'noi modernizatsii* [Revolutionary Waves in the Rhythms of Global Modernization], Moscow: Krasand/URSS. (In Russ.)
- Sanderson S. K. (2015) *Revolutions: A worldwide introduction to political and social change*, London: Routledge.
- Sawyer P. S., Korotayev A. V. (2022) Formal Education and Contentious Politics: The Case of Violent and Non-Violent Protest. *Political Studies Review*. DOI: 10.1177/1478929921998210
- Sawyer P., Romanov D., Slav M., Korotaev A. (2021) Urbanization, the Youth, and Protest: A Cross-National Analysis. *Cross-Cultural Research*, vol. 56, no 2–3, pp. 125–149.
- Shults E. E. (2016) *Teoriya revolyutsii: Revolyutsii i sovremennye tsivilizatsii* [Theory of Revolution. Revolutions and Modern Civilizations], Moscow: Lenand/URSS. (In Russ.)
- Smart A., Smart J. (2003) Urbanization and the global perspective. *Annual Review of Anthropology*, vol. 32, no 1, pp. 263–285.
- Tarrow S. (1994) *Social movements in Europe: movement society or Europeanization of conflict?* Florence: European University Institute.
- Thyne C. L. (2006) ABC's, 123's, and the golden rule: The pacifying effect of education on civil war, 1980–1999. *International Studies Quarterly*, vol. 50, no 4, pp. 733–754.
- UNDP: Human Development Reports. (2020) UNDP. Available at: <http://hdr.undp.org/en/indicators/103006>.
- Urdal H., Hoelscher K. (2012) Explaining urban social disorder and violence: An empirical study of event data from Asian and sub-Saharan African cities. *International Interactions*, vol. 38, no 4, pp. 512–528.
- Ustyuzhanin V. V., Grinin L. E., Korotayev A. V. (2021). Revolyutsionnyye sobytiya XXI veka v afraziyskoy makrozone nestabil'nosti i nekotorykh drugikh mir-sistemnykh zo-nakh: predvaritel'nyy kolichestvennyy analiz [Revolutionary Events of the 21st Century in the Afrasian Macrozone of Instability and Some Other World-System Zones: A Preliminary Quantitative Analysis]. *Sistemnyi monitoring globalnyh i regionalnyh riskov*, vol. 12, pp. 106–144.
- Ustyuzhanin V. V., Grinin L. E., Medvedev I. A., Korotayev A. V. (2022). Obrazovanie i revoljucii. Pochemu revoljucionnye vystupleniya primajut vooruzhennuju ili nevooruzhennuju formu? [Education And Revolutions. Why Do Some Revolutions Take up Arms While Others Do Not?] *Politeia-Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics*, no 1 (104), pp. 50–71.
- Welzel C. (2013) *Freedom rising*, Cambridge: Cambridge University Press.

Бессмысленный труд, бредовая работа и организационный абсурд: новые направления для институциональной теории¹

Дарья Никитина

Магистр, факультет социологии, Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге»

Адрес: Тагаринская ул., д. 6/1 лит А, Санкт-Петербург, 191187

E-mail: Nikitina.daria2@gmail.com

Данная статья посвящена синтезу двух направлений в исследованиях организаций: институциональной теории и исследованиям бессмысленного труда. Институциональная теория одной из первых обратила свое внимание на непоследовательные и неэффективные действия, совершаемые внутри организации, предложив концептуальный аппарат для их анализа. Подобные явления, согласно институциональной точке зрения, в реальности все же выполняли определенную функцию. Они позволяли организациям подстраиваться под требования институциональной среды. Однако со временем корпоративная реальность все больше наполнялась трудом, который стал казаться бессмысленным и бесполезным даже тем, кто им занимался, и институционализм утратил свою объяснительную силу. Формировавшаяся практически параллельно область исследований бессмысленного труда анализировала подобные тенденции распространения глупости, бреда и абсурда в современных организациях на альтернативных теоретических основаниях. В настоящей работе я описываю аспекты, которые институциональная теория может позаимствовать из поля исследований бессмысленного труда: внимание к субъективной неудовлетворенности и намеренное уклонение организаций от полноценного соответствия каким-либо институциональным правилам.

Ключевые слова: организации, институционализм, институциональная теория, бессмысленный труд, бредовая работа, организационная глупость

На сегодняшний день теоретическая рамка институционализма продолжает удерживать лидирующие позиции в поле исследований организаций (Powell, Bromley, 2015: 764). Однако трансформации рабочих отношений бросают институциональной теории новые вызовы. Одним из таких вызовов является рост труда, субъективно оцениваемого как бессмысленный и бесполезный. В настоящей статье я опишу: 1) какой вклад внесла институциональная теория в понимание на первый взгляд неэффективных организационных решений, 2) как тенденции, описанные теоретиками институционализма, гипертрофировались за последние 40 лет и нашли новое прочтение в области исследований бессмысленного труда, и, наконец, 3) какие ограничения и противоречия рост бессмысленного труда вскрывает в самом теоретическом поле институционализма. В последнем разделе я сопоставлю содержание классической статьи Дж. Мейера и Б. Роуэна о церемониале в организациях (Meyer, Rowan, 1977) и книги «Бредования работа: Трактат о распростране-

1. Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

нии бессмысленного труда» Дэвида Гребера (Гребер, 2021). С помощью параллелей и несоответствий, выделенных мною в данных работах, я проиллюстрирую мысль о том, что для лучшего объяснения трансформаций, происходящих в организациях и рабочем процессе, институционализм должен обратить внимание на то, что можно назвать организационной глупостью, бредом и абсурдом.

Организационный институционализм и «неэффективные» решения

Развитие институциональной теории² объединило под своим началом исследователей, разделяющих важность анализа более широких культурных сценариев и их влияния на жизнь организаций (Powell, Bromley, 2015: 764). Первые и ставшие классическими работы об институционализации (Zucker, 1977), церемониальности организационного поведения (Meyer, Rowan, 1977; Meyer, Rowan, 1983) и стремлении к легитимности через подражание другим организациям (DiMaggio, Powell, 1983) на долгие годы определили основные направления в исследованиях организационного институционализма. Связующим сюжетом в них выступал отход от представления об организациях как объединениях, чья деятельность обуславливается только соображениями производственной эффективности. Еще Филип Селзник отмечал, что ключевым аспектом институционализации является наполнение организации ценностями, выходящими за рамки технических требований выполняемых задач (Selznick, 1957: 17). В данном случае привносимые в организацию ценности являются частью институтов — масштабных структур, формирующих поведение организации и входящих в нее сотрудников. На протяжении развития институциональной теории институты концептуализировались различными способами. Я остановлюсь на определении, разработанном Уильямом Ричардом Скоттом, согласно которому «институты включают в себя регулятивные, нормативные и культурно-когнитивные элементы, которые вместе с соответствующей деятельностью и ресурсами обеспечивают стабильность и смысл социальной жизни» (Scott, 2014: 56). Регулятивные элементы представляют собой установленные правила, зачастую закреплённые юридически или административно, а также инстанции, которые санкционируют определенное поведение и обеспечивают соблюдение этих правил. Нормативные элементы включают в себя ценности и нормы, то есть представления о предпочтительном и желаемом, а также легитимные способы достижения подобного состояния. Наконец, культурно-когнитивные элементы отсылают к само собой разумеющемуся знанию и разделяемым концепциям, которые придают значение социальной реальности и задают рамки для ее восприятия индивидами. Таким образом, поведение организации и ее чле-

2. В различных источниках при описании данного теоретического направления встречаются термины «институционализм» и «неоинституционализм», а также «неоинституциональная теория», разделяющие поле институциональных исследований организаций на первую (1950–1960-е годы) и вторую (1970–1980-е годы и далее) волны. В данной статье я буду использовать их взаимозаменяемо, включая в литературный обзор работы, посвященные как институционализму, так и неоинституционализму.

нов конституируется сразу на нескольких уровнях: организации нужно не только увеличить прибыль или выполнить намеченные показатели, но и сделать это социально-одобряемыми способами, соответствовать представлениям коллег и клиентов, формировать для себя определенную идентичность и т. д. К примеру, развитие и поддержание системы HR-менеджмента в компаниях, где она демонстрирует множественные сбои и низкую эффективность, можно объяснить тем фактом, что именно HR-менеджмент создает у сотрудников желаемый образ организации и самих себя (Alvesson, Kärreman, 2007).

Данная идея и различные ее эмпирические проявления помогли объяснить все то многообразие организационных феноменов, которые казались неоправданными или неуместными с точки зрения рациональности и рыночной конкуренции. Закономерно, что в глазах исследователей институционализма организации перестали быть связаны со структурой и дисциплиной, а, напротив, стали скорее напоминать слабо структурированные образования или даже организованные анархии (Selznick, 1996: 275). В настоящей статье я приведу в пример два понятия, отражающих идею непоследовательности в институциональных исследованиях организаций: ограниченной рациональности (*bounded rationality*) и расцепления (*decoupling*). Сформированная в экономике (March, Simon, 1958), концепция ограниченной рациональности оказала значимое влияние и на социологическую институциональную теорию. Согласно ей, в преследовании своих целей акторы в первую очередь ограничены имеющимся у них знанием и своими когнитивными способностями. Во-вторых, действия и выводы, которые они считают рациональными, будут в не меньшей степени зависеть от существующих правил, законов и принятых норм, то есть регулятивных и нормативных институциональных элементов. В-третьих, зачастую (хоть и не обязательно успешно) институциональное влияние будет подталкивать индивидов преследовать цели, направленные на коллективное благо (Ingram, Clay, 2000: 526). Таким образом, в условиях ограниченной и даже множественной рациональности субъект становится неотделим от обстоятельств, действующих на него ограничений и коллективных целей. Организационные исследования, отталкивающиеся от понятия ограниченной рациональности, позволили понять, как в реальности принимаются решения внутри и по отношению к организациям: разными авторами были предложены модели того, как аудитория оценивает легитимность, репутацию и статус компаний (Bitektine, 2011), как совет директоров утверждает претендента на должность исполнительного директора (Sebora, Kesner, 1996), и того, почему дочерние компании придерживаются разных стратегий действий в отношении своих штаб-квартир (Kostova, Nell, Hoenen, 2018).

Увидеть схожие паттерны непоследовательности на уровне организационной структуры позволяет понятие расцепления (*decoupling*), введенное Мейером и Роуэном (Meyer, Rowan, 1977: 356-357). В ходе своей деятельности организации вынуждены приспосабливаться к рационализированным институциональным правилам (мифам), утверждающим, какой должна быть организация и какими средствами она должна стремиться к определенным целям. Соответствие подоб-

ным представлениям способно повысить легитимность организации, то есть оправдать ее существование в глазах окружающих, благодаря чему в дальнейшем организация может пользоваться большим уважением и быть более успешной в своей области (Ibid.: 341). Однако различные институциональные правила, во-первых, могут быть неэффективны в контексте лежащих перед организацией задач, а во-вторых, конкурировать между собой, представляя несовместимые идеи. Таким образом, по мнению Мейера и Роуэна, институциональное давление приводит к тому, что организационная структура становится расцепленной: подразделения, выполняющие реальные производственные задачи, скрываются от глаз посторонних и работают за спиной тех подразделений, которые выполняют функции институционального соответствия (Ibid.: 357). При этом институциональные требования могут не соблюдаться в реальности, но будет присутствовать видимость формального соответствия этим правилам. По этой причине расцепленная организация будет: 1) всеми силами противостоять проверкам, способным обнаружить подобные пробелы в ее структуре, а также 2) зависеть от «логики уверенности и добросовестности», то есть убежденности внешних контрагентов и сотрудников в том, что в реальности организация честно делает то, что должна (Ibid.: 358). Последующие эмпирические тесты идеи Мейера и Роуэна подтвердили, что процесс расцепления в организациях происходит достаточно часто, но очень по-разному. Так, расцепление может быть вызвано нежеланием руководителей внедрять новые практики, не соответствующие их личным представлениям, или проводить политику изменений в компании (Westphal, Zajac, 2001; Schaefer, 2018). Среди других факторов, влияющих на процесс расцепления, можно выделить степень и характер внешнего давления на организацию, специфику локальной и внутренней среды организации, близость и влияние аудитории организации на ее внутренние процессы и т. д. (для более подробного обзора см.: Voxenbaum, Jonsson, 2017). Процесс расцепления также может потерпеть неудачи из-за сопротивления сотрудников организации. В случае компании Motherhood Inc. сотрудники были не согласны с дискурсами, которые использовала компания для привлечения своей аудитории, и отказывались использовать их при оказании личных услуг (Turco, 2012). В другом исследовании было показано, как в отсутствие желания организации предпринимать реальные действия для соответствия институциональным требованиям процесс расцепления подменялся «организационным лицемерием» — пустыми заявлениями организации о несуществующих действиях³ (Lim, Tsutsui, 2011).

Выделенные мною примеры свидетельствуют о том, что институциональная теория одной из первых признала и предприняла попытку объяснить подобные несоответствия в организационном поведении. Однако вместе с этим она скорее поддержала, нежели проблематизировала, данные расхождения. Общий акцент первых исследований институционализма на поддержании стабильности (Green-

3. Позже читатель сможет увидеть, что понятие организационного лицемерия по своим функциям очень близко исследованиям организационного бреда (organizational bullshit).

wood et. al., 2017: 17) привел к тому, что нарушенная коммуникация между организационными подразделениями или учреждение целого ряда должностей для соблюдения организационного церемониала виделись исследователям как подходящие и эффективные способы решения стоящих перед организацией задач. В данном случае выявление причин и целей подобного поведения оправдывало его существование: зачастую организации прибегали к подобным средствам для улучшения собственного положения и преодоления институциональных требований. Так, в работе Мейера и Роуэна описывается элемент добровольности, с которым сами работники организаций включаются в поддержание слабосцепленной структуры организации (Meyer, Rowan, 1977: 357-358), несмотря на то что подобный порядок может значимо увеличивать количество чисто бюрократических и формальных обязанностей. Можно даже сказать, что в некоторых работах, посвященных организационным правонарушениям, описывалась ситуация *легитимной нелегитимности*, когда институты и знание институциональной среды фасилитировали преступное поведение как свою неотъемлемую часть (Palmer, 2017: 6). Учитывая, что многие авторы видели задачей организационных исследований не только описание, но и улучшение рабочего процесса и корпоративной среды, их гуманизацию и реформирование (Selznick, 1996: 276), стоит обратить внимание на альтернативное исследовательское поле, основой которого служит проблематизация подобных явлений и их разрушительного влияния на человеческую жизнь. К данному полю относятся исследования бессмысленного труда, бредовой работы, организационной глупости и некомпетентности.

Новая реальность бессмысленного труда

Первые работы, описывающие бессмысленный труд, были написаны еще в 70–80-х годах XX века (Frankfurt, 1973; Eisenberg, 1984), однако новая волна интереса к данной области сформировалась относительно недавно (Alvesson, Spicer, 2012; Spicer, 2013; 2020; Selwyn, 2016; Siltaoja et. al., 2018; McCarthy et. al., 2020; Azevedo, 2022, и др.). Несмотря на растущее число работ по теме и, как мы увидим позже, некоторые концептуальные сходства, исследования бессмысленного труда и институциональная теория существуют практически параллельно. В некоторых работах, посвященных организационной глупости (*organizational stupidity*) и бреду (*bullshit*), мы можем заметить краткую отсылку к центральному для институционализма понятию легитимности. Оно призвано подтвердить тезис о том, что глупые решения или лишенный смысла корпоративный жаргон существуют в организациях не просто так, а из-за способности оправдать действия организации в глазах других компаний, либо из-за того, что они одобряемы обществом (Spicer, 2013: 662; Alvesson, Spicer, 2012: 7; du Plessis, Vandeskog, 2020: 7). Однако литература об исследованиях бессмысленного труда практически полностью игнорируется сторонниками институциональной теории. На данный момент существует крайне малое количество работ, которые бы совмещали ключевые идеи двух направлений

(практически единственным примером служит Alvesson, Jonsson, 2022). В данной статье я опишу пути синтеза этих теоретических рамок, так как в самом своем корне исследования бессмысленного труда содержат необходимый, но оставленный без внимания институционалистами элемент — субъективное ощущение неудовлетворенности и недовольства со стороны сотрудников.

В своем обзоре Гильермо Азеведо выделяет целый ряд концепций: организационной глупости (*organizational stupidity*), некомпетентности (*incompetence*), бреда (*bullshit*), абсурда (*absurdity*) и нонсенса⁴ (*nonsense*) (Azevedo, 2022: 4). В данной статье все они будут объединены под зонтичным термином *бессмысленного труда*. Исследователи подходят к данному феномену с разных точек зрения: либо уделяют больше внимания тому, что *делается* (систематические неэффективные или даже вредящие организации действия), либо тому, что *говорится* (намеренно или непроизвольно неясный, скрывающий и запутывающий язык). В зависимости от концептуализации проявления бессмысленного труда могут рассматриваться как нечто присущее самим организациям или же взгляду сотрудников, ощущающих бессмысленность происходящего (Azevedo, 2022: 5).

Азеведо выделяет три подхода, используемых исследователями для анализа подобных феноменов, а в частности, организационной глупости: системно-механический, критико-социологический и культурно-функционалистский. Первый из них предлагает рассматривать организации как системы, имеющие определенные недостатки. В таком случае бессмысленный труд будет являться одним из таких недостатков — следствием некорректной работы системы, которая нуждается в исправлении. Критико-социологический подход видит бессмысленный труд неотъемлемой частью индивидуального и группового поведения людей, действующих в рамках ограниченной рациональности, ошибающихся по невнимательности и зачастую ведомых собственным эгоизмом. Наконец, культурно-функционалистский подход предполагает, что некоторые на первый взгляд бессмысленные действия на самом деле могут быть порождены культурой и, более того, иметь скрытый смысл, то есть выполнять определенную функцию. Таким образом, бессмысленный труд зачастую рассматривается как бессмысленный для кого-то, а не в общем. Понимание же причин его существования требует анализа организационного контекста, в котором подобный труд реализуется: что происходит в кабинетах руководителей, внутри корпорации или в целой отрасли производства, что подталкивает к совершению «бессмысленных» действий (Azevedo, 2022: 6-10). Как можно заметить, культурно-функционалистский подход наиболее близок оптике институциональной теории.

Классификация Азеведо полезна для понимания ключевых сюжетов, актуальных для поля исследований бессмысленного труда. Однако в реальности многие социологические работы тем или иным образом касаются тезисов из всех трех подходов. Корыстность личных мотивов и несовершенство процесса принятия

4. Автором последнего из них является сам Азеведо (Azevedo, 2020).

коллективных решений в таком случае принимаются за должное, но на первый план выходят системные факторы, которые способствуют тому, что отдельные сотрудники или целые коллективы из раза в раз действуют *определенным образом*. Несмотря на то что зачастую бессмысленный труд появляется не на пустом месте и на самом деле может быть полезен тем или иным лицам, многие авторы не останавливаются на признании его достоинств, но критически высказываются по поводу макроконтекста, в котором определенные результаты могут быть достигнуты только созданием по большей части бесполезных рабочих мест или переходом на запутывающий и пустотелый язык корпоративных лозунгов. Подобной логики придерживается Дэвид Гребер в своей книге о бредовых работах (Гребер, 2021). Схожим образом такие понятия, как «устойчивость», рассматриваются исследователями одновременно как организационные инновации и как примеры организационного бреда (*organizational bullshit*), которые способствуют деполитизации проблем в условиях неолиберального общества (du Plessis, Vandeskog, 2020: 10). Таким образом, в исследованиях бессмысленного труда пересмотру или, по крайней мере, критической и рефлексивной оценке подлежит вся система трудовых отношений.

Во многом критический потенциал подобных исследований базируется на том, что труд, оцениваемый самим работником как бесполезный, ведет к росту фрустрации, неудовлетворенности жизнью и в принципе наносит большой психологический вред тому, кто им занимается (Гребер, 2021: 115). Так, К. Мерфи и Дж. Крейнер пишут о том, что прежние исследования профессиональной идентичности были сосредоточены на том, как необходимость собственной работы доказывается *другим*, но они не освещали тот факт, что в первую очередь человек должен доказать *самому себе*, что его работа необходима, востребована и уместна (Murphy, Kreiner, 2020: 4). Исследования, посвященные феномену бюрократии и концепции отчуждения, утверждают, что оправдание своей деятельности зачастую является не самой легкой задачей, так как во многих аспектах современный труд лишен своей значимости, творческой составляющей и не способен принести удовольствие сотрудникам. Разнообразие задействованных в процессе работы навыков, целостность и важность выполняемых задач, а также самостоятельность в принятии решений в бюрократических условиях заменяется однообразной, монотонной, не требующей какой-либо квалификации работой и огромным количеством формальных требований (Matheson, 2007: 244, 246). Сами сотрудники при этом отмечают, что они не понимают, какое влияние их труд оказывает на деятельность всей организации (Ibid.: 245). Подобные ощущения находят свое выражение в негласном требовании работать меньше, но лучше, которое, однако, навряд ли осуществимо в современном, постиндустриальном, неолиберальном обществе (Shirk, 2022: 17). Принятые в нем концепции работы и рабочего времени движутся в противоположном направлении: вместо сокращения рабочего дня и возможности заниматься не относящимися к работе делами в оставшееся время понятие работы расширяется и начинает полностью захватывать жизнь и личность чело-

века (Ibid.: 8; Glaser, 2014: 87). Сотрудникам предлагается самореализовываться и выстраивать свою субъектность *на* работе, а не *вне* ее, хотя подобная идентификация может сопровождаться чувством ненадежности, депрессией и истощением (Catlaw, Marshall, 2018: 3). Сам процесс работы рассматривается как безусловное благо, а создание бесконечных рабочих мест — как необходимое условие экономического роста и социального благополучия (Glaser, 2014: 84).

Сопоставляя исследования, посвященные субъективной неудовлетворенности сотрудников, и ключевые тезисы институциональной теории и культурно-функционального подхода в анализе бессмысленного труда, можно отметить две противоположные тенденции. *Со стороны организаций* — стремление создавать церемониальные рабочие места, подтверждающие легитимность организации в определенном организационном поле (Meyer, Rowan, 1977) и обеспечивающие ей институциональный изоморфизм, то есть сходство с другими организациями (DiMaggio, Powell, 1983). При этом с увеличением штата сотрудников, занимающих подобные должности, будет увеличиваться риск того, что их обязанности будут становиться все более дробными и частными (Matheson, 2007: 251). *В свою очередь, сотрудники* будут чувствовать все большую неудовлетворенность из-за необходимости выполнять элементарную, одинаковую работу, лишенную какой-либо содержательной значимости и необходимую лишь для демонстрации ее наличия в организации⁵. С ростом специализации сотрудникам будет все сложнее убедить себя в том, что то, чем они занимаются на протяжении 8-часового рабочего дня, имеет какой-либо смысл (Ibid.: 251). Таким образом, исследования бессмысленного труда ставят перед институциональной теорией вопрос: когда институциональных требований становится недостаточно для того, чтобы оправдать такое количество бесполезных рабочих мест, обязанностей и документов?

Что еще может взять институционализм у исследований бессмысленного труда? Институциональные исследования организаций в значимой степени связаны на понятии *организационного поля* как своеобразного аналога референтной группы для организаций. Организационное поле составляют организации, которые опираются на общую смысловую систему и чаще взаимодействуют друг с другом, нежели с акторами вне поля (Scott, 2014: 56). Таким образом, деятельность организации всегда мыслится и понимается в контексте схожих с ней структур. Несмотря на то что со временем понятие организационного поля трансформировалось: стало более проницаемым, нестабильным, отзывчивым к изменениям, индивидуальной агентности и динамике распределения власти

5. В некоторых институциональных работах критически осмысляется понимание расщепления как притворства (Voxenbaum, Jonsson, 2017: 13). Нежелание сотрудников рассматривать себя как сугубо церемониальную составляющую организации и их желание полноценно выполнять свою работу может приводить к тому, что институциональные правила будут носить не только формальный характер, но и содержательно влиять на процесс работы в организациях (Scott, 2014). Однако вопрос о том, насколько при этом будет усложняться структура организации и насколько остальные сотрудники организации будут приветствовать подобные нововведения, требует дальнейших исследований.

(Wooten, Hoffman, 2017: 6), оно все так же подразумевало выделение определенных сфер деятельности из всего макроконтекста труда. Напротив, исследования бессмысленного труда обращаются к тенденциям, описывающим то, что происходит между-полями в условиях глобализованного рынка. Укрупнение организационного поля до масштабов всего корпоративного сектора порождает новое требование: организациям необходимо вырабатывать универсальные критерии для сравнения своей деятельности со всеми игроками на рынке, что подразумевает создание настолько же универсального языка. В данном ключе многими авторами анализируется феномен организационного бреда (*organizational bullshit*) — пустой и вводящей в заблуждения коммуникации в организационном контексте (Spicer, 2020: 4). Руководство и менеджеры компаний могут использовать организационный бред для того, чтобы создавать для себя положительный образ, мотивировать сотрудников или привлекать акционеров в условиях увеличивающейся неопределенности и нестабильности (Spicer, 2013: 662; Christensen, Kärreman, Rasche, 2019: 9). Несмотря на предположения многих исследователей о том, что организационный бред будет распространен лишь в определенных трудовых сферах (Spicer, 2020: 9; Christensen, Kärreman, Rasche, 2019: 3), его можно обнаружить практически везде, даже в самых неожиданных местах (например, в нефтяных компаниях; du Plessis, Vandeskog, 2020). Это делает организационный бред глобальным феноменом, циркулирующим в организациях, включенных в самые разные организационные поля.

Лейтмотив глобальной организационной неопределенности (*uncertainty*) раскрывается в еще одном направлении, близком к институциональной теории, — французском прагматизме, также называемом «экономикой конвенций» (Boltanski, Thévenot, 1991; в качестве примеров теоретических пересечений французского прагматизма и институционализма см.: Brandl et al., 2014; Voxelbaum, 2014). Экономика конвенций опирается на идею того, что существуют разные *порядки ценности* (*orders of worth*), то есть принципы оценки вещей и событий. В условиях неопределенности — неизвестности, которую нельзя измерить — выигрывает тот, кто будет способен одновременно прибегать к множеству порядков ценности и пользоваться тем, что дает их наложение друг на друга (Stark, 2000: 4). В данном случае успешное предпринимательство будет основано на возможности эксплуатировать двусмысленность ситуации, а организациям будет выгодно существовать в форме *гетерархий* — образований, характеризующихся меньшей иерархичностью и сосуществованием множества принципов оценки (Ibid.: 5). Мы можем предположить, что распространение неоднозначных и практически полых формулировок, свойственных для организационного бреда, будет являться прямым следствием желания организаций одновременно оседлать множество порядков ценности. Таким образом, исследования бессмысленного труда и экономика конвенций вводят институциональную теорию от идеи соответствия организации требованиям конкретного организационного поля. И хотя с самого начала институционализм не предполагал того, что данные требования будут иметь последовательный и со-

гласованный характер (см. ранее про понятие расцепления; Voxenbaum, Jonsson, 2017: 4), на их место встает намеренное желание организаций существовать между-полями и уклоняться от полноценного выполнения всех институциональных правил.

Бредовая работа и рационализированные мифы: параллели и несоответствия

Для иллюстрации высказанных мною ранее идей в данном разделе я проанализирую существующие параллели и расхождения между работой Мейера и Роуэна о рационализированных мифах (Meyer, Rowan, 1977) и книгой Дэвида Гребера «Бредовая работа: Трактат о распространении бессмысленного труда» (Гребер, 2021). Проблематика книг совпадает: почему существуют и никуда не исчезают рабочие места и организационные процессы, которые никак не влияют на эффективное производство товаров и оказание услуг, а чаще всего даже нарушают капиталистический принцип минимакс — больше выгоды на меньшие издержки? Интересно, что книга Гребера «начинается» там, где «заканчивается» работа Мейера и Роуэна. Последняя вышла в 1977 году, а начало менеджериального феодализма, породившего огромное количество фиктивных рабочих мест, Гребер отсчитывает с 1970-х, когда произошло слияние финансового сектора и руководящих классов (Гребер, 2021: 269). Можно предположить, что описанные Гребером феномены являются закономерным продолжением того, что Мейер и Роуэн застали на стадии развития. Для обоснования этой догадки я приведу несколько аргументов.

В своей книге Гребер говорит о том, что наличие множества рабочих мест, никак не влияющих на процесс производства, кажется аномальным уже потому, что оно противоречит рыночной логике и заставляет капиталистов нести убытки (Там же: 19). Однако, замечая общее несовершенство модели полной рыночной регуляции (которая зачастую не оправдывает себя на практике), он вводит еще один критерий — его можно назвать моральным — людям некомфортно на той работе, которую они считают бессмысленной или даже приносящей вред (Там же: 43). Как уже упоминалось ранее, идея субъективной неудовлетворенности является ключевой для всего поля исследований бессмысленного труда. Более того, по мнению Гребера, бредовая работа перераспределяет денежный капитал в сторону и так обеспеченных людей, переворачивая финансовую пирамиду с ног на голову: люди на самых необходимых работах получают меньше всего денег, люди, выполняющие бесполезную работу, зарабатывают в разы больше (Там же: 250, 293). В целях экономии ресурсов внимания читателей я кратко резюмирую содержание книги тем, что Гребер приписывает подобной ситуации разные причины на индивидуальном, социально-структурном и культурно-политическом уровне: от теологической идеи искупления трудом и обратной зависимости между удовольствием от работы и зарплатой, до разрастания сектора финансовых операций. Однако

лейтмотивом книги служат две идеи: 1) будто все бредовые рабочие места изначально создаются как нечто совершенно бессмысленное, 2) что это происходит потому, что такое положение удачно совпадает с культурной средой современных обществ, а также приносит выгоду людям, находящимся на вершине перераспределительной цепи, то есть руководству корпораций.

Тут можно впервые задуматься об идее Мейера и Роуэна: вероятно, бредовая работа не всегда была бредовой, так как она могла выполнять функции легитимации компании в ее институциональной среде. «Бредовая» (теперь уже в кавычках) работа может являться следствием рационализованного мифа. Мейер и Роуэн видят истоки подобных мифов в усложнении сетей отношений, в коллективной организации среды через юридическо-правовой аппарат, но греберовской логике подходит третья причина — стремление организаций, а соответственно, и их руководства, к лидерству (Мейер и др., 2011: 51). Если организации стремятся к рационализации и подотчетности в мире, где эти понятия являются синонимами эффективности, то в гонке может победить тот, кто предлагает большее количество отчитывающихся подразделений, контролирующих корпорацию изнутри инстанций и сотрудников, чьи должности созданы для удовлетворения институциональных требований. А поскольку технические и производственные должности не будут отвечать этим требованиям, то будет увеличиваться пул сотрудников, работающих с информацией — тот самый сектор, в котором Гребер видит наибольший прирост бредовости. Помимо этого, организации будут стремиться институционально закрепить свои нововведения для того, чтобы стать их лидирующими обладателями. Здесь же Мейер и Роуэн приводят в пример школы:

«Школьные администраторы, которые разрабатывают новые учебные планы и учебные программы, стремятся закрепить легитимность этих инноваций в теории образования и требованиях, выдвигаемых государством. Если им это удастся, новые процедуры могут быть закреплены в качестве требований власти или по крайней мере в качестве удовлетворительных решений» (Мейер и др., 2011: 52)⁶.

Подобный процесс в администрации школ очень похож на укрупнение административного аппарата в университетах, о котором пишет Гребер (Гребер, 2021: 233). И здесь же мы можем представить себе следующий цикл: 1) корпорация будет нанимать новых сотрудников для того, чтобы институционально доказать свой рост и развитие (больше новых сотрудников = больше новых целей и амбиций), 2) сотрудники для легитимации собственной деятельности и деятельности своей организации будут пытаться произвести новые институциональные правила, 3) если предположить, что эти правила закрепляются, теперь и другие организации будут вынуждены подстраиваться под них и плодить схожие рабочие

6. Приведенные мною цитаты взяты из перевода И. С. Чирикова под ред. В. В. Радаева, Г. Б. Юдина, опубликованном в журнале «Экономическая социология» (2011).

места. «Бредовые» рабочие места с их бесконечными отчетами также позволяют рационально объяснить то, почему организация действовала определенным образом. Хотя и прибегать к ним будут, скорее всего, только в крайних случаях из-за доминирования неформальных отношений, о которых Мейер и Роуэн пишут далее в тексте. То, что в свою очередь может дать институциональной теории работа Гребера, это вопрос меры: насколько на каждом новом шаге будет оправданно разрастание легитимирующего институционального аппарата и когда затраты на институциональный изоморфизм и привилегии превысят допустимый порог? Кажется, что Мейер и Роуэн писали свою статью в период, когда требования постиндустриального мира в плане институционализации были достаточно малы, к моменту же написания книги Гребером они уже вышли из-под контроля. Сложность сетей отношений, разделения труда и технологий производства достигла такого масштаба, что пропорциональный и стабилизирующий ее институциональный аппарат начал перетягивать на себя одеяло.

Конечно, учитывая лейтмотив противопоставления технической эффективности и институционального церемониала, нельзя не сказать, что Мейер и Роуэн прекрасно замечали расхождения между институциональными требованиями и тем, что приносит материальную выгоду организациям. Здесь вступает в силу тезис о механизмах преодоления подобных разногласий: расцеплении, логике добросовестности и церемониальности процедур оценки. Мейер и Роуэн говорят о том, что:

«Эффективная нейтрализация неопределенности и поддержание уверенности возможны, только если люди считают, что все действуют добросовестно» (Мейер и др., 2011: 61).

В их статье представляется само собой разумеющимся, что формальная структура организации расцепляется с неформальной. Сами сотрудники понимают необходимость этого шага, вызванного тем, что реальные параметры эффективности всегда меняются, не поспевая за формальностями, и соглашаются «действовать на передовой», то есть обеспечивать добросовестное функционирование организации через систему неформальных взаимодействий. Она нигде не закреплена, но работает через представления о собственном профессионализме, желании быть довольным своей работой и постоянных попытках компаний напомнить о преданности и удовлетворенности сотрудников (Там же: 62). Гребер не соглашается с этим утверждением, отмечая, что потребность людей в осмысленном и качественном труде остается, но корпорации уже не могут убедить их в том, что их нынешняя работа такова, если она бредовая (Гребер, 2021: 43). Можно предположить, что причина этого в том, что в капиталистической культуре открыто заявляется идеал технической рациональности (той самой эффективности, о которой говорят Мейер и Роуэн). Кроме него существуют

моральные основания труда, реализуемые, например, в творческой работе или работе с детьми. Поскольку цель работы, направленной на институциональный изоморфизм и поддержание легитимности, нигде открыто не постулируется, иначе это бы разрушило сам процесс легитимации, получается, что она не подходит ни под одно из этих оснований. С укрупнением институционального аппарата люди начинают это замечать и отказываются быть средством для институциональной стабильности (Scott, 2014), так как этому противостоит вся эксплицитная ценностная структура капиталистических обществ. Итогом нарастающего напряжения при попытке убедить работников в том, что их действия полезны и технически рациональны, хотя это не всегда так, может быть тирания и бессмысленный контроль той деятельности, которая изначально создавалась лишь для подчеркивания институциональной легитимности. Гребер пишет о том, что бредовость работы в данном случае будет компенсироваться тем, что за ней будут пристально следить такие же бредовые сотрудники, стремящиеся хоть как-то оправдать свои походы на работу (Гребер, 2021: 177).

Более того, если фирмы стремятся к церемониальности и фиктивности проверок собственной деятельности (так как она не соответствует формально заявленной структуре), но требования по сертификации и аттестации профессионалов или государственные службы оценки все же существуют, так как необходимость в них закреплена институционально, то люди, работающие в данных органах оценки, будут прекрасно понимать, что их деятельность носит крайне искусственный и никому не нужный характер. Это огромный источник кадров, которые только и делают, что ставят формальные штампы и пишут такие же формальные документы.

Заключение

В данной статье были описаны две исследовательские области, с разных сторон подходящие к анализу проблемы неэффективных и бесполезных действий в организациях: организационный институционализм и исследования бессмысленного труда. Работы, посвященные бессмысленному труду, развивают две идеи, которых недостает институциональной теории. Первой из них является эксплицитная критика существующих трудовых и организационных отношений, основывающаяся на аргументе о субъективной неудовлетворенности. Второй — описание организационных тенденций к глобализации и интеграции, выражающаяся в желании организаций одновременно быть всем и ничем: существовать между-полями, уклоняться от полноценного соответствия каким-либо институциональным правилам и говорить на эфемерном языке организационного бреда. Включение данных аспектов в поле зрения институциональной теории позволит институционализму уйти от чрезмерно нормализующей оптики стабильности, легитимности и функциональности и по-новому взглянуть на жизнь организаций в постиндустриальную эпоху.

Литература

- Гребер Д. (2021). Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда / Пер. с англ. А. Арамяна, К. Митрошенкова. М.: Ад Маргинем Пресс.
- Мейер Д. и др. (2011). Институционализированные организации: формальная структура как миф и церемониал // Экономическая социология. Т. 12. № 1. С. 43–67.
- Alvesson M., Jonsson A. (2022). Organizational Dischronization: On Meaning and Meaninglessness, Sensemaking and Nonsensemaking // Journal of Management Studies. Vol. 59. № 3. P. 724–754.
- Alvesson M., Kärreman D. (2007). Unraveling HRM: Identity, Ceremony, and Control in a Management Consulting Firm // Organization Science. Vol. 18. № 4. P. 711–723.
- Alvesson M., Spicer A. (2012). A Stupidity-Based Theory of Organizations: A Stupidity-Based Theory of Organizations // Journal of Management Studies. Vol. 49. № 7. P. 1194–1220.
- Azevedo G. (2020). Does Organizational Nonsense Make Sense? Laughing and Learning From French Corporate Cultures // Journal of Management Inquiry. Vol. 29. № 4. P. 385–403.
- Azevedo G. (2022). Into the realm of organizational folly: A poem, a review, and a typology of organizational stupidity // Management Learning. P. 135050762110662.
- Bitektine A. (2011). Toward a Theory of Social Judgments of Organizations: The Case of Legitimacy, Reputation, and Status // AMR. Vol. 36. № 1. P. 151–179.
- Boxenbaum E. (2014). Toward a Situated Stance in Organizational Institutionalism: Contributions from French Pragmatist Sociology Theory // Journal of Management Inquiry. Vol. 23. № 3. P. 319–323.
- Boxenbaum E., Jonsson S. (2017). Isomorphism, diffusion and decoupling: Concept evolution and theoretical challenges // The Sage handbook of organizational institutionalism. 2nd edition. New Delhi: SAGE. P. 79–104.
- Brandl J. et al. (2014). Why French Pragmatism Matters to Organizational Institutionalism // Journal of Management Inquiry. Vol. 23. № 3. P. 314–318.
- Christensen L. T., Kärreman D., Rasche A. (2019). Bullshit and Organization Studies // Organization Studies. Vol. 40. № 10. P. 1587–1600.
- DiMaggio P. J., Powell W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields // American Sociological Review. Vol. 48. № 2. P. 147–160.
- Du Plessis E. M., Vandeskog B. (2020). Other stories of resilient safety management in the Norwegian offshore sector: Resilience engineering, bullshit and the de-politicization of danger // Scandinavian Journal of Management. Vol. 36. № 1. P. 101096.
- Eisenberg E. M. (1984). Ambiguity as strategy in organizational communication // Communication Monographs. Vol. 51. № 3. P. 227–242.
- Greenwood R. et al. (2017). The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism. New Delhi: SAGE.

- Ingram P., Clay K.* (2000). The Choice-within-Constraints New Institutionalism and Implications for Sociology // *Annual Review of Sociology*. Vol. 26. P. 525–546.
- Kostova T., Nell P. C., Hoenen A. K.* (2018). Understanding Agency Problems in Headquarters-Subsidiary Relationships in Multinational Corporations: A Contextualized Model // *Journal of Management*. Vol. 44. № 7. P. 2611–2637.
- March J. G., Simon H. A.* (1958). *Organizations*. New York: Wiley.
- Matheson C.* (2007). In Praise of Bureaucracy? A Dissent From Australia // *Administration & Society*. Vol. 39. № 2. P. 233–261.
- McCarthy I. P. et al.* (2020). Confronting indifference toward truth: Dealing with workplace bullshit // *Business Horizons*. Vol. 63. № 3. P. 253–263.
- Meyer J., Rowan B.* (1987). The Structure of Educational Organizations // *Schools and society: A sociological approach to education*. Los Angeles: SAGE. P. 217–225.
- Meyer J. W., Rowan B.* (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony // *American Journal of Sociology*. Vol. 83. № 2. P. 340–363.
- Murphy C., Kreiner G. E.* (2020). Occupational boundary play: Crafting a sense of identity legitimacy in an emerging occupation // *Journal of Organ Behavior*. Vol. 41. № 9. P. 871–894.
- Palmer D.* (2017). Institutions, Institutional Theory and Organizational Wrongdoing // *The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism*. New Delhi: SAGE. P. 737–758.
- Phan P. H., Wood G.* (2020). Doomsday Scenarios (or the Black Swan Excuse for Unpreparedness) // *AMP*. Vol. 34. № 4. P. 425–433.
- Powell W. W., Bromley P.* (2015). New Institutionalism in the Analysis of Complex Organizations // *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Amsterdam: Elsevier. P. 764–769.
- Schaefer S. M.* (2019). Wilful Managerial Ignorance, Symbolic Work and Decoupling: A Socio-Phenomenological Study of ‘Managing Creativity’ // *Organization Studies*. Vol. 40. № 9. P. 1387–1407.
- Scott W. R.* (2014). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*. Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC: SAGE Publications.
- Sebora T. C., Kesner I. F.* (1996). The CEO Selection Decision Process: Bounded Rationality and Decision Component Ordering // *Journal of Multi-Criteria Decision Analysis*. Vol. 5. № 3. P. 183–194.
- Selwyn N.* (2016). Minding our language: why education and technology is full of bullshit ... and what might be done about it // *Learning, Media and Technology*. Vol. 41. № 3. P. 437–443.
- Selznick P.* (1996). Institutionalism «Old» and «New» // *Administrative Science Quarterly*. Vol. 41. № 2. P. 270–277.
- Selznick P.* (2011). *Leadership in Administration: A Sociological Interpretation*. New Orleans: Quid Pro Books.
- Shirk J.* (2022). From Bureaucratic Discipline to Self-Actualization: Using Marx and Foucault to Critique the Demand for Better Work Rather Than Less Work // *Administration & Society*. P. 009539972110690.

- Siltaoja M. E. et al.* (2018). Aspirations, Bullshit, Grandiosity, and Post-truths: Jargon in Organizational Life // *Proceedings*. Vol. 2018. № 1. P. 13122.
- Spicer A.* (2013). Shooting the shit: the role of bullshit in organisations // *M@n@gement*. Vol. 16. № 5. P. 653.
- Spicer A.* (2020). Playing the Bullshit Game: How Empty and Misleading Communication Takes Over Organizations // *Organization Theory*. Vol. 1. № 2. P. 263178772092970.
- Turco C.* (2012). Difficult Decoupling: Employee Resistance to the Commercialization of Personal Settings // *American Journal of Sociology*. Vol. 118. № 2. P. 380–419.
- Westphal J. D., Zajac E. J.* (2001). Decoupling Policy from Practice: The Case of Stock Repurchase Programs // *Administrative Science Quarterly*. Vol. 46. № 2. P. 202–228.
- Wooten M., Hoffman A. J.* (2017). Organizational Fields: Past, Present and Future // *The Sage handbook of organizational institutionalism*. P. 55–74.
- Zucker L. G.* (1977). The Role of Institutionalization in Cultural Persistence // *American Sociological Review*. Vol. 42. № 5. P. 726–743.

Pointless labor, bullshit jobs, and organizational absurdity: new directions for institutional theory

Daria A. Nikitina

Graduate student, Sociology department, European University at Saint-Petersburg
Address: Gagarinskaya str., 6/1, Saint-Petersburg, Russian Federation, 191187
E-mail: Nikitina.daria2@gmail.com

This essay is dedicated to the synthesis of two strands in the field of organizational studies, those of institutional theory and the study of meaningless labor. Institutional theory was one of the first to turn its attention to the inconsistent and ineffective actions performed within the organization, offering a conceptual apparatus for their analysis. Such phenomena, according to the institutional point of view, actually performed a certain function, allowing organizations to match the requirements of their institutional environment. However, over time, corporate reality became increasingly filled with labor which seemed meaningless and useless even to those who participate in it. Hence, institutionalism lost its explanatory power. Formed almost in parallel, the study of meaningless labor has analyzed these trends in the spread of stupidity, bullshit, and absurdity in modern organizations on alternative theoretical grounds. In this paper, I describe aspects that institutional theory can borrow from the study of meaningless labor, that is, the attention to personal dissatisfaction and the intentional organizational avoidance of any institutional rules.

Keywords: organizations, institutionalism, institutional theory, meaningless labor, bullshit jobs, organizational stupidity

References

- Alvesson M., Jonsson A. (2022) Organizational Dischronization: On Meaning and Meaninglessness, Sensemaking and Nonsensemaking. *Journal of Management Studies*, vol. 59, no 3, pp. 724–754.
- Alvesson M., Kärreman D. (2007) Unraveling HRM: Identity, Ceremony, and Control in a Management Consulting Firm. *Organization Science*, vol. 18, no 4, pp. 711–723.

- Alvesson M., Spicer A. (2012) A Stupidity-Based Theory of Organizations: A Stupidity-Based Theory of Organizations. *Journal of Management Studies*, vol. 49, no 7, pp. 1194–1220.
- Azevedo G. (2020) Does Organizational Nonsense Make Sense? Laughing and Learning From French Corporate Cultures. *Journal of Management Inquiry*, vol. 29, no 4, pp. 385–403.
- Azevedo G. (2022) Into the realm of organizational folly: A poem, a review, and a typology of organizational stupidity. *Management Learning*, pp. 135050762110662.
- Bitektine A. (2011) Toward a Theory of Social Judgments of Organizations: The Case of Legitimacy, Reputation, and Status. *AMR*, vol. 36, no 1, pp. 151–179.
- Boxenbaum E. (2014) Toward a Situated Stance in Organizational Institutionalism: Contributions From French Pragmatist Sociology Theory. *Journal of Management Inquiry*, vol. 23, no 3, pp. 319–323.
- Boxenbaum E., Jonsson S. (2017) Isomorphism, diffusion and decoupling: Concept evolution and theoretical challenges. *The Sage handbook of organizational institutionalism* (ed. R. Greenwood et. al), SAGE, 2nd edition, pp. 79–104.
- Brandl J. et al. (2014) Why French Pragmatism Matters to Organizational Institutionalism. *Journal of Management Inquiry*, vol. 23, no 3, pp. 314–318.
- Christensen L.T., Kärreman D., Rasche A. (2019) Bullshit and Organization Studies. *Organization Studies*, vol. 40, no 10, pp. 1587–1600.
- DiMaggio P.J., Powell W.W. (1983) The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, vol. 48, no 2, pp. 147–160.
- Du Plessis E.M., Vandeskog B. (2020) Other stories of resilient safety management in the Norwegian offshore sector: Resilience engineering, bullshit and the de-politicization of danger. *Scandinavian Journal of Management*, vol. 36, no 1, pp. 101096.
- Eisenberg E.M. (1984) Ambiguity as strategy in organizational communication. *Communication Monographs*, vol. 51, no 3, pp. 227–242.
- Greber D. (2021) *Bredovaya rabota. Traktat o rasprostraneni besmyslennogo truda* / Per. s angl. Armena Aramyana, Konstantina Mitroschenkova, Moscow: Ad Marginem Press.
- Greenwood R. et al. (2017) *The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism*, New Delhi: SAGE.
- Ingram P., Clay K. (2000) The Choice-within-Constraints New Institutionalism and Implications for Sociology. *Annual Review of Sociology*, vol. 26, pp. 525–546.
- Kostova T., Nell P.C., Hoenen A.K. (2018) Understanding Agency Problems in Headquarters-Subsidiary Relationships in Multinational Corporations: A Contextualized Model. *Journal of Management*, vol. 44, no 7, pp. 2611–2637.
- March J.G., Simon H.A. (1958) *Organizations*, New York: Wiley.
- Matheson C. (2007) In Praise of Bureaucracy? A Dissent From Australia. *Administration & Society*, vol. 39, no 2, pp. 233–261.
- McCarthy I.P. et al. (2020) Confronting indifference toward truth: Dealing with workplace bullshit. *Business Horizons*, vol. 63, no 3, pp. 253–263.
- Mejer D. et al. (2011) Institucionalizirovannyye organizacii: formal'naya struktura kak mif i ceremonial. *Ekonomicheskaya sociologiya*, vol. 12, no 1, pp. 43–67.
- Meyer J., Rowan B. (1987) The Structure of Educational Organizations. *Schools and society: A sociological approach to education*. Los Angeles: SAGE, pp. 217–225.
- Meyer J.W., Rowan B. (1977) Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, vol. 83, no 2, pp. 340–363.
- Murphy C., Kreiner G.E. (2020) Occupational boundary play: Crafting a sense of identity legitimacy in an emerging occupation. *Journal of Organ Behavior*, vol. 41, no 9, pp. 871–894.
- Palmer D. (2017) Institutions, Institutional Theory and Organizational Wrongdoing. *The Sage handbook of organizational institutionalism* (ed. R. Greenwood et. al), SAGE, 2nd edition, pp. 737–758.
- Phan P.H., Wood G. (2020) Doomsday Scenarios (or the Black Swan Excuse for Unpreparedness). *AMP*, vol. 34, no 4, pp. 425–433.
- Powell W.W., Bromley P. (2015) New Institutionalism in the Analysis of Complex Organizations. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, Elsevier, pp. 764–769.

- Schaefer S. M. (2019) Wilful Managerial Ignorance, Symbolic Work and Decoupling: A Socio-Phenomenological Study of 'Managing Creativity'. *Organization Studies*, vol. 40, no 9, pp. 1387–1407.
- Scott W. R. (2014) *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*, Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC: SAGE Publications
- Sebora T. C., Kesner I. F. (1996) The CEO Selection Decision Process: Bounded Rationality and Decision Component Ordering. *Journal of Multi-Criteria Decision Analysis*, vol. 5, no 3, pp. 183–194.
- Selwyn N. (2016) Minding our language: why education and technology is full of bullshit ... and what might be done about it. *Learning, Media and Technology*, vol. 41, no 3, pp. 437–443.
- Selznick P. (1996) Institutionalism «Old» and «New». *Administrative Science Quarterly*, vol. 41, no 2, pp. 270–277.
- Selznick P. (2011) *Leadership in Administration: A Sociological Interpretation*, New Orleans: Quid Pro Books.
- Shirk J. (2022) From Bureaucratic Discipline to Self-Actualization: Using Marx and Foucault to Critique the Demand for Better Work Rather Than Less Work. *Administration & Society*, pp. 009539972110690.
- Siltaoja M. E. et al. (2018) Aspirations, Bullshit, Grandiosity, and Post-truths: Jargon in Organizational Life. *Proceedings*, vol. 2018, no 1, pp. 13122.
- Spicer A. (2013) Shooting the shit: the role of bullshit in organisations. *M@n@gement*, vol. 16, no 5, pp. 653.
- Spicer A. (2020) Playing the Bullshit Game: How Empty and Misleading Communication Takes Over Organizations. *Organization Theory*, vol. 1, no 2, pp. 263178772092970.
- Turco C. (2012) Difficult Decoupling: Employee Resistance to the Commercialization of Personal Settings. *American Journal of Sociology*, vol. 118, no 2, pp. 380–419.
- Westphal J. D., Zajac E. J. (2001) Decoupling Policy from Practice: The Case of Stock Repurchase Programs. *Administrative Science Quarterly*, vol. 46, no 2, pp. 202–228.
- Wooten M., Hoffman A. J. (2017) Organizational Fields: Past, Present and Future. *The Sage handbook of organizational institutionalism* (ed. R. Greenwood et. al), SAGE, 2nd edition, pp. 55-74.
- Zucker L. G. (1977) The Role of Institutionalization in Cultural Persistence. *American Sociological Review*, vol. 42, no 5, pp. 726–743.

Энтони Гидденс и цивилизационный анализ: модерн между рефлексивностью и культурой

Руслан Браславский

Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН — филиала ФНИСЦ РАН
Адрес: ул. 7-ая Красноармейская, д. 25/14, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190005
E-mail: r.braslavsky@socinst.ru

В статье на основе критической реконструкции диагноза современности Э. Гидденса прослеживается логика перехода от институционального к цивилизационному подходу в социологическом дискурсе о «модерне». В фокусе находится проблема соотношения культуры и рефлексивности. В теории радикального модерна Гидденса рефлексивность противопоставляется культуре, отождествляемой с традицией. В теории множественных модернов, генетически связанной с социологической парадигмой цивилизационного анализа, традиция и рефлексивность соотносятся как два аспекта культуры, которые характеризуются устремлениями, с одной стороны, к воспроизводству задающих общий смысловой контекст интерпретативных оснований, а с другой — к трансконтекстуальным прорывам, открывающим новые горизонты смысла. Обе тенденции находятся в неустрашимом напряжении между собой и опосредуются в способности культуры к рационализации, в процессе которой самоартикуляция культуры может переходить в самопроблематизацию. Соединение рациональности с рефлексивностью ведет к культурным инновациям и интерпретативным сдвигам и по меньшей мере потенциально к новым культурным кристаллизациям, допускающим более высокие уровни самопроблематизации (Й. Арнасон). В разных культурно-исторических паттернах способность рационализации получает неравномерное и специфическое развитие. Модерн представляет собой новую «особую цивилизацию» (Ш. Эйзенштадт), в которой тенденции культуры к самоартикуляции в конфликтующих направлениях и к самопроблематизации достигают беспрецедентного в человеческой истории уровня, порождая во взаимопереплетении с относительно автономной динамикой власти и богатства множественные конфигурации социальной жизни. Хотя сам британский социолог не совершил «цивилизационный поворот» в своем творчестве, он в завершение собственного институционального анализа модерна вплотную подошел к постановке ключевой для цивилизационного подхода в социологии проблеме сопряжения культуры и власти. Однако эта же проблематика обозначила и предел понимания модерна в теории Гидденса, признавшего в конечном счете непостижимость социального мира, в котором изживающая культурные традиции рефлексивность институционализована. В дальнейшем Гидденс пошел по пути не научного анализа модерна, а утопического моделирования и политического осуществления будущего постмодерного мира.

Ключевые слова: институционализм, культура, множественные модерны, модерн, рефлексивность, традиция, цивилизационный анализ, Э. Гидденс

1. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00950.

Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

Введение в социологический дискурс о «модерне»

Энтони Гидденс находится в ряду теоретиков, вместе с Ю. Хабермасом, У. Бекком, З. Бауманом, «открывших» в 1980-е годы в социологии дискурс о «модерне». Впервые в работах Гидденса термин «модерн»² (*modernity*) с отчетливым концептуальным содержанием появляется во втором томе «Современной критики исторического материализма» (Giddens, 1985), вышедшем в один год с книгой Хабермаса «Философский дискурс о модерне». Первый том был издан четырьмя годами ранее, и в нем ведущая роль в концептуализации современности принадлежала понятию «капитализм», а термин «модерн» не упоминался даже в предметном указателе (Giddens, 1981). Во втором томе Гидденс представил многомерную институциональную модель «модерна», которую позже воспроизвел в трактате «Последствия современности» (Giddens, 1990). Капитализму в этой модели было отведено уже «рядовое» место одного из четырех институциональных измерений модерна.

Термин «модерн» встречался в социологической литературе и раньше, но в период доминирования теории модернизации он, по замечанию Э. Тирикьяна, не был должным образом теоретически обоснован (Tiryakian, 1992: 79). В рамках так называемой «классической» теории модернизации слово «модерн» не несло самостоятельной концептуальной нагрузки, обозначая совокупность атрибутов общества «модерного» типа в противоположность «традиционному». Согласно П. Вагнеру, перечень характеристик модерна сводился в основном к «набору институтов», таких как демократическая нация-государство, либеральная рыночная экономика, автономный исследовательский университет. Модерное общество выступало конечным результатом и телосом процесса модернизации. В достигшей институциональной зрелости социологии периода «ортодоксального консенсуса», пришедшегося на первые два послевоенных десятилетия второй половины XX века, господствовало убеждение, что модернизация, как комплексный процесс общественных трансформаций, автоматически ведет к одновременному освобождению и господству человека (Wagner, 2009: 247, 250–251). С конца 1960-х годов в ревизионистских по отношению к классической теории модернизации работах слово «модерн» стало приобретать особое значение, выходящее за рамки понятия «модерное общество» (Bendix, 1967; Gusfield, 1967). Критике было подвергнуто упрощенное представление о взаимоисключающей полярности между традицией и модерном, с логической неизбежностью задаваемой дихотомией «традиционное/модерное общество». В обновленной интерпретации процесса модернизации динамическое соотношение модерна и традиции уже не рассматривалось как «игра с нулевой суммой».

2. В статье здесь и далее используемый Э. Гидденсом и принятый в англоязычной научной литературе термин *modernity* (во множественном числе — *modernities*) передается словом «модерн» (во множественном числе — соответственно — «модерны»). При цитировании работ, в которых для перевода данного термина на русский язык используются слова «современность» или «модерность» (во множественном числе — «модерности»), автор сохраняет принятое в этих работах словоупотребление, за исключением специально оговоренных случаев.

В последние два десятилетия XX века термин «модерн» обрел вполне самостоятельный и даже доминирующий статус в социологическом диагнозе «нашего времени». Произошло это в результате соединения уже бытовавшей лексической единицы и нового концептуального содержания, отдифференцированного, с одной стороны, от ортодоксального дисциплинарного дискурса самоназванных «модерными» социальных наук, а с другой стороны, от радикального антидисциплинарного дискурса постмодернистской социальной мысли. Дисциплинарная институционализация социальных наук была неразрывно связана с формированием на протяжении большей части XIX–XX веков двух базовых социополитических форм современных обществ: национального государства и государства всеобщего благосостояния. Социальные науки, дав ответы на ключевые проблемы, порожденные «двойной» (Э. Хобсбаум) — демократической и промышленной — революцией, внесли решающий интеллектуальный вклад в формирование и поддержку «социетальной» организации модерна. Однако в конце XX века среди социологов и представителей других социальных наук распространилось убеждение в том, что устоявшиеся «общественные» образцы модерна находятся под угрозой ослабления и распада, вызванных социально-экологическими последствиями индустриального развития, рефлексивным применением научного знания и неолиберальной трансформацией глобального капитализма.

Этот диагноз о начавшемся с конца 1960-х годов деструктурировании послевоенного «организованного модерна» (П. Вагнер) впервые со всей отчетливостью поставили постмодернистские мыслители, провозгласившие «конец» модерна, но они основной акцент делали на фрагментации эпистемологических, концептуальных, нарративных структур. В формирующемся с начала 1980-х годов контрпостмодернистском социологическом дискурсе о «модерне» демонтаж социетальных структур и институтов стал рассматриваться как пришествие «второго модерна» в результате параллельно разворачивающихся процессов «глобализации» и «индивидуализации». В этой новой социальной конфигурации модерна стремительно утрачивали свое прежнее доминирующее положение любые «срединные» социополитические и институциональные порядки, располагающиеся между уровнями самостоятельных индивидов и глобального мира, образуемого пересекающимися и размывающими все границы «сетями» и «потоками» (Wagner, 2015: 106–107). Критика установки «методологического национализма» и так называемой «контейнерной» модели общества, присущих ортодоксальной социологии, стала общим местом в теориях «модерна».

Понятие современного общества перестало соответствовать не только осознанию современной ситуации в конце XX века, но и складывающемуся новому пониманию модерна как такового. У. Бек в своем эпохальном для дискурса о «модерне» труде 1986 года писал о «наметившемся антагонизме между современным и индустриальным обществом (во всех его вариантах)». «Общее содержание модерна вступает в противоречие с омертвелостями и половинчатостями в самой концепции индустриального общества» (Бек, 2000: 11–12). В новой интерпретации

состояния модерна прежде столь популярную веберовскую метафору «железной клетки» («стального панциря») вытесняет заимствованный у К. Маркса образ «современного мира», в котором «все твердое растворяется в воздухе» — фраза из английского перевода «Манифеста Коммунистической партии», вынесенная М. Берманом в заглавие своей книги об опыте модерна (Berman, 1982). Вследствие деструктурирования в социальной реальности и деконструкции в социальной теории *общества* как феномена и как понятия термин «модерный» оказался лишенным своих фундаментальных референта и означаемого, к которым он мог быть применен. Выход из этой ситуации был найден в субстанциализации понятия «модерн», которое стало означать новое социоисторическое состояние, несводимое к атрибутам «модерного общества».

Складывающаяся с начала 1980-х годов теоретическая конфигурация в социологическом диагнозе современности представлена теориями, в которых модерн выступает как глобальная, но неоднородная, изменяющаяся, вариативная социоисторическая реальность, выраженная в разнообразных институциональных и/или культурных формах. В этой теоретической конфигурации могут быть распознаны три модели «модерна»: трансформационная, плюралистическая и вариационная. В трансформационной модели выделяются последовательные этапы, или типы, модерна: традиционный модерн индустриального общества преобразуется в «радикальный», «рефлексивный», «текущий» «второй модерн» (У. Бек, Э. Гидденс, З. Бауман). Однако этот «другой» модерн, для описания которого уже не годятся традиционные понятия социологии «модерных обществ», понимается не просто как новая стадия модернизации, а как кульминация в развитии и полное раскрытие природы модерна как такового. Модерн концептуализируется в радикальном противопоставлении традиции, а модернизация приравнивается к детрадиционализации. В этой приверженности к дихотомическим конструкциям заметен возврат к классической теории модернизации.

В отличие от «трансформационной», оформившаяся концептуально и терминологически в 1990-е годы «плюралистическая» модель модерна носит отчетливый культур-ориентированный характер. Она представлена теорией «множественных модернов» (multiple modernities) в трудах Ш. Эйзенштадта, Й. Арнасона, Б. Виттрока, П. Вагнера, Й. Терборна, Дж. Деланти и других социологов (Eisenstadt, 1992, 2000a; Arnason, 1993, 2000, 2020; Wittrock, 2000; Wagner, 2008, 2011, 2012; Therborn, 2003; Delanty, 2005). Эта теория возникла в русле «возрожденной» в середине 1970-х годов и восходящей к классическому наследию М. Вебера и Э. Дюркгейма вместе с М. Моссом социологической традиции цивилизационного анализа (Eisenstadt, 2000b; Arnason, 2003), но затем получила относительно самостоятельное развитие. В противовес данной теории была выдвинута институциональная теория «разновидностей модерна» (varieties of modernity), в которой «вариационистская» модель модерна разрабатывается с опорой на теорию разновидностей капитализма в новой политической экономии (Schmidt, 2006). Однако теория разновидностей модерна пока не смогла выйти

из орбиты теории разновидностей капитализма и, взятая в отрыве от нее, не может сравниться по степени своей разработанности и представленности с теорией множественных модернов.

С переходом от трансформационной к плюралистической модели в социологической концептуализации модерна произошел решительный сдвиг от традиционного для социологии структурно-институционального способа анализа, рассматривающего модерн в качестве «исторической эпохи и набора институтов», к феноменолого-герменевтическому подходу и соответствующему ему пониманию модерна как «опыта и интерпретации» (Wagner, 2009: 252–254). В отличие от пост-модернистской социальной мысли, теория множественных модернов не подвергается исключению или семиотической редукции конституирующие социологический дискурс тематики, а делает их предметом проблематизации и контекстуализации. Так, она удерживает в фокусе внимания институциональные аспекты социальной жизни и возвращает интерес к изучению социетальных конфигураций как одного из уровней, на которых формируются множественные модели модерна в современном мире (Арнасон, 2016: 191–192).

Далее в статье на примере критической реконструкции осмысления проблемы соотношения культуры и рефлексивности в теории Гидденса в сравнении с теорией множественных модернов прослеживается логика перехода от институционального к цивилизационному подходу в социологическом анализе модерна.

Гидденс в диагнозе современности придерживается враждебной «культуре» концепции рефлексивности. Он следовал логике тех интерпретаторов наследия М. Вебера, которые, по словам ведущего современного представителя цивилизационного анализа в социологии Й. Арнасона, «реконструировали неоднозначное веберовское понятие рациональности (и, соответственно, рационализации. — Р. Б.) способом, облегчающим его отделение от культурных контекстов». В частности, такие реконструкции были предложены В. Шлюхтером и Ю. Хабермасом, которые усилили присущую самому М. Веберу «тенденцию принижать интерпретативное измерение культуры». Эта тенденция проявилась у немецкого классика уже в сравнительной истории цивилизаций и достигла кульминации в его диагнозе развитого модерна (Arnason, 2003: 94). Гидденс полностью воспроизводит этот нейтрализующий культуру веберовский ход мыслей. Он выдвигает «дисконтинуистскую» концепцию человеческой истории, которая подчеркивает уникальную природу современных социальных институтов в отличие от всех культурно укорененных традиционных типов социального порядка (Гидденс, 2011: 113, 115, 117).

Гидденс предложил понимание «рефлексивного модерна» как социоисторического состояния, освобожденного от мифических представлений, религиозных верований и культурных традиций. Но этот образ модерна был отвергнут в «культуросоциологических» теориях, вернувших модерну интерпретативное, символическое, сакральное измерение и восстановивших связь рефлексивности с культурой (Alexander, Smith, 2019: 14). Тем более заслуживает внимания социологическая теория Гидденса, который в завершение институционального анализа модерности

с позиции теории власти вопреки исходному тезису об изживающей культуру рефлексивной природе модерна обращается к понятию культуры как к последней инстанции в попытке объяснения загадки социального мира, в котором рефлексивность институционализована.

Конфликт интерпретаций и латентная проблематика теории Э. Гидденса: культура и власть

«Антикультуралистский» характер произведений Гидденса, написанных в 1990-е годы в жанре социологического диагноза современности, критиковал Дж. Александер, уже совершивший к тому времени поворот к «культуросоциологии». По его оценке, они разительно отличаются по форме и по содержанию от работ этого же британского социолога двух предыдущих десятилетий (Alexander, 1996: 135). Но и эти более ранние работы, увенчавшиеся разработкой теории структуриации, также отмечены недостатком культурной восприимчивости, хотя не все интерпретаторы творчества Гидденса готовы с этим согласиться. Так, Дж. Скотт утверждает, что понятие культуры является наиболее важным в социологии Гидденса, несмотря на нежелание последнего использовать само это слово (Scott, 2007: 103).

Согласно Скотту, центральное место в теории Гидденса принадлежит идее социальной структуры, которая при ближайшем рассмотрении принимает вид «культурной структуры», состоящей из «правил». Правила служат «культурными механизмами, посредством которых организуются действия и социальные системы» (Scott, 2007: 87). По его словам, «структура» в понимании Гидденса полностью соответствует культурным кодам социальной жизни в представлении структуралистов (Scott, 2007: 83). Эта концепция культуры как структуры лежит, по утверждению Скотта, в основе всех ключевых идей теории структуриации. Сведенные к правилам «структуры» аналитически совершенно отличны от паттернов социальных действий и социальных систем, хотя они «инстанцированы» в них. Ненаблюдаемые культурные структуры порождают наблюдаемые социальные паттерны. В этом различии «ненаблюдаемых структур» и «наблюдаемых паттернов» Гидденс, по замечанию Скотта, воспроизводил осуществленное Ф. де Соссюром в лингвистике различие между «языком» и «речью». Речевое поведение становится моделью социального действия вообще. Важно то, что люди могут следовать правилам, не задумываясь об их существовании или не обладая способностью их сформулировать.

Следующий шаг в культуралистской аргументации Скотта заключается в уподоблении понятия структуры в теории Гидденса понятию габитуса у П. Бурдьё. Структурные правила являются продуктом социализированных диспозиций. «На самом деле, — пишет Скотт, — большой путаницы можно было бы избежать, если бы Гидденс использовал слово “габитус”, а не слово “структура»» (Scott, 2007: 89). Однако рекомендованное Скоттом терминологическое приравнение «структуры» к «габитусу» оказывается возможным только после того, как у понятия структуры им была отнята половина исходного концептуального содержания.

Концепция социальной структуры Гидденса наряду с понятием правил включает также понятие ресурсов, которое является «фундаментальным с точки зрения осмысления власти» (Гидденс, 2005: 74). В свою очередь, власть для Гидденса имеет всепроникающее присутствие в социальной жизни и есть «само условие существования кодов значений» (Гидденс, 2005: 78). В этой связи Гидденс отмечает неудачу Ю. Хабермаса интегрировать концепцию власти в институциональную теорию вследствие отождествления господства с систематически искажаемыми формами коммуникации (структурами сигнификации). Таким образом, произведенное Скоттом сведение понятия структуры к правилам вступает в противоречие с главными интенциями и принципами социологического теоретизирования Гидденса.

Выдвижение Скоттом на первый план структуралистской концепции культуры перепрофилирует теорию структуризации из агентностно- в структурно-ориентированную, отвлекая внимание от творческого, умелого, осведомленного, осуществляющего рефлексивный мониторинг своего поведения, использующего правила и ресурсы для достижения целей собственной деятельности агента. Переоценка Гидденса в «культуросоциолога» достигается за счет нивелирования выдвинутого им же практико-ориентированного конститутивистского подхода к решению проблемы соотношения агентности и структуры (Вахштайн, 2008: 71). Безусловно, в теории Гидденса содержатся понятия, подпадающие под категорию «культура», но отнюдь не она задает общую концептуальную рамку и основу его теоретической аргументации — что уже было отмечено в критико-комментаторской литературе (Дмитриев, 2011: 80–81).

Вопреки предложенной Скоттом культуралистской интерпретации теории структуризации Гидденса более убедительной в герменевтической реконструкции его подхода представляется оценка, данная немецкими социологами Х. Йоасом и В. Кнёблем, которые отмечают излишнюю сосредоточенность социологического анализа Гидденса на властном аспекте действия и недостаточное внимание к его культурной укорененности. Особенно односторонний характер аргументация Гидденса приобретает в макросоциологическом анализе, который ведется почти исключительно с позиции теории власти и «уже практически не в состоянии учесть аспект самостоятельности культуры» (Йоас, Кнёбль, 2011: 436, 419). При этом «властный аспект» действия в рамках социологической теории Гидденса понимается очень широко: как способность людей преобразовывать условия собственного существования, «вносить изменения» в ранее существовавшее положение дел или ход событий (Гидденс, 2005: 56). В этом всеохватывающем значении власть, по сути, отождествляется с действием как таковым: быть действующим (агентом) — значит реализовывать определенный вид власти (Йоас, Кнёбль, 2011: 428, 427). По лаконичному определению Гидденса, власть, «в самом широком смысле, является способом делать дела» (Гидденс, 2011: 307).

Для того чтобы стать центральной идеей и лозунгом социологической теории Гидденса, понятие «культура» было слишком тесно связано с подходами, от которых он стремился отмежеваться прежде всего: с одной стороны, от функциона-

лизма и структуриализма, в которых культура выступала внешней по отношению к акторам и подавляющей агентностью силой, а с другой стороны, от различных герменевтических и феноменологических вариантов интерпретативной социологии, которые склонны рассматривать общество как своего рода эпифеномен культуры, искусственное порождение людей (Гидденс, 2005: 71). В противовес ошибочному редукционизму той и другой стороны Гидденс в центр своей теории поставил понятие социальных практик и выдвинул концепцию дуальности структуры прежде всего как способ переосмысления классической социологической дихотомии структуры и агентности, но которая также заключала в себе латентную проблематику соотношения культуры и власти. Рассмотренный выше конфликт двух интерпретаций подхода Гидденса со всей отчетливостью высветил эту проблематику, которая задала развитию современной социологической теории с середины 1970-х годов основное направление нового синтеза (Йоас, Кнёбль, 2011: 289) наряду с сохраняющими свою актуальность более традиционными социологическими дихотомиями «структура/агентность» и «макро-/микроуровень» (Ритцер, 2002: 416–482). В конечном счете и сам Гидденс институциональный анализ модерна завершил отсылкой к культуре в сопряжении с властью.

Знание и рефлексивность в теории структуризации и диагнозе модерна Э. Гидденса

С властным аспектом действия связано акцентирование Гидденсом когнитивного измерения и роли рефлексивности в социальной жизни. «Структура, — подчеркивал он, — не существует независимо от знаний деятелей относительно того, что они делают в процессе повседневной деятельности» (Гидденс, 2005: 71). В фундаменте теории структуризации лежит понятие практического сознания, включающее знание, которое акторы не могут выразить на вербальном уровне, сделать его тем самым достоянием дискурсивного сознания (Гидденс, 2005: 45–46). Гидденс выделяет также два значения понятия рефлексивности, соотносимых с двумя уровнями интеграции между индивидуальными и коллективными акторами: а) рефлексивный мониторинг (самоконтроль) действия в ситуациях соприсутствия («социальная интеграция») и б) рефлексивная саморегуляция воспроизводства социальной системы в условиях социального взаимодействия, простирающегося сколь угодно далеко в пространстве и во времени за пределами непосредственного физического контакта акторов («системная интеграция»). Власть в отмеченном выше своем универсальном значении «логически предшествует субъективности, конституированию рефлексивного мониторинга поведения» (Giddens, 1984: 15; Гидденс, 2005: 56).

Для анализа модерна понятия рефлексивного мониторинга действия оказывается недостаточно. «Это не тот смысл, в котором рефлексивность особым образом связана с современностью, но он является необходимой основой для такого смысла» (Гидденс, 2011: 154). Именно второе значение рефлексивности имеет определяющее значение для понимания природы модерна. Механизмы системной

интеграции включают в себя механизмы социальной интеграции, однако отличаются от них по ряду ключевых параметров (Гидденс, 2005: 73). Теоретизирование людей по поводу собственной деятельности в условиях пространственно-временного «растяжения» социальных практик становится конститутивным компонентом механизмов подобного «растяжения» и условий воспроизводства системы как таковой (Гидденс, 2005: 72, 275; Giddens, 1984: 27, 191). С наступлением модерна рефлексивность «включается в самую основу воспроизводства системы, так что мысль и действие приобретают постоянную отсылку друг к другу» (Гидденс, 2011: 155). Одним из основных источников динамизма модерна (взаимосвязанным с двумя другими, определенными Гидденсом: «разделением времени и пространства» и «развитием механизмов высвобождения») является «рефлексивное усвоение (appropriation) знания», подразумевающее, что производство и рефлексивное применение систематических знаний о социальной жизни становится неотделимым от воспроизводства системы (Giddens, 1990: 53; Гидденс, 2011: 174).

Гидденс подчеркивал преимущественно институциональный характер своего анализа современности в противоположность ориентированному на культуру подходу постмодернистов (Гидденс, 2011: 111). Он продолжает рассматривать модерн традиционным для социологии образом: как прежде всего «новый набор *институтов*» (Wagner, 2009: 247). Но в отличие от «классических» подходов К. Маркса, Э. Дюркгейма и М. Вебера, склонных к поиску некоей единой определяющей всю динамику современности характеристики, британский социолог утверждает «многомерность» модерна «на уровне институтов» (Гидденс, 2011: 122, 124). Он выделяет четыре основных «институциональных измерения» модерна: индустриализм, капитализм, надзор и военную мощь (Гидденс, 2011: 177–187). Все эти ключевые институты модерна возникли на Западе и на определенном этапе мировой истории обеспечили ему глобальное доминирование. Параллельно с увеличением могущества западных стран шел также нарастающий процесс «глобализации» — распространения по всему миру институтов модерна. Обратной стороной глобализации явилось постепенное исчезновение привилегированной позиции Запада. Но в каких бы частях мира ни находились оспаривающие его глобальное доминирование страны, они не отличаются сколь-нибудь заметным образом от западных обществ по своим институциональным характеристикам (Гидденс, 2011: 172–173).

Проявленное Гидденсом в трактовке глобализации внимание к изменяющемуся балансу власти в межгосударственных отношениях, как и его более общая сфокусированность на теме широко понимаемого контроля человека над условиями собственного существования и над самим собой, сближает его теорию модерна с фигурационной социологией и теорией процесса цивилизации Н. Элиаса, с которым он работал в начале своей научной карьеры в Лестерском университете. Каждое из четырех выделенных Гидденсом институциональных измерений модерна соответствует определенному виду контроля: над природной и созданной средой (индустриализм), над средствами производства и рынками труда и сбыта (капитализм), над информацией и людьми (надзор), над средствами осуществления на-

сия в контексте индустриализации войны (военная мощь). Эта четырехсоставная модель институциональных измерений модерна, к которой следует добавить рефлексивный мониторинг акторов над собственным поведением (самоконтроль), вполне сопоставима с «триадой основных типов контроля» в теории социального развития Элиаса. Согласно этой теории, уровень развития данного общества зависит от его способности контролировать динамику внешней природы, социальной жизни и индивидуального поведения (Elias, 1978: 156–157). По словам Й. Арнасона, «применение этого общего критерия к трем различным, но взаимосвязанным областям, очевидно, предполагает нейтрализацию всех культурных различий» (Arnason, 1987: 448). Данный вывод может быть в полной мере распространен и на институциональную теорию модерна Гидденса, акультурный характер которой еще более усиливается вследствие принятия ее автором «дисконтинуистской» интерпретации возникновения модерна в человеческой истории. Динамика модерна ведет к его полному отрыву от всех традиций и высвобождению рефлексивности из любого культурного контекста (Гидденс, 2011: 114–117). В диагнозе современности со всей отчетливостью проявился акультурный характер теоретизирования Гидденса. В фокусе разработанной им теории позднего модерна находятся непреднамеренные последствия институционализированной рефлексивности в социальной жизни.

Инструменталистской концепции современной рефлексивности, сводящей социальный мир к объекту технократического управления, Гидденс противопоставил модель рефлексивности модерна, основанную на «циркуляции социального знания в рамках двойной герменевтики» (Гидденс, 2011: 296). Понятие «двойной герменевтики» характеризует смысловую структуру социального мира, образуемую пересечением «обыденных» представлений (понятий «первого порядка»), с помощью которых акторы ориентируются в потоке повседневной жизни, и метаязыками (понятиями «второго порядка»), изобретенными социальными учеными (Гидденс, 2005: 388, 498). В результате двойного процесса перевода и интерпретации, подразумеваемого понятием двойной герменевтики, возникает общее, совместно разделяемое (*mutual*) обычными акторами и профессиональными экспертами знание того, как существовать дальше в формах социальной жизни (Гидденс, 2005: 499; Giddens, 1984: 375). Пояснению того, чем является такое совместное знание, может служить приводимый Гидденсом пример из экономической сферы модерна. «Обычный» индивид не обязательно способен дать формальные определения таких разработанных экономической наукой терминов, как «капитал» или «инвестиция», но каждый, кто пользуется, скажем, сберегательным счетом в банке, проявляет подразумеваемое и практическое понимание этих понятий (Гидденс, 2011: 159). Понятия, теории и данные экономики и других социальных наук не только способствуют лучшему осознанию агентами своего поведения, но и активно формируют его.

В предпринятом Гидденсом институциональном анализе модерна на первый план выходит взаимодействие между экспертным знанием, формализованной

версией которого являются социальные науки, и знанием, применяемым в действиях «обычных» людей, а также непреднамеренные последствия этого взаимодействия для социальных институтов. Рефлексивность современной социальной жизни заключается в том факте, что социальные практики постоянно исследуются и преобразуются под влиянием вновь поступающей о них информации. «Знание, на которое претендуют наблюдатели из числа экспертов (в некоторой части и многими различными способами), возвращается в свою предметную область, тем самым (в принципе, но обычно и на практике) изменяя ее» (Гидденс, 2011: 164). Знание в своем рефлексивном применении к условиям воспроизводства системы изменяет природу ситуаций, к которым оно изначально относилось (Гидденс, 2011: 175; Giddens, 1990: 54). В особенности велико практическое влияние социальных наук, среди которых ключевая позиция принадлежит социологии как наиболее общему способу размышления о социальном мире модерна (Гидденс, 2011: 160). «Современность как таковая, — подчеркивает Гидденс, — по своей природе глубоко социологична»: «...социологические понятия и открытия существенным образом участвуют в определении того, что *есть* современность» (Гидденс, 2011: 162, 129). Тезис о «социологизации» модерна позволил Гидденсу сделанные им из теории структуриации методологические выводы для социологического эмпирического исследования (Гидденс, 2005: 384–475) с легкостью перевести в онтологическую теорию рефлексивного модерна.

Занимающее столь важное место в теории структуриации и диагнозе модерна Гидденса понятие «двойной герменевтики» направлено главным образом на прояснение механизма функционирования социального знания в обществе, его причинных условий и последствий, а не смыслового содержания. Данный механизм позволяет рассматривать знание во взаимосвязи дискурсивного и практического уровней сознания агентов. Теоретические дискурсы являются неотъемлемой частью «экспертных систем», «организующих значительные фрагменты материального и социального окружения» (Гидденс, 2011: 142). Систематическое специализированное экспертное, в том числе социологическое знание «развивается по спирали, входя в универсум социальной жизни и отталкиваясь от него, реконструируя и себя, и этот универсум в качестве неотъемлемой части этого процесса» (Гидденс, 2011: 128). Экспертные системы, наряду с символическими знаковыми системами (такими как деньги), являются важнейшими механизмами высвобождения социальных отношений из их непосредственного контекста (Гидденс, 2011: 144).

Однако признавая огромную роль социально-научного знания в «определении того, что *есть* современность», Гидденс не пытается интегрировать в конструируемую им теорию модерна интеллектуальную историю социальных наук, фокусируясь исключительно на институциональных эффектах «двойной циркулярности» социального знания (Гидденс, 2011: 175). В результате британский социолог создает весьма абстрактную, упрощенную и одностороннюю, хотя и схватывающую некоторые чрезвычайно важные черты картину «позднего модерна». Подход Гидденса

к анализу и разработке социологической теории ориентирован исключительно на логическую оценку познавательной ценности социологических перспектив и направлений, которые сопоставляются друг с другом без учета исторических условий их возникновения и достижения ими своей когнитивной и институциональной значимости. По замечанию последователя фигурационной социологии Н. Элиаса Р. Килминстера, Гидденс довольно рано «отверг пригодность социологии знания для установления достоверных понятий» (Kilminster, 1998: 123).

Непреднамеренные последствия институционализированной рефлексивности: парадокс радикального модерна

Признание и институционализация всепроникающей рефлексивности является одним из наиболее важных признаков радикализации модерна (Гидденс, 2011: 173). Презумпция всеобщей рефлексивности охватывает не только социальные практики, являющиеся предметом изучения социальных наук, но и распространяется на само социальное знание, точнее, «притязания на знание», включая рефлексия о природе самой рефлексивности (Гидденс, 2011: 156, 175). По словам Гидденса, модерн «эффективно ввел в действие институционализацию сомнения», но тем самым рефлексивность не только освободила разум от требований традиции, но и подорвала уверенность разума в приобретении достоверного знания (Гидденс, 2011: 325). «Мы заброшены в мир, который с начала и до конца образован посредством рефлексивно применяемых знаний, но в котором мы в то же время никогда не можем быть уверены в том, что какой-либо данный элемент этого знания не будет пересмотрен». Тем самым спонтанность модерна заключена «в самой сердцевине мира строгой науки» (Гидденс, 2011: 157).

Концепция «двойной циркулярности» социально-научного знания исключает «параллелизм» между когнитивным ростом, с одной стороны, и постепенно расширяющимся контролем над социальным миром — с другой. Увеличение знаний о социальном мире, как это ни парадоксально, не ведет к все более ясному пониманию социальных институтов и, следовательно, к постоянно нарастающему «технологическому» контролю над ними (Гидденс, 2011: 129, 162). Характеризующая радикализацию модерна институционализированная и детрадиционализированная рефлексивность вызывает прямо противоположный эффект — дестабилизацию социального мира. Таковы непреднамеренные последствия «рефлексивности, или циркулярности социального знания» (Гидденс, 2011: 296). Но вопреки постмодернистским социальным теоретикам, Гидденс в отказе от поиска последних оснований достоверности знания видит не преодоление модерна как такового, а его радикализацию, которая в действительности есть не что иное, как обретение модерном самого себя (Гидденс, 2011: 167).

Все более освобождаясь от гетерогенных по своей природе остатков традиции и провиденциального мировоззрения, унаследованных мыслью эпохи Просвещения, модерн не становится более целостным и монолитным. Присущие ему на-

пряжения и противоречия Гидденс описывает в виде четырех пар диалектически соотносящихся рамок опыта: отсоединения (отстранения) и нового прикрепления (привязанности), интимности (личного доверия) и безличности (формальных связей), экспертизы (абстрактных систем) и присвоения (повседневной осведомленности), приватизма (прагматического принятия) и вовлеченности (активизма) (Гидденс, 2011: 171, 280; Giddens, 1990: 51, 140).

Социальные науки, играющие столь важную роль в неудержимой динамике модерна, уподобляемой Гидденсом «колеснице Джаггернаута» (Гидденс, 2011: 279), оказываются в конечном итоге, по его признанию, бессильными понять природу рефлексивности, а следовательно, и самого модерна. «Современность вносит разлад не только в силу цикличности разума, но и потому, что природа этой цикличности в конечном счете непонятна». И еще более фаталистично: «В сердцеvine своей современность оказывается загадочной, и, судя по всему, эта загадка не может быть “преодолена” никоими способами» (Гидденс, 2011: 169). Загадку модерна Гидденс формулирует в виде следующего ключевого вопроса: «Как можем мы оправдать преданность разуму от имени разума?» И далее продолжает: «Парадоксально, что именно логические позитивисты натолкнулись на эту проблему самым непосредственным образом вследствие тех усилий, которые они затратили на удаление любых остатков традиции и догм из рационального мышления» (Гидденс, 2011: 169). Но с этой же проблемой сталкивается и сам Гидденс, настаивая на необходимости полного самоочищения социологии от пережитков providentialного мировоззрения, воспринятого ею от мысли эпохи Просвещения. Гидденс, как и принципиально критикуемые им в других отношениях постмодернисты, стремился к деконструкции «великих нарративов», но в отличие от них, он сместил фокус критики на эволюционистские социальные теории. По его словам, «эволюционизм в той или иной форме имел гораздо больше влияния на социальную мысль, нежели телеологические философии истории, составляющие основной объект нападок Лиотара и других мыслителей» (Гидденс, 2011: 115–116).

Рефлексивность и культура: радикальное сомнение как способность, установка и интерпретация

В признаваемом Гидденсом неразрешимым вопросе-загадке модерн обнаруживает не только указание на границу своей познаваемости, но и намек на собственное основание. На последних страницах своего труда «Последствия современности» британский социолог, вновь утверждая присущие рефлексивности модерна радикальное отсоединение от любого культурного контекста и разрыв с традицией, делает примечательную оговорку. Он пишет: «Поскольку разум оказывается неспособным дать окончательное оправдание самому себе, нет смысла притворяться, что этот разрыв не опирается на культурную приверженность (и власть)» (перевод изменен) (Гидденс, 2011: 324; Giddens, 1990: 176). Этой отсылкой Гидденс ставит рефлексивность в такое отношение к культуре, которое если и не подрывает в своей

основе развиваемую им на протяжении всей книги концепцию модерна, то показывает ее принципиальную ограниченность. По самой своей исходной идее теория рефлексивного модерна Гидденса была не столько теорией «второго модерна», сколько теорией рефлексивности модерна, или модерна как рефлексивности. Изначально эта теория была построена на категориальном разрыве и концептуальном противопоставлении рефлексивности и культуры. В рамках концептуальной схемы Гидденса его отсылающее к эмпирической действительности утверждение о разрыве радикального модерна с другими культурами подразумевает на аналитическом уровне разрыв рефлексивности с культурой вообще.

Однако его последующее замечание о том, что этот разрыв модерна с другими культурами покоится на культурной приверженности (*cultural commitment*) и власти, позволяет поставить вопрос о модерне как цивилизации — представление, которое изначально отвергалось Гидденсом. Модерн, с его точки зрения, не мог быть цивилизацией, потому что он хотя в своем историческом возникновении и был связан с культурой и традицией, но культурой не является по определению (логически) и по природе (онтологически). Однако если утверждается, что радикальный, т. е. полный и окончательный разрыв модерна с другими культурами (на эмпирическом уровне) и культурой как таковой (на аналитическом уровне) покоится на культурной приверженности, то тем самым культура в каком бы то ни было своем качестве вводится в определение модерна, что неминуемо должно привести к релятивизации отношений между рефлексивностью и культурой и пересмотру концепции модерна, полагающей его природу исключительно в рефлексивности. Высвобождаясь из локальных культурных контекстов и цивилизационных традиций (и то ответ на вопрос, в какой мере это происходит, всегда должен быть результатом эмпирического анализа, а не априорного постулирования), модерн не освобождается от своего определения как культуры. Обретая глобальный масштаб в силу своей внутренней динамики, модерн не только, как пишет Гидденс, предлагает режимы дискурсивной аргументации, которые превосходят культурные различия (Гидденс, 2011: 324), но он сам с той же имманентностью и производит культурные различия — тезис, отстаиваемый теорией множественных модернов.

Гидденс, завершив институциональный диагноз модерна отсылкой не только к культуре, но и к власти, тем самым вплотную подошел к постановке главной проблемы цивилизационного анализа — отношению культуры и власти между собой (Arnason, 2003: 53, 59). Ф. Ницше в одной из своих заметок, вошедших в посмертно изданный трактат «Воля к власти», предлагал в качестве «принципиального нововведения» заменить «социологию» и «общество» на изучение «форм и образов господства» и «культурных комплексов» (Ницше, 2005: 270). Согласно Й. Арнасону, обратившему внимание на этот фрагмент в наследии немецкого философа, сформулированная в нем мысль оказалась программной для исследований М. Вебера, который если и не знал именно этой заметки, то почерпнул выраженный в ней дух из других работ Ницше. Подчеркивая важное влияние Ницше на Вебера, затем-

ненное неокантианским прочтением творчества последнего, Арнасон интерпретирует самого Ницше как прежде всего «герменевтического мыслителя» (Adams, Arnason, 2016: 154, 153).

Ницше является одним из ключевых мыслителей не только для социологической традиции цивилизационного анализа, но также *в* теории и *для* теории модерна Гидденса (Гидденс, 2011: 166–169). Ницшеанский «нигилизм» оказывается парадигматическим для рефлексивности модерна. Возражая теоретикам постмодерна, Гидденс утверждал, что Ницше своим разоблачением скрытых предпосылок мысли эпохи Просвещения способствовал не преодолению модерна как такового, а его самопониманию и обретению самим себя (Гидденс, 2011: 167). Однако в теории Гидденса фигура Ницше предстает скорее знаком рефлексивной природы модерна, чем одним из реальных его творцов. Ведь одно дело исследовать интеллектуальную, культурную и социальную историю конкретного феномена мысли, например, такого как учение Ницше, течение «нигилизма» или традиция «радикального сомнения», прослеживая его взаимосвязи с культурным контекстом, институциональными рамками и социальным окружением, выявляя тем самым его место и роль в социоисторических конфигурациях и изменениях модерна. И совсем другое дело — свести смысловое содержание, все многообразие когнитивных, интерпретативных, символических значений, составляющих теоретическую мысль определенной социоисторической формации, к единственной абстрактной установке «радикального сомнения», избегая в то же время выявлять комплекс культурных предпосылок и средств, под воздействием и с помощью которых именно эта, а не какая-либо иная установка становится наиболее убедительной и мотивирующей для индивидуальных и коллективных акторов в конкретно-исторических условиях их существования. Идентификация таких ценностно-ориентированных установок к миру является важной частью программы сравнительного изучения цивилизаций Вебера (Arnason, 2003: 91). Но переходя от определения установки непосредственно к ее институциональным и структурным последствиям, минуя уровень культурных ориентаций и их множественных интерпретаций, Гидденс совершает ошибку «короткого замыкания», создавая весьма одностороннюю и упрощенную картину трансформаций модерна.

В рамках предложенной Арнасоном герменевтически-ориентированной интерпретации концепции рационализации Вебера (Arnason, 2003: 91–97), радикальное сомнение, в котором рефлексивная природа модерна достигает кульминации, может быть рассмотрено в отношении к культуре в трех измерениях: во-первых, как в чрезвычайной степени развитая способность культуры к самоартикуляции и рационализации; во-вторых, как особая установка к миру, задающая руководящие принципы и основополагающие правила для действия в нем; в-третьих, как одна из артикуляций ценностной идеи человеческой автономии, формирующей интерпретативный паттерн модерна как новой цивилизации. В каждом из этих измерений культура представляет континуум своих характеристик. Так, присущая любой культуре, но неравномерно развитая способность к самораскрытию варьируется

от самоутверждающей артикуляции собственных предпосылок до их самопроблематизации. Установки к миру принимают вид от осознанной и рационально артикулированной ценностной приверженности до глубоко интериоризованных диспозиций и не рефлекслируемых правил, следование которым самими акторами воспринимается как естественное выражение своей неизменной внутренней природы или непреодолимое подчинение внешнему самоподдерживающемуся и самодвижущемуся порядку. В смысловом измерении модерн представлен множественными конкурирующими интерпретациями, которые артикулируются как философские концепции, научные теории, религиозные учения, идеологические доктрины, институциональные проекты, и транслируются в политические и, более опосредованно, в экономические институты и практики, довершая таким образом формирование цивилизационного паттерна модерна (Арнасон, 2012: 26).

Нельзя сказать, что культурно-интерпретативное измерение модерна полностью отсутствует в теории Гидденса. Он подчеркивает происхождение мысли эпохи Просвещения и западной культуры в целом из религиозного контекста, в котором особое значение придавалось телеологии и божественному провидению. «Без предшествовавшей ему ориентации, заданной этими идеями, Просвещение едва ли было бы возможно в принципе» (Гидденс, 2011: 167–168). Оправдание освобожденного разума в эпоху Просвещения абсорбировало религиозные провиденциальные идеи западно-христианской культуры, всего лишь придав им новую форму, вместо того чтобы вытеснить их. В результате «один тип достоверности (божественный закон) сменился другим (достоверность наших чувств, эмпирического наблюдения), а божественное провидение было заменено предопределенным (providential) прогрессом» (Гидденс, 2011: 168). Таким образом, культурные определения участвуют в формировании автономной динамики разума. Но, как отмечает Гидденс, в мысли эпохи Просвещения с самого начала присутствовали зачатки нигилизма, который оказывается наиболее последовательным развитием идеи рефлексивности разума (Гидденс, 2011: 168). Радикальное сомнение окончательно порывает с культурным и религиозным контекстом, завершая тем самым дело освобождения разума. Разрыв с центральными для эпохи Просвещения воззрениями, достигающий кульминации в распаде эпистемологической программы поиска конечных оснований, Гидденс интерпретирует как результат «самоочищения современной мысли в ходе избавления ее от пережитков традиции и провиденциального мировоззрения» (Гидденс, 2011: 171). В терминах веберовской социологии данный процесс «самоочищения современной мысли» может быть определен как процесс рационализации.

Концептуально состояние модерна означает ситуацию, в которой человеческий разум не принимает никаких внешних гарантий, т. е. гарантий, которые не им самим установлены, к чему бы только эти гарантии ни имели отношения, будь то знание, политические порядки или самость (Wagner, 2001: 9951). В ситуации, характерной для состояния «позднего модерна», по определению Гидденса, или «постмодерна», согласно диагнозу некоторых других теоретиков, человеческий ра-

зум не находит никаких гарантий даже в себе самом. Если рассматривать отстаиваемую Гидденсом модель концептуальной трансформации модерна в более аналитических терминах, то можно констатировать, что в условиях позднего модерна оценочная установка, каковой является «радикальное сомнение», полностью вытесняет интерпретативный паттерн, обеспечивавший ценностное превосходство разума на этапе перехода от «раннего» к «зрелому» модерну во второй половине XVIII — первой половине XIX века. В этом отношении предлагаемая Гидденсом концептуально-аналитическая схема процесса радикализации рефлексивности модерна, затрагивающего прежде всего сферу производства знания, дополняет разработанные Вебером модели процесса рационализации западного «культурного мира» в сферах экономики и политики, приведшего к возникновению современных капиталистической системы и бюрократического аппарата (Arnason, 2010: 79–80).

Игнорируя реальную интеллектуальную и культурную историю философии и науки, Гидденс сводит их разнообразные интерпретативные паттерны и когнитивные парадигмы к универсальной ценностной установке рефлексивного сомнения, институционализация которой выражает и обеспечивает автономную динамику разума. Ключевое в теории модерна Гидденса понятие «двойной герменевтики» в действительности не ведет, как можно было бы предположить из самого термина, к обоснованию и реализации проекта смысло-ориентированной социологии, а, оставаясь всецело в рамках институционального подхода, служит лишь обозначением каузального механизма, порождающего дестабилизирующие последствия для социальных институтов модерна. Однако, как указывает П. Вагнер, вместо того чтобы отделять «культуру» от институциональных опор модерна, можно избрать другой путь социологического анализа современности: «продемонстрировать, оказывают ли и каким образом реинтерпретации общественного самопонимания влияние на институциональные изменения, или, другими словами, как культурно-интерпретационные трансформации связаны с социально-политическими трансформациями» (Wagner, 2010: 55). Именно эта исследовательская программа реализуется в теории множественных модернов, являющейся изводом социологической парадигмы цивилизационного анализа.

Радикальное сомнение и человеческая автономия: от рефлексивного модерна к множественным модернам

Гидденс вопреки постмодернистам не считал отказ от поиска конечных оснований достоверности признаком распада модерна и перехода современного мира в состояние постмодерна. Радикальное сомнение изначально было определяющей характеристикой модерна. При этом культурное измерение модерна Гидденс сводит исключительно к влиянию унаследованных традиций домодерных социальных порядков, тем самым отказываясь понимать модерн как конституируемый своими собственными культурными предпосылками, отличающими его от традиционных цивилизаций. Концептуально модерн резко противопоставляется традиционным

социальным порядкам и их культурным паттернам. Радикализация модерна означает его детрадиционализацию и высвобождение из культурных контекстов предшествовавших ему цивилизаций (Гидденс, 2011: 117). Но, как подчеркивает Гидденс, сам модерн «не есть лишь одна из ряда цивилизаций в соответствии с “разрывной” (discontinuist) интерпретацией истории» (Гидденс, 2011: 172).

В отличие от антикультурного подхода к модерну Гидденса, «идея множественности модерностей предполагает и определяет понятие модерности как цивилизации» (Арнасон, 2017: 65). В перспективе цивилизационного анализа «радикальное сомнение» является не только всеопределяющей современной установкой, но прежде всего — особой интерпретацией культурной ориентации на человеческую автономию, конституирующей модерн как «новый тип цивилизации» (Eisenstadt, 2001: 322). Как подчеркивает Арнасон, эту ориентацию, изменяющую всю структуру человеческого бытия в мире, следует понимать, вслед за Эйзенштадтом, в очень широком смысле, включая «осознанное воздействие на мир и методическое стремление к пониманию его устройства, расширившееся господство над миром и радикальную реконструкцию общества» (Арнасон, 2012: 26). В терминологии К. Касториадиса, оказавшего признанное влияние на формирующуюся социологическую парадигму цивилизационного анализа, ориентации на «автономию» и «овладение» составляют «двойное воображаемое значение» модерна как нового социально-исторического условия человеческого существования (Wagner, 2009: 252).

В социологической версии цивилизационного анализа культурные предпосылки цивилизационных паттернов были переопределены из подразумеваемых принципиальных, имеющих характер окончательных решений утверждений о мире в латентную «проблематику» — ключевые темы и способы вопрошания о мире, ориентирующие людей в их индивидуальном и коллективном поиске оснований собственного существования как социокультурных существ с открытой биологической программой (Arnason, 2001: 391–392; Eisenstadt, 2003: 75–78). Любая интерпретация мира представляет собой ответ на некоторые экзистенциальные вопросы, которые предполагаются особенно значимыми и правдоподобными в определенные исторические эпохи. Следовательно, любая интерпретация содержит в самой своей основе некоторую степень неопределенности, неуверенности и произвольности, а значит, возможность выбора, сомнения и оспаривания. Радикальное сомнение представляет собой, с одной стороны, исторически в высшей степени развитую способность человеческой культуры переходить от вопрошания о мире к самопроблематизации, а с другой — это культурно определенная ценностная установка к миру и одна из культурных артикуляций идеи человеческой автономии, задающей проблематику модерна как особой цивилизации.

В интерпретативном подходе к модерну подчеркивается, что определяющая его цивилизационный паттерн всеобъемлющая культурная ориентация на человеческую автономию, как и в той или иной степени культурные предпосылки других цивилизаций, подвержена множественным расходящимся и конфликтующим

артикуляциям. Некоторые из них могут приобретать доминирующий характер, но это доминирование поддерживается благодаря не исключительно культурным механизмам, а вследствие их неизбежного взаимопереплетения с практиками осуществления власти и распределения (аллокации) ресурсов (Eisenstadt, 2003: 75). В конкретно-исторических комбинациях культуры, власти и ресурсов культурные определения могут придавать автономное значение сферам общественной жизни, которые не рассматриваются как преимущественные домены смысла. В социоисторических конфигурациях знание, по меньшей мере в определенных своих формах, может выступать как относительно автономная сфера и как один из видов ресурсов власти или богатства.

Теория множественных модернов содержит в качестве своего ядра концепцию модерна как цивилизации, но не сводится к ней. Как отмечает Арнасон, множественные модерны не являются «чисто внутренними вариантами радикально нового паттерна цивилизации»; они также включают наследия в разной степени дестабилизированных и фрагментированных домодерных цивилизационных моделей (Arnason, 2020: 7). Таким образом, множественные модерны представляют собой изменяющиеся конstellации, образованные сочетанием культурных ресурсов цивилизационных традиций и интерпретативных рамок цивилизации модерна. Доминирующее положение цивилизационного паттерна модерна в современных цивилизационных конфигурациях определяется всеобщим референциальным значением его проблематики. Как поясняет Б. Виттрок, отличительной особенностью модерна как нового глобального условия человеческого существования оказывается неспособность противников символизирующих его институтов «выразить свое несогласие и сформулировать свои программы иначе как в соотнесении с его [же] идеями» (Виттрок, 2002: 146). С другой стороны, хотя беспрецедентная рефлексивная способность модерна подрывает прежде сложившиеся цивилизационные формации, в то же время, как показал Гидденс, она усиливает релятивный характер всех интерпретаций, вырабатываемых в ответ на собственную проблематику модерна, что, в свою очередь, открывает возможности для его взаимодействия с историческим цивилизационным наследием (Arnason, 2020: 7). Очевидно, что признание более или менее широкого и длительного участия домодерных цивилизационных традиций в процессах конституирования множественных форм модерна несовместимо с радикально дисконтинуистской концепцией происхождения модерна, отстаиваемой Гидденсом.

Кроме цивилизационных оснований на плюрализацию форм модерна влияют другие факторы, в том числе борьба и альянсы внутри отдельных обществ, геополитические, геоэкономические и геокультурные конstellации глобального и регионального масштаба, а также случайные исторические события (Арнасон, 2012: 25). В состоянии модерна динамика экономической и политической сфер общественной жизни приобретает более автономный характер по сравнению с предшествующими историческими эпохами. Однако констатация данной особенности модерна не ведет к отрицанию влияния цивилизационных контекстов на дина-

мику власти и богатства, поскольку, как подчеркивает Арнасон, культурные определения неизбежно входят в конституирование экономической и политической сфер, придавая последним в отдельных случаях самодовлеющее и даже доминирующее значение в общественной жизни (Arnason, 2010: 79). В домодерных цивилизационных формациях некоторые культурные определения также были особенно совместимы с более или менее автономной политической и экономической динамикой, что хорошо прослеживается на примерах строительства империй, а также проанализированных Ф. Броделем мир-экономик (Arnason, 2010: 81).

Радикальная рефлексия, обращенная на самое себя, оказывается самоограничивающей и ведет к переосмыслению отношения человеческого разума и мира за рамками теории рефлексивного модерна. Гидденс, как было отмечено выше, приходит к выводу о непостижимости социального мира, конституируемого двойной циркулярностью знания в условиях институционализированной рефлексивности разума. В конечном счете в теории рефлексивного модерна именно столкновение разума с миром, лишенным не только управляемости и предсказуемости, но и служащей им основанием своей интеллигибельности, обнаруживает предпосылки и последствия радикального сомнения — в культурной приверженности и власти (Гидденс, 2011: 324). Таким образом, итог рассуждений Гидденса о природе модерна содержит намек на другую перспективу теоретического осмысления рефлексивности и модерна как такового. Представление о том, какой является эта перспектива, дает социологическая парадигма цивилизационного анализа, принимающая феноменологическое понятие мира и подчеркивающая неустранимость из человеческой деятельности интерпретативного измерения культуры. Однако сам Гидденс пошел по другому пути, и это был путь уже не столько научного анализа, сколько социального проектирования и политического действия.

Альтернативы радикальному модерну: реакционный традиционализм и утопический реализм

Гидденс, последовательно проводя принцип рефлексивности модерна, замечает, что «сама радикализация сомнения всегда является предметом для сомнения и, таким образом, принципом, который вызывает решительный отпор» (Гидденс, 2011: 324). В том числе это могут быть фундаменталистские религиозные и радикальные консервативные политические движения, присутствие которых в современности отмечает Гидденс, но относит к формам реакционного традиционализма в тех регионах мира, в которых распространение и воздействие институтов модерна по-прежнему остается относительно слабым (Гидденс, 2011: 302). Таким образом, для сущностной характеристики модерна Гидденса эти тенденции в современном мире не имеют принципиального значения, в отличие от теории множественных модернов. Однако реакционный традиционализм — не единственно возможная форма отпора радикальному модерну. Другая форма сопротивления и преодоления модерна предлагается самим Гидденсом в виде «утопического реализма». Эта

позиция является подчеркнуто антимодерной: «Утопии утопического реализма прямо противоположны как рефлексивности, так и темпоральности модерна» (перевод изменен) (Giddens, 1990: 178; Гидденс, 2011: 327).

Признание конечной непостижимости модерна как социального мира институционализированной рефлексивности не вызывает у Гидденса разочарования, пессимизма и фатализма. В отличие от постмодернизма, теория рефлексивного модерна «прагматически ориентирована на вопросы реконструкции, а не деконструкции» (Lee, 2006: 356). Для Гидденса заключительная в его диагнозе модерна отсылка к культурной приверженности и власти служит основанием для перехода от анализа существующего положения дел к проектированию будущего «хорошего общества» и политическому действию по его осуществлению. Гидденс переходит от диагноза к утопии, увязывая анализ текущих тенденций модерна с контрфактическим моделированием постмодерного мира. Он пишет о «постмодерном мире» (port-modern world), явно избегая использовать термин «постмодерн» (postmodernity) для того, чтобы отмежеваться от постмодернизма. Гидденс создает образ постмодерного мира, в котором человек вернет себе чувство онтологической безопасности и подкрепленный осведомленностью контроль над социальным универсумом. В этом мире возникнет обновленная устойчивость определенных аспектов жизни, напоминающая некоторые признаки традиции, и возможно, произойдет возрождение религии в той или иной форме. Но это будет мир пост-исторический, в котором «время и пространство больше не будут упорядочены в их отношении к историчности». От более конкретных предположений о радикальной реорганизации пространства и времени, которая в этом будущем мире, по всей вероятности, произойдет, Гидденс отказывается, не желая разрывать связь между утопическими предположениями и реализмом (Гидденс, 2011: 327).

Но насколько обоснованно считать приведенные Гидденсом характеристики относящимися к состоянию будущего постмодерного мира, а не атрибутивными признаками самого длящегося модерна? В установках и ожиданиях утопического реализма, «блокирующих бесконечно открытый характер модерна», Гидденс усматривает имманентную представленность постмодерного мира в настоящем (Гидденс, 2011: 326–327). Таким образом, британский социолог диагностировал состояние радикального модерна, с тем чтобы сразу же возвестить о наступлении постмодерного мира. Построения утопического реализма выявляют ограниченность теории модерна Гидденса. Но не потому, что они не в состоянии дать на ее основе более полный и точный образ грядущего постмодерного мира, а потому, что теория рефлексивного модерна оказывается не способна осмыслить феномены, подобные «реакционному традиционализму» и «утопическому реализму», в качестве имманентных самому модерну, полагая их приметами в первом случае домодерного, а во втором — постмодерного состояния. Также теория рефлексивного модерна, сосредоточенная на процессе одновременной трансформации субъективности и глобальной социальной организации (Гидденс, 2011: 326), упускает из вида процессы подчас радикальной реорганизации пространства и времени

на «срединном» уровне социетальных и региональных социоисторических конфигураций.

Отнесение Гидденсом утопического реализма к предвестиям постмодерного мира является способом избежать противоречия с пониманием природы модерна как радикальной рефлексивности. Но само это противоречие является следствием упрощенного понимания человеческой агентности, представляющего рефлексивность в отрыве от культурной и социальной креативности действия. Если подойти к оценке научного наследия Гидденса с позиции цивилизационной теории модерна, то осуществленная им в разработке теории структуризации, диагнозе радикального модерна, модели утопического реализма тематизация власти предстает односторонней артикуляцией всеобъемлющей культурной ориентации модерна на автономию человека, сведенной к установлению человеческого контроля над миром. Тем не менее креативную сторону современной агентности выдающийся британский социолог продемонстрировал на собственном примере, обратившись в завершение трактата о модерне к утопическим построениям. Однако там, где Гидденс в диагнозе модерна вынужден сменить жанр теоретизирования, переключившись на создание весьма смутных моделей утопического будущего, теория множественных модернов все еще сохраняет эмпирико-аналитическую установку и большую степень рефлексивности в отношении современности. Усматривая неустрашимое присутствие интерпретации в самых строгих утверждениях теории, она в то же время не спешит обращаться к утопическим построениям там, где возможности научного анализа еще отнюдь не исчерпаны.

Заключение

Э. Гидденс подошел к проблематике, но не совершил переход к исследовательской программе цивилизационного анализа. Прозвучавший заключительным аккордом в его диагнозе модерна намек на «культурный поворот» получил позже подтверждение в высказанном им предпочтении теории множественных модернов перед собственной теорией рефлексивного модерна, а также перед теорией незавершенного проекта модерна Ю. Хабермаса. «Похоже, программа множественных модернов, — пишет Гидденс с соавтором, — дает более реалистичные оценки и может вдохнуть новую жизнь в понятие “модерн”» (Гидденс, Саттон, 2019: 28). Однако способность теории множественных модернов оживить дискурс о модерне связана с ее отчетливо выраженной культурно-интерпретативной ориентацией, которая не стала определяющей в социологическом теоретизировании самого Гидденса. В фокусе его теоретического подхода находилась проблематика когнитивных ресурсов власти, в то время как ключевой темой цивилизационного анализа являются культурные интерпретации власти.

Гидденс разрабатывал теорию модерна как теорию рефлексивности в противопоставлении культуре. В отличие от дисконтинуистского, «разрывного» под-

хода Гидденса, цивилизационный анализ и генетически связанная с ним теория множественных модернов релятивизируют отношение между рефлексивностью и культурой. В цивилизационной социологической перспективе традиция и рефлексивность соотносятся как два аспекта культуры, которые характеризуются устремлениями, с одной стороны, к воспроизводству задающих общий смысловой контекст человеческого существования интерпретативных оснований, а с другой — к трансконтекстуальным прорывам, открывающим новые горизонты смысла. Обе тенденции находятся в неустрашимом напряжении между собой и опосредуются в способности культуры к рационализации, в процессе которой самоартикуляция культуры может переходить в самопроблематизацию. Соединение рациональности, или способности рационализации, с рефлексивностью ведет к интерпретативным сдвигам и по меньшей мере потенциально к новым культурным кристаллизациям, допускающим более высокие уровни самопроблематизации (Arnason, 2003: 96–97). В разных культурно-исторических паттернах способность рационализации получает неравномерное и специфическое развитие. Модерн представляет собой особую цивилизацию, в которой тенденции культуры к самоартикуляции в конфликтующих направлениях и к самопроблематизации достигают беспрецедентного в человеческой истории уровня, порождая во взаимопереплетении с относительно автономной динамикой власти и богатства множественные конфигурации социальной жизни.

Литература

- Александр Дж., Смит Ф. (2010). Сильная программа в культурсоциологии // Социологическое обозрение. Т. 9. № 2. С. 11–30.
- Арнасон Й. (2012). Понимание цивилизационной динамики: вводные замечания // Журнал социологии и социальной антропологии. № 6. С. 18–29.
- Арнасон Й. (2016). Переосмысление восточноазиатского модерна // Социологические исследования. № 1. С. 191–200.
- Арнасон Й. (2017). Революции, трансформации, цивилизации: пролегомены к переориентации парадигмы // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. № 5. С. 37–69.
- Бек У. (2000). Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция.
- Вахштайн В. С. (2008). «Практика» vs «фрейм»: альтернативные проекты исследования повседневного мира // Социологическое обозрение. Т. 7. № 1. С. 65–95.
- Гидденс Э. (2005). Устройство общества: Очерк теории структуризации. 2-е изд. М.: Академический проект.
- Гидденс Э. (2011). Последствия современности. М.: Праксис.
- Гидденс Э., Саттон Ф. (2019). Основные понятия в социологии. 2-е изд. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.

- Дмитриев Т. А. (2011). Сокрушительная современность Энтони Гидденса // *Гидденс Э. Последствия современности*. М.: Праксис. С. 7–106.
- Йоас Х., Кнёбль В. (2011). *Социальная теория. Двадцать вводных лекций*. СПб.: Алетейя.
- Ницше Ф. (2005). *Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей*. М.: Культурная Революция.
- Ритцер Дж. (2002). *Современные социологические теории*. 5-е изд. СПб.: Питер.
- Adams S., Arnason J. P. (2016). *Sociology, Philosophy, History: A Dialogue // Social Imaginaries*. Vol. 2. № 1. P. 151–190.
- Alexander J. C. (1996). *Critical Reflections on “Reflexive Modernization” // Theory, Culture & Society*. Vol. 13. № 4. P. 133–138.
- Alexander J. C., Smith Ph. (2019). *The Strong Program in Cultural Sociology: Meaning First // Routledge Handbook of Cultural Sociology: 2nd Edition / L. Grindstaff, M.-Ch. Lo, J. R. Hall (eds.)*. London; New York: Routledge. P. 13–22.
- Arnason J. P. (1987). *Figurational Sociology as a Counter-Paradigm // Theory, Culture & Society*. Vol. 4. № 2–3. P. 429–456.
- Arnason J. P. (1993). *The Future that Failed: Origins and Destinies of the Soviet Model*. London: Routledge.
- Arnason J. P. (2000). *Communism and Modernity // Daedalus*. Vol. 129. № 1. P. 61–90.
- Arnason J. P. (2001). *Civilizational Patterns and Civilizing Processes // International Sociology*. Vol. 16. № 3. P. 387–405.
- Arnason J. P. (2003). *Civilizations in Dispute: Historical Questions and Theoretical Traditions*. Leiden; Boston: Brill.
- Arnason J. P. (2010). *The Cultural Turn and the Civilizational Approach // European Journal of Social Theory*. Vol. 13. № 1. P. 67–82.
- Arnason J. P. (2020). *The Labyrinth of Modernity: Horizons, Pathways, and Mutations*. New York: Rowman & Littlefield.
- Bendix R. (1967). *Tradition and Modernity Reconsidered // Comparative Studies in Society and History*. Vol. 9. № 3. P. 292–346.
- Berman M. (1982). *All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity*. New York: Simon and Schuster.
- Delanty G. (2005). *Cultural Translations and European Modernity // Ben-Rafael E., Sternberg Y. (eds.) Comparing Modernities: Pluralism versus Homogeneity*. Leiden: Brill. P. 443–460.
- Eisenstadt S. N. (1992). *The Contemporary Civilizational Scene — One or Many Modern Civilizations? // The Gallatin Review, New York*. Vol. 12. № 1. P. 97–109.
- Eisenstadt S. N. (2000a). *Multiple Modernities // Daedalus*. Vol. 129. № 1. P. 1–29.
- Eisenstadt S. N. (2000b). *The Civilizational Dimension in Sociological Analysis // Thesis Eleven*. Vol. 62. № 1. P. 1–21.
- Eisenstadt S. N. (2001). *The Civilizational Dimension of Modernity: Modernity as a Distinct Civilization // International Sociology*. Vol. 16. № 3. P. 320–340.

- Eisenstadt S. N.* (2003). The Construction of Collective Identities and the Continual Reconstruction of Primordality and Sacrality — Some Analytical and Comparative Indications // *Eisenstadt S. N.* Comparative Civilizations and Multiple Modernities. Vol. 2. Boston: Brill. P. 75–134.
- Elias N.* (1978). What is Sociology? New York: Columbia University Press.
- Giddens A.* (1981). A Contemporary Critique of Historical Materialism. Vol. 1. Power, Property and the State. London: Macmillan.
- Giddens A.* (1984). The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press.
- Giddens A.* (1985). A Contemporary Critique of Historical Materialism. Vol. 2. The Nation State and Violence. Cambridge: Polity.
- Giddens A.* (1990). The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.
- Gusfield J.* (1967). Tradition and Modernity: Misplaced Polarities in the Study of Social Change // *American Journal of Sociology*. Vol. 72. № 3. P. 351–62.
- Kilminster R.* (1998). Structuration Theory as a World-View // *Kilminster R.* The Sociological Revolution: From the Enlightenment to the Global Age. London: Routledge. P. 115–144.
- Lee R. L. M.* (2006). Reinventing Modernity: Reflexive Modernization vs Liquid Modernity vs Multiple Modernities // *European Journal of Social Theory*. Vol. 9. № 3. P. 355–368.
- Schmidt V. H.* (2006). Multiple Modernities or Varieties of Modernity? // *Current Sociology*. Vol. 54. № 1. P. 77–97.
- Scott J.* (2007). Giddens and Cultural Analysis: Absent Word and Central Concept // *Cultural Theory: Classical and Contemporary Positions* / T. Edwards (ed.). London: Sage. P. 83–105.
- Therborn G.* (2003). Entangled Modernities // *European Journal of Social Theory*. Vol. 6. № 3. P. 293–305.
- Tiryakian E. A.* (1992). Dialectics of Modernity: Reenchantment and Dedifferentiation as Counterprocesses // *Social Change and Modernity* / H. Haferkamp, N. J. Smelser (eds.). Berkeley; Los Angeles; Oxford: University of California Press. P. 78–94.
- Wagner P.* (1995). Sociology and Contingency: Historicizing Epistemology // *Social Science Information*. Vol. 34. № 2. P. 179–204.
- Wagner P.* (2001). Modernity: History of the Concept // *Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* / N. J. Smelser (ed.). London: Elsevier. P. 9949–9954.
- Wagner P.* (2008). Modernity as Experience and Interpretation. A New Sociology of Modernity. Cambridge: Polity.
- Wagner P.* (2009). Modernity as Experience and as Interpretation: Towards Something like a Cultural Turn in the Sociology of “Modern Society” // *Frontiers of Sociology* / P. Hedstrom, B. Wittrock (eds.). Leiden; Boston: Brill. P. 247–266.
- Wagner P.* (2010). Multiple Trajectories of Modernity: Why Social Theory Needs Historical Sociology // *Thesis Eleven*. Vol. 100. № 1. P. 53–60.

- Wagner P. (2011). From Interpretation to Civilization — and Back: Analyzing the Trajectories of non-European Modernities // *European Journal of Social Theory*. Vol. 14. № 1. P. 89–106.
- Wagner P. (2012). *Modernity: Understanding the Present*. London: Polity.
- Wagner P. (2015). *Interpreting the Present — a Research Programme* // *Social Imaginaries*. Vol. 1. № 1. P. 105–130.
- Wittrock B. (2000). *Modernity: One, None, or Many? European Origins and Modernity as a Global Condition* // *Daedalus*. Vol. 129. № 1. P. 31–60.

Anthony Giddens and civilizational analysis: modernity between reflexivity and culture

Ruslan G. Braslavskiy

Candidate of Sociological Sciences, Senior Researcher, Sociological Institute, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology, Russian Academy of Sciences

Address: ul. 7-ya Krasnoarmeyskaya, 25/14, Saint Petersburg, Russian Federation 190005

E-mail: r.braslavsky@socinst.ru

Based on the critical reconstruction of the diagnosis of modernity by A. Giddens, the article traces the logic of the transition from the institutional to the civilizational approach in the sociological discourse of “modernity”. The analysis focuses on the problem of the relationship between culture and reflexivity. In Giddens’ theory of radical modernity, reflexivity is opposed to culture, which is identified with tradition. According to the theory of multiple modernities that are genetically related to the sociological paradigm of civilizational analysis, tradition and reflexivity are correlated as two aspects of culture characterized by aspirations, on the one hand, to the reproduction of interpretive foundations that set a general context of meaning, and, on the other, to trans-contextual breakthroughs that open up new horizons of meaning. Both tendencies are in irreparable tension between themselves and are mediated in the capacity of culture to rationalization, during which the self-articulation of culture turns into its self-problematization. The combination of rationality with reflexivity leads to cultural innovation and interpretative shifts and, at least, potentially to new cultural crystallizations, allowing higher levels of self-problematization (J.P. Arnason). In different cultural and historical patterns, the ability to rationalize receives an uneven and specific development. Modernity is a “distinct civilization” (S. N. Eisenstadt), in which the tendencies of culture towards self-articulation in conflicting directions and towards self-problematization reach a level unprecedented in human history, giving rise to multiple configurations of social life intertwined with relatively autonomous dynamics of power and wealth. Although Giddens did not make a “civilizational turn” in his work, his institutional analysis of modernity closed with his formulating the problem of conjugation of culture and power, which is key for the civilizational approach in sociology. However, the same problematic also marked the limit of understanding modernity in Giddens’ theory; he recognized the incomprehensibility of the social world in which reflexivity was institutionalized. His further path was a one of utopian modeling and political implementation of the future post-modern world, rather than a one of scientific analysis of modernity.

Keywords: A. Giddens, civilizational analysis, culture, institutionalism, modernity, multiple modernities, reflexivity, tradition

Acknowledgements

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-011-00950.

References

- Adams S., Arnason J. P. (2016) Sociology, Philosophy, History: A Dialogue. *Social Imaginaries*, vol. 2, no 1, pp. 151–190.
- Alexander J. C. (1996) Critical Reflections on “Reflexive Modernization”. *Theory, Culture & Society*, vol. 13, no 4, pp. 133–138.
- Alexander J. C., Smith Ph. (2010) Silnaya programma v kultursotsiologii [Strong program in cultural sociology]. *Russian Sociological Review*, vol. 9, no 2, pp. 11–30.
- Alexander J. C., Smith Ph. (2019) The Strong Program in Cultural Sociology: Meaning First. *Routledge Handbook of Cultural Sociology: 2nd Edition* (eds. L. Grindstaff, M.-Ch. Lo, J. R. Hall), London; New York: Routledge, pp. 13–22.
- Arnason J. P. (1987) Figurational Sociology as a Counter-Paradigm. *Theory, Culture & Society*, vol. 4, no 2–3, pp. 429–456.
- Arnason J. P. (1993) *The Future that Failed: Origins and Destinies of the Soviet Model*, London: Routledge.
- Arnason J. P. (2000) Communism and Modernity. *Daedalus*, vol. 129, no 1, pp. 61–90.
- Arnason J. P. (2001) Civilizational Patterns and Civilizing Processes. *International Sociology*, vol. 16, no 3, pp. 387–405.
- Arnason J. P. (2003) *Civilizations in Dispute: Historical Questions and Theoretical Traditions*, Leiden; Boston: Brill.
- Arnason J. P. (2010) The Cultural Turn and the Civilizational Approach. *European Journal of Social Theory*, vol. 13, no 1, pp. 67–82.
- Arnason J. P. (2012) Ponimanie tsivilizatsionnoj dinamiki: vvodnye zamechaniya [Making sense of civilizational dynamics: introductory remarks]. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*, no 6, pp. 18–29.
- Arnason J. P. (2016) Pereosmyslenie vostochnoaziatskogo moderna [East Asian modernity revisited]. *Sotsiologicheskiye issledovaniya* [Sociological Studies], no 1, pp. 191–200.
- Arnason J. P. (2017) Revoljucii, transformacii, civilizacii: prolegomeny k pereorientacii paradigmy [Revolutions, transformations, civilizations: prolegomena to a paradigm reorientation]. *Neprikosnovennyj zapas. Debaty o politike i kulture* [NZ], no 5, pp. 37–69.
- Arnason J. P. (2020) *The Labyrinth of Modernity: Horizons, Pathways, and Mutations*, New York: Rowman & Littlefield.
- Beck U. (2000) *Obshchestvo riska. Na puti k drugomu modernu* [Risk society: towards a new modernity], Moscow: Progress-Traditsiya.
- Bendix R. (1967) Tradition and Modernity Reconsidered. *Comparative Studies in Society and History*, vol. 9, no 3, pp. 292–346.
- Berman M. (1982) *All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity*, New York: Simon and Schuster.
- Delanty G. (2005) Cultural Translations and European Modernity. *Comparing Modernities: Pluralism versus Homogeneity* (eds. E. Ben-Rafael, Y. Sternberg), Leiden: Brill, pp. 443–460.
- Dmitriev T. A. (2011) Sokrushitel'naya sovremennost' Entoni Giddensa [The crushing modernity of Antony Giddens]. Giddens A. *Posledstviya sovremennosti* [The consequences of modernity], Moscow: Praxis, pp. 7–106.
- Eisenstadt S. N. (1992) The Contemporary Civilizational Scene — One or Many Modern Civilizations? *The Gallatin Review*, New York, vol. 12, no 1, pp. 97–109.
- Eisenstadt S. N. (2000a) Multiple Modernities. *Daedalus*, vol. 129, no 1, pp. 1–29.
- Eisenstadt S. N. (2000b) The Civilizational Dimension in Sociological Analysis. *Thesis Eleven*, vol. 62, no 1, pp. 1–21.
- Eisenstadt S. N. (2001) The Civilizational Dimension of Modernity: Modernity as a Distinct Civilization. *International Sociology*, vol. 16, no 3, pp. 320–340.
- Eisenstadt S. N. (2003) The Construction of Collective Identities and the Continual Reconstruction of Primordality and Sacrality — Some Analytical and Comparative Indications. Eisenstadt S. N. *Comparative Civilizations and Multiple Modernities*. Vol. 2, Boston: Brill, pp. 75–134.
- Elias N. (1978) *What is Sociology?* New York: Columbia University Press.
- Giddens A. (1981) *A Contemporary Critique of Historical Materialism. Vol. 1. Power, Property and the State*, London: Macmillan.

- Giddens A. (1984) *The Constitution of Society*, Cambridge: Polity Press.
- Giddens A. (1985) *A Contemporary Critique of Historical Materialism. Vol. 2. The Nation State and Violence*, Cambridge: Polity.
- Giddens A. (1990) *The Consequences of Modernity*, Cambridge: Polity Press.
- Giddens A. (2005) *Ustroenie obshchestva: ocherk teorii strukturatsii* [The constitution of society. Outline of the theory of structuration], Moscow: Akademicheskij proekt.
- Giddens A. (2011) *Posledstviya sovremennosti* [The consequences of modernity], Moscow: Praksis.
- Giddens A., Sutton P. (2019) *Osnovnye ponyatiya v sotsiologii* [Essential concepts in sociology], Moscow: Izdatelskij dom Vyshej shkoly ekonomiki.
- Gusfield J. (1967) Tradition and Modernity: Misplaced Polarities in the Study of Social Change. *American Journal of Sociology*, vol. 72, no 3, pp. 351–62.
- Joas H., Knöbl W. (2011) *Sotsial'naya teoriya: dvadtsat' vvodnykh lektsiy* [Social Theory: Twenty Introductory Lectures], Saint Petersburg: Aleteyya.
- Kilminster R. (1998) Structuration Theory as a World-View. In: Kilminster R. *The Sociological Revolution: From the Enlightenment to the Global Age*, London: Routledge, pp. 115–144.
- Lee R. L. M. (2006) Reinventing Modernity: Reflexive Modernization vs Liquid Modernity vs Multiple Modernities. *European Journal of Social Theory*, vol. 9, no 3, pp. 355–368.
- Nietzsche F. (2005) *Volya k vlasti. Opyt pereocenki vsekh cennoste* [The will to power. An attempted transvaluation of all values], Moscow: Kulturnaya revolyutsiya.
- Ritzer G. (2002) *Sovremennye sociologicheskie teorii. 5-e izd.* [Modern sociological theory. 5th ed.], Saint Petersburg: Piter.
- Schmidt V. H. (2006) Multiple Modernities or Varieties of Modernity? *Current Sociology*, vol. 54, no 1, pp. 77–97.
- Scott J. (2007) Giddens and Cultural Analysis: Absent Word and Central Concept. *Cultural Theory: Classical and Contemporary Positions* (ed. T. Edwards), London: Sage, pp. 83–105.
- Therborn G. (2003) Entangled Modernities. *European Journal of Social Theory*, vol. 6, no 3, pp. 293–305.
- Tiryakian E. A. (1992) Dialectics of Modernity: Reenchantment and Dedifferentiation as Counterprocesses. *Social Change and Modernity* (eds. Haferkamp H., Smelser N. J.), Berkeley; Los Angeles; Oxford: University of California Press, pp. 78–94.
- Vakhshstayn V. S. (2008) "Praktika" vs. "frejm": alternativnye proekty issledovaniya povsednevnogo mira ["Practice" vs "frame": alternative projects of everyday world research]. *Russian Sociological Review*, vol. 7, no 1, pp. 65–95.
- Wagner P. (1995) Sociology and Contingency: Historicizing Epistemology. *Social Science Information*, vol. 34, no 2, pp. 179–204.
- Wagner P. (2001) Modernity: History of the Concept. *Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* (ed. N. J. Smelser), London: Elsevier, pp. 9949–9954.
- Wagner P. (2008) *Modernity as Experience and Interpretation. A New Sociology of Modernity*, Cambridge: Polity.
- Wagner P. (2009) Modernity as Experience and as Interpretation: Towards Something like a Cultural Turn in the Sociology of "Modern Society". *Frontiers of Sociology* (eds. P. Hedstrom, B. Wittrock), Leiden; Boston: Brill, pp. 247–266.
- Wagner P. (2010) Multiple Trajectories of Modernity: Why Social Theory Needs Historical Sociology. *Thesis Eleven*, vol. 100, no 1, pp. 53–60.
- Wagner P. (2011) From Interpretation to Civilization — and Back: Analyzing the Trajectories of non-European Modernities. *European Journal of Social Theory*, vol. 14, no 1, pp. 89–106.
- Wagner P. (2012) *Modernity: Understanding the Present*. London: Polity.
- Wagner P. (2015) Interpreting the Present — a Research Programme. *Social Imaginaries*, vol. 1, no 1, pp. 105–130.
- Wittrock B. (2000) Modernity: One, None, or Many? European Origins and Modernity as a Global Condition. *Daedalus*, vol. 129, no 1, pp. 31–60.

С. Кьеркегор и К. Шмитт: вечная репетиция того же самого политического

БАШКОВ В. В. РЕПЕТИЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО. С. КЬЕРКЕГОР И К. ШМИТТ. СПб.: Владимир Даль, 2022. — 320 с. ISBN 978-5-93615-322-8

Артем Соловьев

Кандидат философских наук, заместитель ректора по научной работе,
Алматинская православная духовная семинария.

Адрес: ул. Ашимбаева, д. 26, Республика Казахстан, г. Алматы, 050002
E-mail: artstudium@yandex.ru

В статье рассматриваются основные положения исследования Владимира Башкова, посвященного влиянию философии Сёрена Кьеркегора на политическую концепцию Карла Шмитта. Отмечается, что автор не только определяет положения Кьеркегора, повлиявшие на Шмитта, но и последовательно проводит структурные параллели между их идеями, так и происходит «перевод» образов и понятийных рядов Кьеркегора на понятийный язык Шмитта. Возможность такого перевода появляется благодаря определению того, с чем соотносят в своих концепциях «всеобщее», «особенное», «единичное» Кьеркегор и Шмитт. В качестве лучшего примера связи идей этих мыслителей, обнаруженного исследователем, мы предлагаем считать связь критики «политического романтизма» у Шмитта с критикой эстетической установки со стороны этической у Кьеркегора. Также несомненным достоинством книги оказывается обнаружение общего для Кьеркегора и Шмитта поиска «подлинного», которое должно определять динамику развития человека от одной сферы к другой (у Кьеркегора) и стремление к «подлинной» политике у Шмитта. К недостаткам исследования можно отнести как отсутствие учета некоторых современных исследований по проблематике, близкой к теме книги, так и то, что автор в итоге солидаризируется с Кьеркегором и Шмиттом по поводу необходимости поиска «подлинного», что лишает его дистанции по отношению к предмету исследования и превращает его из исследователя в последователя Кьеркегора и Шмитта. По нашему мнению, именно это приводит автора к позитивированию диктатуры. Но действительно положительной стороной исследования оказывается обоснование возможности инструментализации концепций Кьеркегора и Шмитта для аналитической деконструкции «политического», «политических теологий» и претензий на эксклюзивное определение того, что является «подлинным».

Ключевые слова: Кьеркегор, Шмитт, экзистенциализм, политическое, политическая теология, политический романтизм, диктатура

«Есть три экзистенциальные сферы: эстетическая, этическая, религиозная», — читаем мы в «Заключительном ненаучном послесловии к “Философским крохам”» (Кьеркегор, 2005: 537). Следуя этому ключевому положению философии Кьеркегора, читатель монографии В. В. Башкова «Репетиция политического. Сёрен Кьеркегор и Карл Шмитт» вправе ожидать, что исследование влияния Кьеркегора на Шмитта будет разворачиваться именно вслед за кьеркегоровской схемой. Читатель оказывается не только не разочарован, но даже оказывается в состоянии ожидания, «саспенса» на протяжении всей книги: как именно исследователь покажет влияние кьеркегоровского понимания эстетической экзистен-

циальной сферы на понимание «политического» у Шмитта, как продемонстрирует переход к сферам этической, а затем и религиозной, уже не у Кьеркегора, а у того же Шмитта?

Чтение монографии Башкова можно сравнить с чтением детектива, в котором исходно известно, кто жертва, а кто преступник, и даже то, как совершено преступление. Неизвестно одно — как следователю, который изначально кажется менее талантливым, чем преступники, удастся выяснить то, что как будто уже в общих чертах известно читателю. Это особый род детективного жанра, и ему следует автор монографии о Кьеркегоре и Шмитте, о которых по отдельности заинтересованному читателю более-менее известно, раз уж читатель приступил к чтению. Но как эти два мыслителя связаны? Что у них общего, кроме того, что Кьеркегор повлиял на Шмитта, а Шмитт скрыто и явно периодически цитировал Кьеркегора? И поскольку «преступника» автор раскрывает уже во «Введении», не спойлером будет утверждение, что с каждой следующей главой монографии как снежный ком растет количество обнаруживаемых исследователем параллелей и аналогий между экзистенциальной философией Кьеркегора и политико-теологическими идеями Шмитта. Именно параллелей и аналогий, а не только и не столько заимствований со стороны Шмитта и влияний со стороны текстов Кьеркегора. Исследователь, конечно, приходит к выводу об искажении логики Кьеркегора у Шмитта, но это тоже не главный вывод, а вполне ожидаемая перипетия. Другое дело — как именно исказает?

Инструментом проводимого исследования, запараллеливающего Кьеркегора и Шмитта, являются ключевые понятия, используемые в монографии. Понятно, что выделение трех экзистенциальных сфер Кьеркегором вынуждает обратиться к вопросу соотношения статусов и характеристик «всеобщего», «особенного» и «единичного» не только у датского философа, но и у Шмитта. В исследовании происходит что-то вроде «перевода» образов и понятийных рядов Кьеркегора на понятийный язык Шмитта. При таком «переводе», например, оказывается, что «тотальным» у Шмитта в период «Теории партизана» является не государство как «всеобщее», а «партия», которая представляет собой «особенное» (с. 273), стремящееся преодолеть односторонность индивидуального носителя «всеобщего».

Автор рассматривает Шмитта как того, кто постоянно продолжает опираться на экзистенциальную философию: «Ключевые термины, такие как решение, исключение, вражда и т. д., сохраняются здесь <у позднего Шмитта> и даже усиливаются, их смысл показывается отчетливее и предстает в более чистой форме, соприкасаясь с понятиями иррегулярности, мобильности, интенсивности» (с. 274). «Экзистенциальность» Шмитта видится в том числе и 1) в том, что его «Политический романтизм» представляет собой критику эстетического (в политической сфере) с этической позиции, и 2) в шмиттовской аналогии «чрезвычайного положения» и «чуда», понятых как «исключение» в рамках «политической теологии», и 3) в «решении», которое требуется как политически мотивированным «отчая-

нием» у Кьеркегора (с. 102 и сл.), так и различием «друга» и «врага» у Шмитта, возводящем от этической к религиозной, то есть политико-теологической сфере.

В монографии и сама структура исследования определяется именно этим рядом экзистенциальных понятий. А еще автор указывает на то, что сам Шмитт «употребляет термин Existenz не просто в значении существования/жизни, но со специфическим философским оттенком экзистенциального становления: как нечто, что существует, а не просто существует» (с. 88). Обнаружение же изобилия экзистенциальной терминологии и ходов мысли у Шмитта ведет читателя к любопытству относительно такого важного для экзистенциального мышления понятия, как «подлинное», которому не отведено определенного раздела и которое не слишком щедро, но увесисто, рассыпано по всей монографии.

То, что человек рано или поздно натывается на вопрос о подлинности своего существования (с. 6) и что одним из способов самопознания является политика (с. 7), читатель узнает уже во «Введении». Далее по всему тексту, примерно раз в 10 страниц автор, так или иначе, обращается к понятию «подлинности» при рассмотрении воззрений Кьеркегора и Шмитта. При этом всплывает оно в самых ключевых местах. Так война с «неподлинным» оказывается пафосом преодоления эстетической экзистенциальной сферы и соответствующего ей «политического романтизма» (с. 38 и сл.), а «подлинная политика» оказывается их противоположностью (с. 45). Подлинность сперва отсылает к этической сфере, которая совпадает с «политическим» в собственном смысле у Шмитта, потом — к сфере религиозной, где одиночество оказывается «подлинной сущностью человека» (с. 77).

Этическая подлинность рассматривается автором монографии как доступная для ее подмены эстетизацией некоего этоса в политической пропаганде, что принуждает к следованию власти (с. 133–134). При этом он создает впечатление, что Шмитт не видел этой проблемы. Возможно. Но главное, что всплывает сама тема принуждения через «подлинность», определение которой становится опасным в силу доступности для властных манипуляций самого этого определения. Поиск и обнаружение подлинности (человека, момента, решимости, действия) у Кьеркегора (и добавим от себя — позже для Хайдеггера), так и для Шмитта, дает легкую возможность принуждения к этому подлинному.

Но похоже, что и сам автор тоже оказывается в плену концепта «подлинности». Это выводит его за рамки историко-философского исследования, и он становится апологетом той «подлинности», которую обнаруживает у Кьеркегора и Шмитта. Это делает автора заинтересованной стороной. Уже он не детектив, а адвокат, что раскрывается только в конце, и, увы, почти только как сетование на отсутствие подлинного в современном мире.

Так, автор подчеркивает банальные для любой культур-критики утверждения Шмитта по поводу тотальности «производства и потребления» в современном мире и на его же высказывания об отсутствии подлинного гностического дуализма, предельно четко дуалистически различающего «неподлинность» и враждующую с ней обязательную «подлинность». Далее, подхватывая настроение Шмитта,

исследователь, независимость которого от предмета собственного исследования оказывается в итоге под подозрением, сетует на то, что изменчивость и новизна в мире ведут к внутреннему разделению в человечестве (как будто различие «друга» и «врага» не ведут к тому же?!), из чего следует «расчеловечивание, противопоставление человеческого и античеловеческого, гуманного и негуманного» (с. 283).

Но такое расчеловечивание происходит обязательно в ситуации легитимации однозначного различения «подлинного» и «неподлинного». Любое такое однозначное и эксклюзивное (то есть «исключительное») различие в современном мире ведет к гностической демонизации одной части человечества со стороны другой в рамках различных политических теологий, философий истории по классовым, расовым, национальным и религиозным признакам. «Гностицизм» здесь, конечно, упоминается в том смысле, в котором он обсуждался и использовался как понятие/метафора у Э. Фёгелина, Х. Блюменберга, Я. Таубеса, О. Маркварда (Styfhals, 2019). И вполне в духе этого гностицизма, следуя Шмитту, автор жалуется на то, что: «Свобода заменяет разум, а свободу заменяет новизна. На фоне улучшающегося качества жизни, вариативного потребления и безопасности происходит стирание понятия политической вражды. Сегодня возможны любые различия, но ни одно из них не должно доходить до крайности, а это то же самое, что отсутствие всякого настоящего различия» (с. 283). И далее уже полностью самостоятельно морализирует: «...все по-настоящему серьезное и заслуживающее внимания начинается там и тогда, где простой интерес приводит к конфликту, когда не вызывать неприязни и не испытывать ее в отношении других возможно, только отказавшись от чего-то. Прекратить все распри и выбрать любовь к другому — разве это не прекрасная, в высшей степени моральная позиция? Вот только по-настоящему этическим этот выбор может сделать только готовность дойти до предельных различий. Поэтому главный вопрос заключается не в том, что именно следует выбрать, но как правильно выбирать» (с. 284).

И всюду тут автор требует «настоящего» и «правильного», до неразличения сливаясь с Шмиттом, додумывая его. Интонации того, кто был исследователем Кьеркегора, вслед за Кьеркегором «стали по-настоящему политическими» (с. 103). От этого не спасает и упомянутое выше указание автора на то, что в бесчеловечности оказывается виновата «политическая пропаганда», которая использует «настоящее» в своих целях, эстетизируя это «правильное». Но как только это «правильное» будет этически обосновано, оно всегда будет эстетизировано и встроено в гностическую герменевтическую войну за право утверждать однозначное толкование «подлинного».

Единственное, что можно противопоставить этому — это такую герменевтику, которая допускает множественность толкований, не «универсальную историю», а «мультиверсальную историю», в которой ни одна из версий не будет и не сможет претендовать на диктатуру, как это предлагал Марквард (Marquard, 1986), прекрасно знавший Шмитта. И ровно наоборот поступает автор рецензируемого исследо-

вания, когда в заключении пишет о том, что первым выводом работы оказывается понимание диктатуры как «возможности нового» (с. 292). А это подразумевает, что в диктатуре автор видит «не только подавление всякой свободы и общественного мнения, но и появление спонтанных инициатив» (с. 292). Диктатура чревата для автора «не только репрессивными нововведениями» (с. 292).

Этот вывод очень напоминает выводы К. Н. Леонтьева, который в 1880-х годах писал о том, что для развития культуры, для ее расцвета необходим «деспотизм внутренней формы» государства (Леонтьев, 2005: 382 и сл.). Этот «внутренний» деспотизм представлялся ему в виде деспотичного государственного строя и строгой принудительной религиозности. Именно это все, по его мнению, должно было способствовать развитию эстетики жизни и стремлению к мистической глубине религиозных практик. То есть тому, что существует не благодаря свободе интерпретаций, а вопреки отсутствию свободы. И Башков идет по тому же оригинальному пути позитивизации диктатуры, которая должна породить разнообразные формы именно неповиновения диктатуре: «Притворство и неповиновение, маски и псевдонимы, уход из сферы публичности, радикальное размежевание внутреннего и внешнего, тихий саботаж, создание непрозрачной среды для чуждой политической воли, допустимые искажения приказов и импровизация в границах закона, косвенные сообщения и свобода посредством творчества... Открытая партизанская или революционная борьба... Критика и просвещение, релятивизация и разоблачение, отстраненно-интеллектуальное понимание происходящего» (с. 296–297).

Почему ни Леонтьев, ни Кьеркегор, ни Шмитт, ни Башков не верят в человека?! В то, что он что-то может создавать положительное без диктатуры, которая заставляет человека креативно ей сопротивляться? Без потребности в том, чтобы притворяться, носить маски, устраивать саботаж, революцию, все то, что явно ведет к гибели, в связи с которой Башков утешительно пишет, что нормализация наступит, только «до этого момента человеку нужно оставаться в живых и не терять надежды» (с. 293). Все это вполне в духе такой педагогики, которая считает, что если ребенка не пороть, то он вырастет лентяем. Но что тогда сказать о тех, кто создавал новое не из-под палки и не вопреки ей, а потому что было любопытно, было важно проявить свою решимость и экзистенциальный выбор как таковые без учета различия «друга» и «врага», «подлинного» и «неподлинного»? Почему нельзя допустить, что человек не из-за внешнего гнета, а сам, по внутреннему побуждению, может совершить поступок, принять решение. Например, христианская установка понимания мира в своей основе к этому и призывает, в отличие от гностической установки, апологией которой оказывается и позиция самого Шмитта, и его исследователя.

В рецензии принято отмечать актуальность и новизну авторского подхода, да и темы вообще. Это можно сделать восторженно, написав о том, что: впервые с выходом этого исследования читатель именно в таком особенном 2022 году видит связь между экзистенциальной установкой Кьеркегора и понятием полити-

ческого у Шмитта. Можно справедливо отметить, насколько это своевременно — в год обострения различных экзистенциальных и политических противостояний, которые снова требуют от человека как экзистенциального выбора, так и принятия соответствующих ему политических решений.

Но можно и придаться к тому, что автор много внимания уделяет Кьеркегору, но при этом крайне редко обращается к исследованиям Д. А. Лунгиной, чья статья «Идея спасения в псевдонимных произведениях С. Керкегора. Очерк первый. Лестница Йоханнеса Климакуса» (2013) вообще не упоминается в книге. Нет и признаков использования в исследовании для анализа смысла псевдонимов-марионеток у Кьеркегора статьи Й. Шмидта «Ни/Ни: взаимное отрицание псевдонимных голосов в ранних трудах Сёрена Кьеркегора» (Schmidt, 2006). Хотя справедливости ради надо отметить, что это, имеющее прямое отношение к теме, исследование проигнорировано и в упомянутой статье Лунгиной.

Можно неприятно удивиться отсутствием в монографии (часть которой посвящена псевдонимам Кьеркегора) указания на то, что один из псевдонимов Кьеркегора, «Йоханнес Климакус», должен переводиться на русский язык как «Иоанн Лествичник». При этом, как указывает Лунгина, конечно, имя автора «Лестницы райской» было знакомо Кьеркегору, но можно предположить, что и сам трактат этого христианского подвижника был знаком Кьеркегору больше, чем это предполагает Лунгина. Она считает, что философу просто понравилось имя, включающее образ лестницы на небеса (Лунгина, 2013). Да, мировоззренческая позиция кьеркегоровского «Иоанна Лествичника» репрезентирует гегелевский рационализм и этическую экзистенциальную сферу. И лестница, которую возводит Климакус, это лестница, которую самовольно ставит сам человек для штурма высшей (для этика) «подлинности». Скорее всего именно поэтому его имя дается в русских переводах в транслитерации. Но сейчас считается (Duffy, 2010: 145–146), что у автора текста «Лестницы райской» было прекрасное философское образование, и это называется на тексте его трактата. Вероятно, это знал Кьеркегор. Точно известно, что образ «лестницы на небеса» он активно использовал. Но обсуждение этого вопроса практически отсутствует в рецензируемой монографии («отбрасывание лестницы» упоминается в работе только один раз на с. 139 в связи с Шмиттом, а не Кьеркегором). Можно предположить, что обращение к интерпретации этого образа обогатило бы исследование.

Эти возможные ритуальные восхваления, как и упоминания работ, которые, вероятно, могли бы помочь автору в развитии его небезынтересной концепции, пусть останутся на долю другим рецензентам, имеющим возможность продолжить начатый выше список. Все это не должно закрывать то, что, наряду с проводимой автором апологией «репетиции политического», которая требует своего бесконечного повторения, новых диктатур, революций, партизан и которая без этой апологии будет повторяться все равно, в исследовании, насколько оно оказывается исследованием и полноправной интерпретацией, предлагается возможность использовать «социологию юридических понятий» Шмитта для

выявления «изнанки» политических утопий (очевидно, что и консервативных в том числе), «риторики, юридических инициатив и кадровых решений» (с. 294). Автор показывает то, как работает конструирование «подлинного» у изучаемых им мыслителей, что позволяет рассматривать их идеи как способ аналитической деконструкции подобного навязывания «подлинности» чего бы то ни было. Относительно Шмитта это особенно важно в силу того, что именно он в первую очередь оказывается под подозрением в подобного рода навязывании принудительности «подлинного».

Это дает возможность говорить о концепте «политической теологии» еще и как об аналитическом инструменте для выявления теологической и, шире, религиозной (квазирелигиозной, по П. Тиллиху) подоплеку политических установок и решений. Это не выводит самого Шмитта из-под обвинений в формировании образов принудительной «подлинности», но позволяет отвести обвинения в ангажированности его исследовательского инструментария. Хотя при этом ни его самого, ни сочувствующего ему его исследователя (с их позитивированием диктатуры) не оправдывает ни указание возможности использовать «политическую теологию» для выявления «изнанки» утопий, ни тем более странное в своей амбивалентности подчеркивание утверждения о пацифизме, который «может» привести к идее морального превосходства пацифизма и к «войне против войны»: «... тогда любая война начинает осуждаться как аморальная, негуманная, античеловеческая. Отсюда всего один шаг до “войны против войны”, “расчеловечивания” тех, кто участвует в войне против “мира” и “цивилизации”, “справедливости” и “прогресса”, а в конечном счете — войны абсолютного добра против абсолютного зла. В этом случае деполитизация уже может прекрасно сочетаться с ведением войны на уничтожение в отношении “нелюдей” — если проделано достаточно идеологической работы, чтобы войну отождествляли с морально оправданной полицейской операцией» (с. 108). Отчего же не заподозрить и «политическое» в том, что и оно может сочетаться с ведением войны против «нелюдей»?! Но раз это возможно как вероятность и в случае деполитизации, и в случае политизации, то где то их различие, которого требует Шмитт?

Что же касается аналитико-деконструирующего подхода к политическому и использованию понятия «политической теологии» в исследовательских целях, то можно в качестве примера назвать сборник 1983 года под редакцией Я. Таубеса, посвященный идеям Шмитта (Taubes, 1983). Озаглавлен он несколько инфернально: «Князь мира сего» — но посвящен как раз возможным вариантам аналитического использования концепта «политической теологии» и возможности плюрализации «политических теологий». Тут Таубес пытался обосновать гностицизм «политических теологий», тогда как О. Марквард задается вопросом о допустимости говорить о «просвещенческом политеизме» как о «еще одной политической теологии» (Marquard, 1983).

Поскольку опыт такой плюрализации и инструментализации концепта «политической теологии» уже существует, то вывод об этой возможности не ори-

гинален. Но оригинально и важно, что вывод производится через «запараллеливание» Шмитта и Кьеркегора, который рвался к единственно подлинному Единичному через обнаружение неподлинности иных экзистенциальных выборов человека. Оригинальным оказывается то, что через обнаружение этой тотальности и принудительности (через назначение некоего выбора «подлинным») у Кьеркегора и по аналогии — у Шмитта автор рецензируемой книги косвенно допускает возможность инструментализации и экзистенциализма Кьеркегора. И это действительно важно именно в том плане, что продуктивным оказывается и у Кьеркегора, и у Шмитта «как» они критикуют то, что считают «неподлинным», а то «подлинное», образ которого они конструируют, оказывается принудительным и разрушительным, как и любая претензия на обладание эксклюзивным правом формулировать различие «подлинного» и «неподлинного».

В некоторой степени эта погоня автора исследования за «настоящим» и «правильным» прекращается в «Приложении», где автор максимально отстраненно смотрит на предмет своего исследования. Это становится возможно в силу заявленного в подзаголовке «Приложения» академического его характера. Тут Башков показывает, как обстоит дело с исследованием соотношения Кьеркегора и Шмитта в XX и начале нынешнего века. Уточняется сама проблема, которая состоит не столько в отслеживании влияния одного мыслителя на другого, сколько в том, что помимо стремления связать Кьеркегора и Шмитта, есть и стремление противопоставить их, показав степень искажения идей Кьеркегора у Шмитта (с. 311). Но одновременно автор обосновывает их взаимосвязь и преемственность, демонстрируя невозможность противопоставления их позиций, каждая из которых повторяет тотальное принудительное различие «подлинного» и «неподлинного». А повторение — это и есть репетиция, которая сама есть способ легитимации принудительности назначенного «подлинного».

Репетиторы этого различия — от Кьеркегора и Шмитта до многих наших современников — продолжают ставить перед теми, кого они принуждают к этому различию, вопрос о снятии хотя бы принуждения. Этим и ценна рецензируемая монография: возможностью определиться с необходимостью преодоления стремления к «более подлинному, чем сейчас», возможностью утверждать принятие мира таким, как он есть, без разделения людей и народов на более «настоящие» и менее «настоящие», возможностью удивиться странному неверию в то, что человек может оказаться человеком без принуждения его к этому через диктатуру «подлинного». Но эти возможности открываются именно вопреки. И открываются, видимо, тем, кто как раз является мировоззренческим оппонентом Кьеркегора и Шмитта и изучает их идеи не более чем для инструментализации их позиции с целью деконструкции лежащей в основе их же философии легитимации принуждения к «подлинному». А это и есть отказ от «репетиции политического» с оппонированием тем, кто продолжает его «репетировать». Похоже, что сейчас необходим именно такой отказ и оппонирование, а не эта бесконечная репетиция того

же самого политического, рутинизирующая диктатуру «подлинного» и состояние чрезвычайного положения.

Литература

- Башков В. В.* (2022). Репетиция политического. С. Кьеркегор и К. Шмитт. СПб.: Владимир Даль.
- Кьеркегор С.* (2005). Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам» / Пер с датского яз. Н. Исаевой и С. Исаева. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та.
- Леонтьев К. Н.* (2005). Византизм и Славянство // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем в 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль.
- Лунгина Д. А.* (2013). Идея спасения в псевдонимных произведениях С. Кьеркегора. Очерк первый. Лестница Йоханнеса Климакуса // *Вопросы философии.* № 5. С. 141–148.
- Duffy J. M.* (2010). Henrik Rydell Johnsen. Reading John Climacus: Rhetorical Argumentation, Literary Convention and the Tradition of Monastic Formation (review) // *Journal of Early Christian Studies.* Vol. 18, iss. 1. P. 145–146.
- Marquard O.* (1983). Politischer Polytheismus — auch eine politische Theologie // *Taubes J.* (hrsg.). Religionstheorie und politische Theologie. Band 1. Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen. München: Wilhelm Fink. S. 77–84.
- Marquard O.* (1986). Universalgeschichte und Multiversalgeschichte // *Marquard O.* Apologie des Zufälligen. Philosophische Studien. Srungart: Philipp Reclam. S. 54–75.
- Schmidt J.* (2006). Neither/Nor The Mutual Negation Of Søren Kierkegaard's Early Pseudonymous Voices // *Journal for Cultural and Religious Theory.* № 8.1. P. 58–71.
- Styfhals W.* (2019). No Spiritual Investment in the World: Gnosticism and Postwar German Philosophy. Ithaca, NY: Cornell University Press: Cornell University Library.
- Taubes J.* (hrsg.). (1983). Religionstheorie und politische Theologie. Band 1. Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen. München: Wilhelm Fink.

S. Kierkegaard and K. Schmitt: the Eternal Repetition of the Same Political

Book review: Bashkov V. The Repetition of the Political. S. Kierkegaard and K. Schmitt: St. Petersburg, 2022. 320 p. (In Russian)

Artem Solovev

Candidate of Philosophy, Deputy Rector for Research, Almaty Orthodox Theological Seminary.
Address: Ashimbaeva str., 26, Almaty, Republica Kazakhstan, 050002
E-mail: artstudium@yandex.ru

The review considers the main statements of Vladimir Bashkov's research on the influence of S. Kierkegaard's philosophy on the political concept of K. Schmitt. The review notes that the author consistently draws structural parallels between their ideas. It is determined that there is a

“translation” of Kierkegaard’s images and conceptual row into Schmitt’s conceptual language in Bashkov’s study, As the best example of the connection between their ideas, the review suggests considering the connection of Schmitt’s criticism of “political romanticism” with Kierkegaard’s criticism of the aesthetic attitude from the ethical side. Also, the undoubted advantage of Bashkov’s book is the discovery of a common search for “authentic” by both Kierkegaard and Schmitt. The review also notes that the disadvantages of the study, which includes both the lack of consideration of some modern research on issues close to the topic of the book and the fact that the author eventually associates about the need to search for the “authentic” with Kierkegaard and Schmitt, which deprives him of distance in relation to the subject of research, turning him from a researcher to a follower of Kierkegaard and Schmitt. According to the reviewer, this is what leads the author to positivize the dictatorship. However, at the same time, the review notes that the positive side of the study is the justification of the possibility of the instrumentalization of Kierkegaard’s and Schmitt’s concepts.

Keywords: Kierkegaard, Schmitt, existentialism, political, political theology, political romanticism, dictatorship

References

- Bashkov V. (2022) *Repeticiya politicheskogo. S. K'erkegor i K. SHmitt* [The Repetition of the Political. S. Kierkegaard and K. Schmitt], St. Petersburg: Vladimir Dal'.
- K'erkegor S. (2005) *Zaklyuchitel'noe nenauchnoe posleslovie k «Filosofskim kroham»* [The final unscientific afterword to “Philosophical crumbs”], St. Petersburg: St. Petersburg' State University.
- Leont'ev K. (2005) *Vizantizm i Slavyanstvo* [Byzantium and Slavyanism]. Leont'ev K. *Polnoe sobranie sochinenij i pisem v 12 t* [Complete collection of works and letters in 12 vols.], vol. 7, book 1, St. Petersburg: Vladimir Dal', pp. 300–443.
- Lungina D. (2013) *Ideya spaseniya v psevdonimnyh proizvedeniyah S. K'erkegora. Ocherk pervyj. Lestnica Johannes Klimakusa* [The idea of salvation in the pseudonymous works of S. Kierkegaard. The first essay. The ladder of Johannes Klimakus]. *Voprosy filosofii*, no 5, pp. 141–148.
- Duffy J. M. (2010). Henrik Rydell Johnsen. Reading John Climacus: Rhetorical Argumentation, Literary Convention and the Tradition of Monastic Formation (review). *Journal of Early Christian Studies*, vol. 18, iss. 1, pp. 145–146.
- Marquard O. (1983) *Politischer Polytheismus — auch eine politische Theologie*. Taubes J. (hrsg.). *Religionstheorie und politische Theologie. Band 1. Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen*, München: Wilhelm Fink, pp. 77–84.
- Marquard O. (1986) *Universalgeschichte und Multiversalgeschichte*. Marquard O. *Apologie des Zufälligen. Philosophische Studien*, Suttgart: Philipp Reclam, pp. 54–75.
- Schmidt J. (2006) Neither/Nor The Mutual Negation Of Søren Kierkegaard’s Early Pseudonymous Voices. *Journal for Cultural and Religious Theory*, no 8.1, pp. 58–71.
- Styfhals W. (2019) *No Spiritual Investment in the World: Gnosticism and Postwar German Philosophy*, Ithaca, NY: Cornell University Press: Cornell University Library.
- Taubes J. (hrsg.). (1983) *Religionstheorie und politische Theologie. Band 1. Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen*, München: Wilhelm Fink.

Понимающая психология Макса Вебера

FROMMMER J., FROMMMER S. (2022). MAX WEBER UND DAS PSYCHOLOGISCHE VERSTEHEN: WERKSGESCHICHTLICHE, BIOGRAPHISCHE UND METHODOLOGISCHE PERSPEKTIVEN. GÖTTINGEN: V & R UNIPRESS. 202 S. ISBN: 9783737012645.

Дмитрий Катаев

Доктор социологических наук, профессор

Липецкого государственного педагогического университета
имени П. П. Семенова-Тян-Шанского

Адрес: ул. Ленина, д. 42, корп. 2, г. Липецк, Российская Федерация 398020

E-mail: dmitrikataev@rambler.ru

С завершением издания Полного собрания сочинений Макса Вебера в 47 томах (1984–2020) могло показаться, что в творческом наследии классика не осталось неизученных и неисследованных тем. Тем не менее определенной *terra incognita* в российском и зарубежном вебероведении оставались исследования Макса Вебера в сфере психологии и некоторой степени психоанализа и психотерапии. На необходимость тщательной реконструкции и систематизации этих штудий (веберовские исследования по психофизике и экспериментальной психологии, критике натурализма и натуралистической психологии), не говоря уже об их тщательной рецепции и актуализации для раскрытия эвристических возможностей теории действия, объясняющего понимания и образования понятий, настойчиво обращал внимание «глыба» немецкого вебероведения Вольфганг Шлюхтер в своей программной статье «Действие, порядок и культура...»¹. Герт Альберт при исследовании методологической актуальности веберовской парадигмы также обращается к психологическим аспектам веберовских исследований (как отмечает автор «недооцененным и недостаточно изученным») в сравнении с теориями В. Парето² и К. Поппера³. В то же время нельзя утверждать, что тексты Вебера в этой области в вебероведении были проигнорированы. Но, как отмечает один из авторов монографии С. Фроммер в ранней статье, и методологические рецепции аффективного действия Ю. Герхардса, А. Хана, Р. Дёберта, и сравнительно-биографические исследования Д. Кэслера, Т. Стронга и др. в большинстве своем не учитывают важные источники, «значительно отдаляются» от веберовской позиции⁴. Возможно, такая

1. Шлюхтер В. (2004). Действие, порядок и культура: основные черты веберовской исследовательской программы / Пер. с нем. В. В. Козловского, К. Г. Тимофеевой, А. В. Тавровского // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. VII. № 2. С. 22–50.

2. Albert G. (2016). Präsenz der Absenz — Vilfredo Pareto // Theoriegeschichte in systematischer Absicht. Zur Diskussion von Wolfgang Schluchters Werk „Grundlegungen der Soziologie“ / hrsg. von Hans-Peter Müller/Steffen Sigmund. Tübingen: Mohr. S. 131–165.

3. Albert G. (2016). Kritischer Rationalismus und Soziologie // Konstruktion und Kritik. Der Einfluss des Kritischen Rationalismus auf die Grundlagendebatten in den Einzelwissenschaften / hrsg. von Eric Hilgen-dorf. Tübingen: Mohr Siebeck. S. 55–92.

4. Frommer S. (1994). Bezüge zu experimenteller Psychologie, Psychiatrie und Psychopathologie in Max Webers methodologischen Schriften // Wagner G., Zipprian H. (Hrsg.) Max Webers Wissenschaftslehre. In-

позиция мейнстримного вебероведения (за исключением В. Шлюхтера и Г. Альберта) связана с неприятием позиции В. Хенниса относительно признания Вебера великим ученым, а не только социологом. Также следует отметить сложность терминологии, неочевидность незаконченных психологических фрагментов (письма, заметки, отдельные статьи), необходимость погружения в биографию Вебера, без которых невозможно реконструировать эту область.

Авторы монографии Сабине Фроммер и Йорг Фроммер не только заполняют эту лауну, но и раскрывают возможности развития исследовательской методологии в сфере психотерапии. Книга имеет ряд особенностей, которые выделяют ее из общего вебероведческого нарратива. Во-первых, это необычный союз известного социолога с медицинским образованием, представителя гейдельбергской школы вебероведения, составителя и соиздателя отдельных томов ПСС Макса Вебера — Сабине Фроммер и практикующего психиатра, доктора медицинских наук Йорга Фроммера. В предисловии к книге этот творческий союз известный веберовед Йоханесс Вайс определяет как «продуктивный диалог» и «особенно впечатляющее сотрудничество», позволившее раскрыть эвристические возможности методического взаимодополнения понимающей психологии и понимающей социологии, особенно в своем стремлении «осмыслить реальную жизнь исследуемого человека»⁵. Во-вторых, это композиция и содержание монографии, которую Вайс называет «тематически закрученным сюжетом» (*thematischer Spannugsbogen*). Примечательно, что в монографии представлены уже опубликованные статьи авторов⁶, структурированные в логике немецкого вебероведения: реконструкция — систематизация — актуализация. При этом стремление авторов к актуализации методологических и теоретических аспектов творчества классика в поле психологии и психиатрии не идет за счет биографических, контекстуальных, содержательных аспектов творчества. Напротив, следует отметить целостную и системную рецепцию психологических исследований и тщательную «проработку деталей»⁷. Они обращаются к недостаточно изученным работам Вебера по экспериментальной психологии, психофизическим аспектам труда, критике натурализма, анализу влияния Вилли Гельпах, рецепции Эмиля Крепелина в контексте диспута с В. Рощером и К. Книсом в известном цикле статей. Данные аспекты тесно переплетаются с биографией классика, которая играет важную роль в рецензируемой монографии, поскольку, как отмечают авторы, «особенное в этой связи»⁸ заключается

terpretation und Kritik. Frankfurt/M: Suhrkamp. S. 239–258.

5. *Weiß J.* (2022). *Zum Geleit // Frommer J., Frommer S. Max Weber und das psychologische Verstehen: werksgegeschichtliche, biographische und methodologische Perspektiven.* Göttingen: V & R unipress. S. 11.

6. Имеющиеся тексты были переработаны авторами с учетом актуальной рецепции классика и выхода Полного собрания сочинений. Также обращает на себя внимание, что доля новых текстов в общем массиве монографии составляет около половины.

7. Во многом здесь чувствуется влияние длительного сотрудничества с Вольфгангом Шлюхтером и Райнером Марио Лепсиусом в институте социологии Университета г. Гейдельберга в качестве научного сотрудника и составителя ПСС Макса Вебера.

8. Специфические риски развития личности в индивидуализированном и ускоренном модерне, связанные с требованием функционального и рационального действия во всех сферах жизнедеятель-

в том, что личные неудачи в форме депрессивных расстройств и, как следствие, уход от нормальности буржуазной профессиональной жизни, как и последующее отдаление от брака с Марианной, делает Вебера не только сторонним наблюдателем эпохи, но и саморефлексирующим исследователем» (S. 25). Все это позволяет авторам реализовать проект, «реконструирующий недостаточно признанный вклад Макса Вебера в академически солидную понимающую психологию, дополняет этот анализ взглядом на личную борьбу с иррациональным, эмоциональным и страданием» (S. 15). Одновременно авторы постоянно обращаются к рецепции веберовских текстов не только на современном этапе, но и в исторической ретроспективе. Это относится и к первым работам, направленным на реконструкцию концепции психологического понимания С. Фроммер, когда автор погружается в актуальную дискуссию о теории действия Вебера, о нерациональных типах действий и иррациональности акторов с такими учеными, как В. Шлюхтер, Ю. Хабермас, К. Аллербек, Р. Мюнх, Д. Кэслер, и лишь затем приступает к тщательному анализу веберовских исследований психологических вопросов, так и к поздним работам, связанным с методологией понимающей психологии и теории нерационального действия в психиатрии. При этом речь идет не просто об актуализации работ Макса Вебера и стремлении доказать ключевой тезис книги о взаимосвязи саморефлексии и включенного самонаблюдения классиком с его диагнозом и прогнозом современности. Как специалисты-психиатры с медицинским образованием они вступают в аргументированную полемику с известными биографами Ю. Каубе, Й. Радкау, Д. Кэслером и в меньшей степени с Р.М. Лепсиусом, последовательно доказывая с позиций современной сексологии и психиатрии, что речь в случае набивших оскомину отклонений в жизни классика, таких как поллюции, внебрачные связи, потребление алкоголя и медицинских препаратов, может идти в крайнем случае о функциональных нарушениях, но не о психических заболеваниях. Такой взгляд профессионального психотерапевта и знатока автобиографии Вебера при составлении Полного собрания сочинений оказывается в большей степени взвешенным и фундаментальным на фоне недавно вышедшей, очередной биографии на русском языке».

Итак, в первой части авторы рассматривают полемику Вебера с современниками-психологами, последователями Вильгельма Вундта. С одной стороны, Вебер критикует экспериментальную психологию и связанное с ним направление в пси-

ности, когда инстинктивные экстравертные формы подавляются и замещаются (прежде всего у интеллектуалов) интровертными формами, такими как депрессивные и психосоматические образы.

9. Речь идет о резонансной монографии *Ионин Л. Г.* (2022). Драма жизни Макса Вебера. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, которую подверг достаточно жесткой и обоснованной критике за фрейдистский редукционизм *Кильдюшов О. В.* (2022). Рационализм и страсть, или Вебер глазами Фрейда // Социологическое обозрение. Т. 21. № 3. С. 303–308. Менее критично, но в то же время за обоснованные лакуны в контексте всего вебероведения и отсылку к России: *Масловский М. В.* (2022). [Рец. на кн.] Ионин Л. Г. Драма жизни Макса Вебера. М.: РАНХиГС // Социологический журнал. Т. 28. № 3. С. 184–191. Так же свой отклик оставила *Зарубина Н. Н.* (2022). Судьба ученого и судьбы науки на переломе эпох (о книге Л. Г. Иониной о М. Вебере) // Социологические исследования. № 10. С. 159–166.

хиатрической нозологии и натуралистическую, количественную методологию, представленные в работах Эмиля Крепелина. С другой — он вступает в дискуссию с социально- и культурпсихологическим направлением качественного исследования в лице Вилли Гельпах. Оба направления он критикует за сомнительную терминологию и субъективизм основных положений. Во многом погружение в этот нарратив Сабине Фроммер стало возможным благодаря реализации проекта по изданию веберовских трудов по психофизике Вольфгангом Шлюхтером в 1979 году и привлечению соответствующих специалистов-гуманитариев со знанием биологической и медицинской терминологии для работы над недостаточно исследованной областью в творчестве Вебера при составлении Полного собрания сочинений. В ходе работы с Лепсиусом над изданием томов писем автор обнаружила связи с биологией, психологией и психиатрией его времени, значение которых для методологических работ Вебера было недооценено.

Вторая часть книги посвящена систематизации и реконструкции концепции психологического понимания. Фрагменты веберовских исследований по экспериментальной психологии, психофизике труда, письма и заметки по иррациональности действий тщательно собраны и логически выстроены таким образом, что перед читателем предстает основоположник теории психологического понимания аффективного действия, чья методология сохраняет свою актуальность в своем понятийном основании для современных качественных исследовательских стратегий, оперирующих герменевтическими методами. Такая позиция подкрепляется подробной рецепцией методологических работ Вебера по объективности социального познания, логических проблем в критических статьях Рошера и Книса, писем В. Гельпаху, Э. Яффе, К. Ясперсу, как и ключевого исследования по психофизике промышленного труда. В то же время авторы убеждены, что диспут в стане феноменологии о соотношении сознательного и бессознательного разрешается веберовской методологией в теории действия через антиномии субъективированного и объективированного понимания самости и отношения к миру.

В третьей части книги рассмотрена биография и болезнь Макса Вебера. Необходимость обращения к данной тематике авторы подкрепляют цитатами самого классика еще в начале своей книги, что научное познание «окрашено нашим интересом, обусловленным ценностными идеями» (S. 26). В этой связи ученые стремятся прояснить вопросы о собственных ценностных представлениях классика, его интересах, о конфликте иррационального и эмоционального ученого с моральными и нравственными представлениями его времени. Созвучной этой цели, считают исследователи, является убежденность Вольфганга Шлюхтера, что «в веберовский духовный центр» можно проникнуть только с учетом трех перспектив: истории творчества и постановки проблем, специфической связи исторического исследования и систематического образа мысли и биографической перспективы, которая «позволяет выявить истоки систематического образа мысли в мировоззрении классика» (S. 27). Однако до издания Полного собрания сочинений, прежде всего томов, содержащих переписку, у вебероведов в распоряжении имелся

только один источник, написанный Марианной Вебер, не лишенный агиографических искажений, сознательных или подсознательных. Обращение ко всему биографическому нарративу (к составлению которого, как уже упоминалось, прямое отношение имела Сабине Фроммер) побуждает авторов сделать довольно смелое утверждение, что основанием веберовского сумрачного диагноза современности, как тотально бюрократизированной, «железной клетки послушания», прогноза «полярной ночи ледяной мглы и суровости» и др., является начальная фаза истории его заболевания. Хотя авторы приводят достаточно убедительные доказательства «депрессивного невроза», меланхолического и биполярного нарциссического типа (S. 134), все же связь заболевания с теоретическим анализом как основание для веберовского диагноза выглядит недостаточно обоснованной. С точки зрения верификации данного утверждения требуются точные временные отсылки написания текстов и соответствующего протекания заболевания. К тому же главные свидетели (Альфред Вебер, жена Марианна, Карл Ясперс, Эльзе Яффе и др.), как и важнейший документ с описанием Вебером своей болезни, составленный в 1907 году для консультирующего психиатра, недоступны для подтверждения (S. 99). Непроясненным остается и ранний период творчества Вебера, если принимать за ключевую посылку личные эмоциональные и психологические кризисы в творчестве, все же учителя и наставники одного из авторов В. Шлюхтер и М. Р. Лепсиус исходят из целостности и завершенности работ при постановке ключевого вопроса о происхождении современного капитализма (модерна).

В четвертой части анализируется значение веберовских исследований аффективно-иррационального действия и психологического понимания для современной психологической науки. Авторы демонстрируют, что социологическое рассмотрение психотерапии как профессии (S. 137–152), включение теории действия и понимания, веберовской понятийной рамки расширяет границы психотерапевтической работы и позволяет преодолеть естественнонаучную исследовательскую логику и ограничения жесткой, количественной методологии. В особенности это относится к такому аспекту идеального типа, как «тематизация смысловых взаимосвязей в их социальных, исторических и культурных контекстах» (S. 159).

Итак, подводя итог, отметим смелую и честную попытку авторов монографии «Макс Вебер и психологическое понимание» через собранные и актуализированные работы соединить лучшие традиции немецкого вебероведения: целостность прочтения классика в контексте его биографии, методологических, теоретических и эмпирических работ с актуальным психологическим знанием. Ученые стремятся не упустить ни одной детали исследуемой проблемы. Опыт работы в области психиатрии, владение медицинской терминологией, бесценный опыт составителя Полного собрания сочинений, продуктивное сотрудничество с лучшими вебероведами с мировым именем помогают им справляться с поставленной задачей — реконструировать, систематизировать и актуализировать недостаточно исследованную сферу в веберовском наследии, которую можно назвать понимающей психологией. На вопросы, которые возникли у рецензента в процессе работы над

монографией, связанные с тезисом авторов о корреляции веберовского диагноза современности с его личными и психологическими кризисами, предстоит ответить в ходе дальнейшей социологической и психологической рецепции.

Max Weber's understanding psychology

Book review: Frommer J., Frommer S. (2022) Max Weber und das psychologische Verstehen: werks-geschichtliche, biographische und methodologische Perspektiven. Göttingen: V & R unipress. — 202 S. ISBN: 9783737012645.

Dmitry Kataev

Doctor of Sociology, Professor

Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov-Tyan-Shansky

Address: Lenin str., 42, bldg. 2, Lipetsk, Russian Federation 398020

E-mail: dmitrikataev@rambler.ru

Дюркгеймианская традиция глазами культурсоциолога

РЕЦЕНЗИЯ НА: SMITH P. (2020). DURKHEIM AND AFTER: THE DURKHEIMIAN TRADITION, 1893-2020. NEW YORK: JOHN WILEY & SONS.

Артур Печерских

Студент магистерской программы «Социология», факультет социологии,
Европейский университет в Санкт-Петербурге.

Адрес: Гагаринская ул., д. 6/1, литера А, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 191187.
E-mail: apecherskikh@eu.spb.ru

Чтение работ Эмиля Дюркгейма на начальных курсах университетских программ по социологии уже давно стало общим местом во всем мире. Фигура классика, как правило, появляется на первых занятиях по истории дисциплины, неразрывно связываясь в глазах студентов с понятиями «социального факта» и «солидарности», типологией самоубийств (которую, конечно, кто-то в аудитории постарается упрекнуть в несостоятельности, ссылаясь на осознаваемые самим Дюркгеймом трудности в определении «фаталистического» типа) и оппозицией сакрального/профанного. Даже столь выборочное знакомство играет большую роль в формировании профессиональной идентичности, однако оно же приводит к восприятию одного из отцов социальной науки как устаревшего классика и источника «ритуальных» цитирований. Книга Филиппа Смита убедительно разрушает эту оценку, предлагая читателю обширный экскурс в историю дюркгеймианской традиции, включающий в себя рассмотрение как прямых учеников мэтра, так и представителей его стиля мышления. Используя ироничное замечание автора книги, если мы считаем *The Beatles* феноменом нашей эпохи, то так же следует относиться и к Дюркгейму (с. 5)¹: сейчас ливерпульская группа куда ближе во времени к нему, чем к текущему году.

Книга состоит из пяти глав, две посвящены самому Дюркгейму. Первая глава представляет его краткую биографию, построенную вокруг четырех крупнейших работ — «Разделения труда» (1893), «Правил социологического метода» (1895), «Самоубийства» (1897) и «Элементарных форм» (1912). Смит представляет наиболее важные понятия и теории каждой монографии, старательно воссоздавая контекст их создания и источники вдохновения, будь то прочитанные ранее лекции, полемика с Габриэлем Тардом или впечатления от чтения Шопенгауэра. Обсуждение каждой из этих работ включает критические замечания, отчасти объясняемые принадлежностью автора к «Сильной программе» в социологии культуры. Например, «Правила социологического метода», названные здесь «раскраской по номерам» (с. 26) и получающие скорее негативную оценку, Смит (не без оснований)

1. Здесь и далее данные в скобках номера страниц относятся к книге Филиппа Смита.

считает проблемными для тех, кто видит в Дюркгейме культурсоциолога (там же) — и акцентирует на этом внимание. К этой особенности взгляда и интерпретации мы вернемся после того, как закончим содержательное представление книги. Тем не менее здесь же дается лаконичный ответ на критику дюркгеймовского манифеста Зигмунтом Бауманом, который видел в нем продукт своего времени, претендующий на безусловный интеллектуальный авторитет и знание об истинном устройстве общества². По словам Смита, «Метод» был прежде всего попыткой утвердить дисциплинарную автономию, создать «дискурсивное пространство для социологического предприятия»³ (с. 26), а не политическим заявлением.

Во второй главе фокус смещается в сторону менее известных работ Дюркгейма, в том числе тех, что были написаны в сотрудничестве с учениками. Смит пишет, что, даже при отсутствии четырех ставших классическими монографий, Дюркгейм все равно снискал бы славу значительного теоретика и основателя оригинальной научной группы в истории социальной мысли (с. 57-58). Рассказ начинается с введения десятка тем, чьи следы можно обнаружить в корпусе текстов Дюркгейма. К ним относятся размышления о социализме, культе индивида и образовании. Понятия «собственности» и «контракта» получают здесь «культурную» интерпретацию, согласно которой они обладают сакральным статусом (с. 65-66). В этом же разделе Смит соглашается с оценкой Дюркгейма как сторонника патриархата⁴, но указывает, что тот верно стремился понять сферу семьи и гендера исторически, исходя из социальной организации публичной сферы — именно такой подход находится в основании современных феминистских исследований (с. 69).

Стоит отметить, что дополнение открывающего книгу обзора дюркгеймовских текстов подробностями его жизни идет рассказываемой истории на пользу. Работа Смита не претендует на место объемных биографий, написанных Стивенем Льюкомсом⁵ и Марселем Фурнье⁶, но помещенное в ней жизнеописание изобилует деталями, способными удивить неискушенного читателя. Среди них — не самая впечатляющая успеваемость Дюркгейма во время учебы в *Высшей нормальной школе* (по замечанию Смита, часто пишут, что Дюркгейм окончил философию седьмым среди учащихся, но редко — что это второе место с конца (с. 12)) или посещение им лаборатории Вильгельма Вундта в Лейпциге (с. 72). Местами Смит обращается не к указанным выше биографиям и не к изысканиям авторов журнала *Durkheimian Studies*, а к малоизвестным фотографиям классика и даже сохранившемуся фрагменту записи его речи. Такой материал позволяет увидеть в Дюркгейме

2. Bauman Z. (2005). Durkheim's society revisited // Alexander J. C. & Smith P. (Eds.). The Cambridge Companion to Durkheim. Cambridge: Cambridge University Press. P. 360-382.

3. Здесь и далее цитаты даны в моем переводе.

4. Главным аргументом в пользу этого остаются пассажи из «Разделения труда» (см., например: Дюркгейм Э. (1996). О разделении общественного труда / Пер. с фр. А. Б. Гофмана, прим. В. В. Сапова. М.: Канон. С. 63-67).

5. Lukes S. (1972). Emile Durkheim: His life and work: A historical and critical study, Stanford: Stanford University Press.

6. Fournier M. (2013). Emile Durkheim: A biography. Cambridge: Polity.

не только трудоголика, но, помимо этого, еще и харизматичного лектора, чьи выступления пользовались интересом у самой разнородной публики.

Переходя от работ Дюркгейма к трудам его учеников и коллег из *L'Année sociologique* (Марсель Мосс, Роберт Герц, Анри Юбер, Селестен Бугле и проч.), Смит пишет о ключевом значении Дюркгейма для продуктивности всей группы. Дюркгейм был настоящим «интеллектуальным тотемом» (с. 92), источником идей и вдохновения для окружавших его людей. С его уходом группа лишилась интеллектуального драйва, отказавшись от претензий на создание всеобъемлющей теории общества и отстаивания дисциплинарных границ в пользу эмпирической работы (с. 97). Возможное объяснение тому кроется в том, что, подобно Дюркгейму периода между написанием «Самоубийства» и «Элементарных форм», они стали посвящать значительную часть своего времени преподаванию и административной работе (с. 99). И все же Смит почтительно определяет роль этих прямых наследников традиции как авторов, показавших парадигмальность дюркгеймовской мысли, ее высокую объяснительную силу и адаптивность (с. 79). Также важно, что при жизни Дюркгейма они снабжали его этнографическим материалом и собственными комментариями к нему, что сказалось на разработке «Элементарных форм».

Обсуждая сохранение дюркгеймианской традиции во Франции после смерти ее основателя, Смит более прочего концентрируется на работах Марселя Мосса, Мориса Хальбвакса и членов *Коллежа социологии* (Жорж Батай, Роже Кайуа, Мишель Лейрис). Первый, несмотря на обширные должностные обязанности (священные в том числе с восстановлением основанного Дюркгеймом журнала), стал медиатором между эпохой Дюркгейма и представителями французской академии второй половины XX века (например, будучи преподавателем Клода Леви-Стросса, с. 104). Его работы о даре⁷ и техниках тела⁸ стали самостоятельными источниками вдохновения для следующих поколений антропологов и социологов. Труды Хальбвакса о коллективной памяти и ее истоках в социальной жизни стали одним из фундаментов появления целого направления исследований в 1990-х годах. Наконец, неформальное объединение Батая, Кайуа и Лейриса (еще один студент Мосса) внесло свой вклад в формирование понятия сакрального, обогатив прежнее понимание рассмотрением субъективного опыта (с. 106).

Смит согласен с Рэндаллом Коллинзом⁹ в вопросе о причинах упадка дюркгеймианской традиции во Франции в послевоенные годы (с. 114). По утверждению последнего, ее представители не были в почете ввиду обвинений в интеллектуальном потворстве национализму Третьей республики¹⁰. Для собственного сохранения

7. Мосс М. (2011). Опыт о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / Составление, перевод с французского, предисловие, вступительная статья и комментарии А. Б. Гофмана. М.: КДУ. С. 134-285

8. Мосс М. (2011). Техники тела // Там же. С. 304-325

9. Collins R. (2005). The Durkheimian movement in France and in world sociology. The Cambridge Companion to Durkheim (eds. Alexander J. C. & Smith P.). Cambridge: Cambridge University Press. P. 101-135.

10. Collins R. (2005). The Durkheimian movement in France and in world sociology. The Cambridge Companion to Durkheim (eds. Alexander J. C. & Smith P.). Cambridge: Cambridge University Press. P. 118.

и развития традиция должна была наконец-то оторваться от французской почвы — и она это сделала. Следующие части повествования (1917–1950 и 1950–1985 годы) главным образом строятся вокруг истории усвоения традиции антропологами и тех метаморфозах, которые она претерпевает, попав в США. В первом случае Смит поочередно обращается к работам Рэдклиффа-Брауна, Эванса-Притчарда, Клода Леви-Стросса и Мэри Дуглас. Все четверо получают значительное место в книге и образуют свою(и) традицию(и) использования поздних дюркгеймовских интуиций.

Центральным персонажем американских страниц (до 1985 года) становится Толкотт Парсонс. Скорее всего, он впервые ознакомился с работами Дюркгейма на семинарах Бронислава Малиновского в *Лондонской школе экономики* (как замечает Смит, усилиями Рэдклиффа-Брауна влияние Дюркгейма в британской антропологии того времени стало неизбежным даже в лагере оппонентов (с. 130)). Примечательно, что, сталкиваясь с задачей описания национальных и дисциплинарных полей, в которых обнаруживается дюркгеймовский стиль мышления, и желая наиболее реалистично обозначить маршрут в каждом из них, автор неоднократно прибегает к метафоре сети. Кроме этого факта парсоновской биографии, например, подчеркивается центральность самого Дюркгейма и, позднее, Мосса для *L'Année sociologique*. Итак, Парсонс берет у французского коллеги идею механической и органической солидарностей, сопряженных со степенью сложности устройства социальной системы, синтезируя эту теорию с веберовским анализом действия. Ссылаясь также на «Элементарные формы», Парсонс напишет, что Дюркгейм в конце карьеры исцелился от объективизма и даже сблизился (не ведая того) с понимающей традицией. Обращаясь далее к системной теории, разрабатываемой Парсонсом с 1940-х годов, Смит пишет, что упадок ее популярности, вызванный ее радикальной оторванностью от мира времен войны во Вьетнаме, свел на нет и интерес к Дюркгейму (с. 140). Тем не менее Смит обсуждает следы дюркгеймовского влияния у обширной группы влиятельных американских социологов тех десятилетий: Роберта Мертона, Гарольда Гарфинкеля, Нейла Смелзера, Кая Эриксона, Уильяма Ллойда Уорнера, Эдварда Шилза, Стивена Льюкса, Роберта Беллы и Ирвинга Гоффмана.

Заключительная глава книги посвящена развитию традиции в последние десятилетия. Оно было обусловлено нарастающим интересом социологов к «Элементарным формам», книге, прежде считавшейся вотчиной антропологии, на фоне начавшегося в 1980-е годы процесса «депарсонизации» дюркгеймовского подхода. «Формы» стали универсальным источником легитимности для более широкой исследовательской повестки (с. 187) и способом позитивного отказа от структурных способов анализа. Выход на сцену «Сильной программы» в культуросоциологии и создание Рэндаллом Коллинзом теории цепочек интерактивных ритуалов, по мнению Смита, — главные события внутри традиции после 1985 года. Новаторство первой заключалось в понимании современности как феномена, не являющегося полностью рациональным, и в демонстрации того, как использовать Дюркгейма эмпирически (с. 189). Коллинз, в свою очередь, разработал дюркгей-

мианскую модель, которая делает основной акцент на микроуровне (что звучит как оксюморон), и потому является компромиссом для целого спектра научных парадигм, от культурсоциологии до теории конфликтов и символического интеракционизма (с. 198). После разбора этих крупных направлений современной американской социологии Смит кратко «подсвечивает» и других авторов, работающих в духе Дюркгейма. В США это, например, Мишель Ламонт, Вивиана Зелизер, Барри Шварц и Дэвид Грусски.

В ходе ознакомления с книгой читатель неизбежно испытает чувство долгого и увлекательного путешествия, тщательно подготовленного автором. Действительно, за таким масштабным обзором стоит титанический объем работы и рефлексии. Истоки широкой эрудиции автора и ловкости, с которой он увязывает различные исследовательские традиции друг с другом, обнаруживаются в полученном им образовании. Смит защитил свою первую степень по социальной антропологии в университете Эдинбурга, а докторскую по социологии — в университете Калифорнии. Будучи погруженным в обе дисциплины в соответствующих национальных контекстах, он, бесспорно, является одним из немногих специалистов, способных написать такую книгу. С другой стороны, еще в процессе чтения может появиться ощущение недосказанности, достигающее пика в последней главе. Интенсивность этого переживания будет зависеть от «пространства внимания» читателя, если угодно, его склонности к «одному из двух» Дюркгеймов. Текст Смита пронизан амбициями представителя «сильной программы», для продвижения которой в самых разных его частях появляются соответствующие отсылки. Смит признает искаженность своего взгляда (с. X), и тем не менее книга, претендующая на охват дюркгеймианской традиции в большинстве ее проявлений, упускает многие ее вариации и воплощения.

Вполне в духе классика можно наполнить это утверждение количественной справкой из предметно-именного указателя книги. Во-первых, бросается в глаза то, что Смит так или иначе упоминает «Элементарные формы» даже несколько чаще, чем три предшествующие работы Дюркгейма. Это трудно оправдать знаменитым тезисом об эпистемологическом разрыве в его интеллектуальной карьере — преувеличением будет сказать, что эти книги не способны сами по себе вдохновить исследовательский поиск. Смит подробно описывает, как Дюркгейм пришел к «Элементарным формам» (например, упоминает написанную совместно с Моссом работу о классификации), и старается отыскать «культурные» мотивы в прежних текстах. Однако книга в целом создает впечатление, что «Формы» — самая важная книга Дюркгейма, и что именно благодаря ей соответствующий стиль мышления смог пережить XX век. В указателе издания присутствуют Мишель Фуко и Пьер Бурдьё — они появляются на восьми страницах книги, в то время как отдельные антропологи (Дуглас, Леви-Стросс, Рэдклифф-Браун, Эванс-Притчард), а также социологи Джеффри Александер и Рэндалл Коллинз получают в два, а то и в три раза больше места. При этом нельзя не заметить, что обсуждение первых не является цельным; Смит лишь в одном месте указывает, что они «оказали

помощь» культурному повороту в США (с. 184). Появление Бурдьё в остальных местах неизбежно без обсуждения Марселя Мосса, который по праву является вторым главным лицом в книге, и использования им понятия «габитус». Еще более очевидно отсутствие даже кратких упоминаний прочих исследователей. На ум приходит Энтони Гидденс, развивавший дюркгеймовскую мысль в собственном русле и написавший «Новые правила социологического метода» (1976). Напоследок стоит отметить, что Смит игнорирует судьбу многих тем из книг Дюркгейма. Можно упомянуть его влияние на криминологию (например, на Дэвида Гарланда), традиции исследования самоубийств, *memory studies*.

Последние замечания адресованы не столько Смиту и его блистательной книге, сколько всем нынешним социальным ученым. Дюркгейм — и эту мысль Смит проносит через всю книгу — живет всех живых. Его богатое наследие способно и сегодня, спустя сто пять лет после его смерти, давать заряд работе ученых из разных дисциплин. Обозреваемая здесь книга — часть этого заряда, вдохновляющего в данном случае сторонников «сильной программы» по всему миру. Несомненно, книга в перспективе ближайших лет привлечет в этот лагерь новых бойцов. Ее содержание может показаться искаженным для коллег, работающих в других направлениях внутри традиции, однако с задачей создания идентичности определенной группы культурсоциологов текст Смита справляется превосходно. По словам Стивена Льюкса, книга также является увесистым аргументом против попытки вскрыть социологический канон и отказаться от его представителей, но она же смотрит в будущее¹¹. В будущее, которое таит для нас новые неожиданные повороты и переходы дюркгеймовской мысли, взлеты и падения ее различных вариаций. Как иронизирует сам Смит, в истории дюркгеймианской традиции главенствующая роль не принадлежала ни одной школе больше тридцати лет, а это значит, что и «сильная программа» рано или поздно будет свернута. В любом случае, у этой истории открытый и вдохновляющий финал.

Durkheimian Tradition Through The Eyes Of The Cultural Sociologist

Book Review: Smith P. (2020) *Durkheim and After: The Durkheimian Tradition, 1893-2020*. New York: John Wiley & Sons.

Arthur Pecherskikh

Master's Student, Faculty of Sociology, European University at St. Petersburg

Address: Gagarinskaya str, 6/1A, Saint Petersburg, Russian Federation 191187

E-mail: apecherskikh@eu.spb.ru

11. *Lukes S.* (2022). *Smith P.* (2020). *Durkheim and After: The Durkheimian Tradition, 1893-2020*. Cambridge: Polity. P. 4.



Глеб Олегович Павловский
(5 марта 1951 — 26 февраля 2023)

Памяти человека политического

Кончина Глеба Олеговича Павловского глубоко опечалила и — здесь поневоле сбиваешься с академической лексики — как-то придавила, стало труднее думать. Мы пытаемся освоиться в этом новом, без него, мире, не просто вспоминая о нем, но и говоря — каждый по-своему — о самом главном.

Эти первые, наскоро написанные, приуроченные к беспощадной механике регулярного издания тексты — все же не только эмоциональные отклики. Мы хотим понять — уже не в развитии, но в полном и окончательном завершении — нечто значительное, далеко выходящее за пределы личной привязанности и столь же сильных, неутолимых антипатий, давших о себе знать сразу же, по скверной, но утвердившейся у нас традиции кидать камни вослед ушедшему. Горько, но совсем не странно. Здесь речь о политическом, здесь высшая степень интенсивности в размежевании врагов. Павловский давно находился вне *эффективной политики* в точном смысле этого слова, однако политика, именно и только политика была его подлинной стихией. Написать не то что книгу, но большую статью «Павлов-

ский как явление» значило бы не просто переосмыслить его слова и его дела (насколько одно вообще можно отделить от другого), но и представить их контекст — русскую историю за последние полвека. Кто способен на это? Кто решится? Кто сочтет такую задачу соразмерной своим дарованиям и амбициям? Думаю, найдется немало, но и сам Павловский не отступил бы. Он и не отступал. Масштабные задачи и политические амбиции, большая политика, которая ищет свой язык и сама пытается говорить о себе своим же собственным языком — вот с чем нам пришлось повстречаться. Мудрено ли, что эта встреча оставила столь непохожие одно на другое впечатления?

Не раз уже было замечено, но не грех и повторить, что политический масштаб измеряется, в общем, иначе, чем позволяют простые и привычные в обиходе критерии. Даже рассуждая о политическом благе, легко попасть в ловушку слишком удобных, слишком приятных нашему нравственному чувству заключений. В реальной политике все иначе, и можно только попытаться приблизиться к этой сложности, стремясь отдать должное тому, кто, боюсь, не всегда с удовольствием тащил на себе эту ношу.

Довольно давно, после каких-то выборов, оказавшихся для него как *политического технолога* более чем успешными — в том числе и вопреки прогнозам тех, кто решился тогда соревноваться с ним на этом поле и проиграл, — Павловский давал интервью на телевидении. Я после спрашивал его, правильно ли я запомнил, — и он подтвердил: «Не уверен, так ли говорил, но вполне мог». Так вот, он сказал: «Наш избиратель нечестен с самим собой». Это было высокомерие политического аристократа, но не писал ли он, далеко еще не будучи победителем, за десять лет до того: «Современное русское общество не требует самоопределения, даже как дани лицемерию»?¹ Собственно, этим все сказано. Павловский в девяностые составил себе резко негативный взгляд на состояние дел, задумал изменить это состояние вопреки господствующему мнению — которое и было, скажем вслед за Марксом, мнением тогдашних господ — и потом, на гребне политического успеха, говорил об избирательном процессе в демократической России, взятом с его технической стороны. Это не демократия народной сходки, не демократия революции, которой, по ставшему крылатым выражению Павловского, надо «вовремя дать в морду», но регулярный процесс, основанный на мало кого убеждающей, но весьма полезной фикции: будто бы каждый гражданин сознательно, ответственно, в здравом уме и твердой памяти (памяти — особенно, потому что лишь придуманный гражданин помнит свои прежние мнения и решения и готов за них отвечать) опознает свой интерес и манифестирует его легальным образом в формате выборов. Будучи же «нечестен с самим собой», реальный гражданин с деланным изумлением и подлинной обидой отказывается видеть в том, что получилось, результаты своих решений. Он винит искусных обманщиков, введших его в соблазн. Здесь — место политического технолога, охотно принимающего Пав-

1. <http://old.russ.ru/antolog/inoe/pavlov.htm>

ловского *за своего* и даже готового почитать *мэтра*, великого мастера этого цеха. Как технолога его слишком часто и хвалят, и проклинают.

Зрелище смешное и страшное. Это все равно как Макьявелли считать мастером пресловутого «*макиавеллизма*». А между тем несомненное сродство Павловского и Макьявелли бросается в глаза. Неудача после временного возвышения, неспособность изготовить для себя чудесный рецепт нового и более прочного успеха, тексты, которым суждена долгая жизнь, и удивительные приключения, дар аналитика с его беспощадной ясностью... Нет, все это еще не совсем то, не самое главное.

В чем существо претензий Павловского к гражданину, который с самим собой нечестен? Прежде всего — и, кажется, мне когда-то только это и удалось выяснить в наших первых больших разговорах — здесь явственное преобладание эстетического момента над этическим, и недаром первые же слова прощания, которые идут на ум, это «масштаб», «величие» (в смысле величины — «огромность») — категории эстетические. Упрек в нечестности — это не моральное осуждение, это прорвавшаяся у аристократа эстетическая брезгливость. Однако же это политическая эстетика, и если речь заходит о политическом управлении впечатлениями, эмоциями, а через них и решениями, то это, казалось бы, снова приводит нас в область не только морально, но и эстетически безразличных технологий, расчетливых и эффективных действий. Вот это и проясним.

В определенном образом устроенной вселенной, универсуме российского *демократического процесса* около тридцати лет назад появляется важная область: «знание-как», прикладное знание умельца. Один немецкий философ гордился тем, что сам спроектировал дом, в котором жил. Неудивительно, отвечал ему почитатель: кто мог построить такую систему философии, тот способен и дом начертить! Павловский же гордился, что среди его рабочих умений было слесарное, и вставленные им замки держались дольше, чем нынешние. Есть в этом своя символика. Он был великий техник, умелец, знавший процессы до деталей. Но знал ли он природу того, с чем так лихо управлялся? Во всяком случае, он хотел ее знать! Один из старых предрассудков, вошедших чуть ли не в аксиоматику социального знания, состоит в том, что мы способны понимать лишь то, что сами сделали. Человек понимает творения рук человеческих. Если так, то это значит, что, сформатировав устройство воздействия на демократический процесс, можно быть уверенным в том, будто понимаешь это устройство. Начинает снизу, как журналист стремится формировать мнения, но отсюда куда как далеко до ключевых, стратегических решений, которые, как он считает, не терпят отлагательства. Еще одна попытка просвещения готова потерпеть крах, не оставив следа в реальной политике. Не то что жизни одного человека, а и нескольких поколений не хватает, и *технология власти* начинает работать по-другому. Технолог оказывается наверху. Не сразу обнаруживается, что дело здесь идет к столкновению двух способов использования знания-как. Журналист старается воспитать общество к зрелости, настаивает на отказе от удобных схем и пустых надежд, вроде пресловутого воз-

вращения на столбовую дорожку цивилизации. Эксперт-технолог работает как *советник суверена* и стремится к успешной манипуляции теми, кого недавно пытался пробудить. На вершине политического успеха Павловский-технолог пытается создать общество, в котором Павловскому-журналисту нет места. Словно бы автор «Государя» конфликтует с республиканским автором «Рассуждений...». Сложные отношения Павловского с профессиональными цехами, с самодеятельными корпорациями, представлявшими собой гражданскую силу, которую он уважал, но которую часто видел помехой *правильным решениям* и стремился победить и разрушить, когда-нибудь станут предметом особого изучения.

Фортуна с ее переменчивым нравом уберегла его и нас всех от слишком быстрого продвижения в этом направлении. Зато на фундаменте знания-как он попытался воздвигнуть массив знания-что. Его мастерство в творчестве терминов, не укорененных в конвенциональной истории мысли, но интуитивно ясных и полезных, не имело себе равных, и более всех знаменитая «Система РФ» мало кого оставила равнодушным. Рассказывая о том, как «у России на этот раз получилось», Павловский, многократно используя и акцентируя слово «слабый», утверждал: это новый, во многом непонятный для самого себя род тактической удачливости, перерастающей в неразрушимость: «Тридцать лет российская мысль оплакивала хрупкость и крушение империй, а в результате у нее вышло нечто вовсе не хрупкое — Система РФ. <...> Все, что могло рухнуть, рухнуло. Российская Федерация не рухнет, поскольку ее нет в качестве государства, ансамбля национальных институтов — она лишь *государственность*, его правдоподобный и эффективный заместитель»². Слабые взаимодействия, слабые связи, слабые решения... Все это хотя и способствует выживанию Системы, равной которой у нас никогда не было, не является неуязвимым. Радикально опасным «может стать опыт включения системы на полную мощность»³. Если я правильно понимаю это рассуждение, оно про то, что в больших геополитических схватках РФ не обязательно погибнет, но может потерпеть поражение и, погибая, способна погубить весь мир.

Отсюда его геополитические заботы последних лет и особенно — последних месяцев жизни. Знание-что диктовало ему, вопреки любым идеологиям прогресса, снова притворившимся наукой, уверенность в больших ресурсах и серьезных шансах того социального и политического образования, имя которому он придумал. Историческое чутье, долгий опыт общения с мыслящим историческими эпохами Гефтером способствовали скорее катастрофическому взгляду на перспективы и деятельному стремлению по-прежнему, не унывая, искать выход. Знаменитые слова Грамши про пессимизм разума и оптимизм воли мне случалось слышать от других, сам Павловский при мне их не цитировал, но они вполне могли быть применены к нему, однако же не забудем: не только последний год, но последние четверть века ему доводилось, как доводилось и всем нам, слышать не просто про

2. Павловский Г. О. (2019). Ироническая империя. Риск, шанс и догмы системы РФ. М.: Европа. С. 16.

3. Там же. С. 378.

обреченность гибели этого удивительного создания, но про то, что оно *заслуживает гибели*, причем не просто «как все, что существует», но именно по причине своих особых политических качеств,

На это нельзя было ответить просто указаниями на живучесть. Можно высмеять тех, кто со дня на день ожидает твоего провала, но нельзя простой констатацией существования оправдать существующее. Политический имморализм безжалостен, но и беспомощен: выживание возведено в добродетель, в высшее благо, не требующее обоснований. Он оставляет его носителя без третьего рода знания: знания-ради-чего.

Кажется, за всем этим у Павловского стояла историософия, во всяком случае, для меня не очень прозрачная. Но тут я позволю себе снова вспомнить о Макьявелли. По меньшей мере два раза, один — в «Истории Флоренции», а другой — в том знаменитом письме, написанном в изгнании, которое всеми зачитано и процитировано до дыр, он пишет — о великих флорентийцах и о себе самом, что «благо отечества они любили больше, чем спасение души». Наверное, в точном религиозном смысле это страшные слова, и я бы никого не просил исследовать эти бездны. Но в наши дни есть мирской эквивалент бессмертия — временная замена ему в виде славы и репутации. «То, ради чего» Павловского было важнее славы и репутации, выше любых идеологий с их ценностями и любых философий, которые идут к ним на помощь. Это было благом отечества в простом, прямом и очень старом смысле слова.

Александр Филиппов

Глеб Павловский⁴ уникален для нынешней России тем, что он — политический человек, почти в аристотелевском смысле слова. Дело не в том, что он постоянно поглощен и заинтересован политикой, а в том, что все его действия ориентированы политически. Ханна Арендт указывала, что политика неразрывно связана с действием. Потому что действие способно менять, а политика никогда не может быть ограничена наличной реальностью, она всегда в области возможного; еще точнее — в связке между действительным и возможным. Именно там располагался Павловский.

Все вопросы, которые Павловский задавал и на которые он отвечал, относились именно к плану политического действия. Общая направленность этих вопросов — «Что возможно сделать?». Если он смотрел на какие-то события, то всегда с точки зрения того, что их понимание дает для возможного действия. Если смотрел на чьи-то чужие действия, то всегда в перспективе того, что им можно противопоставить. Павловский никогда ничего не комментировал отвлеченно, с позиций внешнего, объективного, бесстрастного наблюдателя. Он не знал этой позиции, и, вероятно, знал, что ее не существует.

4. Текст написан 27 февраля 2023 года.

Павловский избегал двух крайностей отношения к политике. С одной стороны, он никогда не путал ее с моралью. У него не было страсти к моральной правоте — никогда не хотелось оказаться правым, на стороне добра. Особенно если это местоположение делало беспомощным. Павловского раздражало желание сохранить во что бы то ни стало чистые руки, нигде не запачкаться — потому что именно этому чистоплюйству мы обязаны тем, что вокруг становится все больше грязи. Моральное суждение важно лишь постольку, поскольку оно ориентирует действие. Если оно парализует действие, то оно не представляет интереса. Какая разница, кто морально чист, если он не способен поменять мир? Как любой человек действия, Павловский ошибался, и порой ошибался крупно. Его моральные критики никогда не ошибались, потому что никогда не пытались действовать.

С другой стороны, Павловский дистанцировался от людей, которым «власть» (он любил это слово, любил его мистифицировать) кружит голову настолько, что они не мыслят себя вне ее. Это другая крайность: здесь желание чувствовать себя причастным к какому-то действию столь велико, что становится уже безразлично, что это за действие. Мораль здесь умирает, это зона технократов: не все ли равно, какую машину собирать, если это мощная машина, если дело масштабное? Когда перед ним знаменитым образом закрылись двери Кремля, он не пытался проползти под ними — как сделали бы 99 из 100 «политтехнологов». Он спокойно и почти сразу принял это как свою несовместимость с базовыми параметрами «системы» (еще одно любимое мистическое слово).

Это противоречие, к которому Павловский знал ключ, не имеет ничего общего с широко обсуждаемым спором вокруг «теории малых дел». «Малые дела», «изменение системы изнутри» — все это категорически антиполитические мировоззрения, построенные на веровании в то, что политику можно как-то «гуманизировать» изнутри, что можно напором якобы безусловно моральных действий растопить лед в душах, сделать политику чище и в конечном счете вытравить из нее все политическое (идеальная политика выглядит для них как управление хосписом). Установке Павловского это было предельно чуждо: то, что не претендует на политическое действие, нерелевантно. Хотя его уважение к действию вообще приводило к уважению к (неполитическим) действиям благотворителей: хорошо, когда люди что-то стараются делать.

Однако цену деполитизации он знал хорошо. Это была адская процедура, которую он провернул со страной; провернул в стремлении избавиться от помех в главном деле — деле постановки государства. Глеб усвоил этот «взгляд глазами государства» давно, еще в диссидентские годы. Уже тогда, по его воспоминаниям, он смотрел на происходящее не глазами «диссидента», а, парадоксальным образом, глазами государства — но не того, которое его репрессировало (это было недоразумение, а не государство), а того, которое надлежит соорудить. Весь его дальнейший путь — успешная дорога к тому, чтобы к 2000-м годам оказаться в той позиции, которую он себе намыслил в 1970-е. В деле создания этой позиции он выбрал рациональную тактику — выжечь напалмом все, что может помешать

ее консолидации. Когда корабль был построен, стало ясно, что плыть ему некуда, потому что воду Павловский вычерпал. Увидев это, он поставил на «реполитизацию» (его любимый термин; редкий его термин, который я хорошо понимаю) через Медведева, после чего тут же вылетел с корабля.

После этого оказалось, что десятилетия работы наложили отпечаток: Павловский мог думать только за «государство». Ему было очевидно, что государство занимается убийством политики, причем делает это в дурном аффекте (одним из самых самокритичных его воспоминаний была дебильная победительная интонация, которую он выбрал в шоу «Реальная политика», которое он в середине 2000-х сделал себе как телеигрушку, — и как кто-то из друзей вернул его в чувство, указав на этот самодовольный большевизм). Однако думать «за оппозицию» он не умел. Он честно старался, но больше дружески критиковал — справедливо замечая, что не наблюдает никакой «оппозиции» (потому что для политически ориентированного человека субъект действия должен быть совершенно определенным). Но предложить практически ничего не мог.

После 2011 года Павловского стало принято обвинять в том, что он «архитектор» и не раскаялся. Обвиняли его, как правило, люди, которые не только никогда ничего не построили, но сделали своим жизненным принципом держаться от любых строек подальше. Я никогда не мог понять, о чем они. Павловский только и делал, что обрабатывал свой прежний опыт. Почти в любом публичном выступлении он вел напряжённый диалог с самим собой и спрашивал себя: «Что именно я сделал не так? Где была ошибка? В чем урок? Что следует делать иначе, а от чего — вообще отказаться?» Это был самоанализ человека действующего, то есть не готового критиковать себя за то, что действовал, — но внимательно разбирающегося с тем, как действовал.

Сейчас, когда идет война, ясно, чего хотели от Павловского — от него хотели, чтобы он кидался на колени и катался по полу. Так же, как сегодня заходятся в странном самобичевании люди, которые не могут определенно указать, в чем именно состоит их вина в ее развязывании. Это наводит на печальные, очень печальные размышления. Потому что катающихся по полу мы вскоре увидим очень много — и видимо, чем убедительнее они будут это делать, тем больше у них шансов на этом рынке раскаяния. Никакой работы с собой для этого не понадобится. Павловский дал пример настоящей интеллектуальной ответственности — он был строг к себе так, как только может быть строг политический мыслитель, создавший работающие идеи и идеологемы. Но на это спроса нет. Спрос есть на *раскаяние в том, что действовал* — и это будущее новое убийство политики грозит будущими бедами, контуры которых уже различимы. Всякий, кто знал Глеба, понимает, что эти плевки и проклятия ему абсолютно безразличны. Зато нам они рисуют совсем печальную перспективу.

В стране белых пальто, увлеченных технократов и упоротых гуманистов Глеб Павловский спасал политику. С его уходом она не ушла. Он знал, что за ним стоит крепкая традиция русских политических мыслителей — поэтому он так старатель-

но издавал их в последние годы: большой сборник текстов народовольцев, письма из застенков, писанные Бухариным... Теперь у нас есть тюремные тетради Павловского, которые с сегодняшнего дня вышли из-под запрета и увидят свет. Если мы услышим всех этих соотечественников, то обретем способность действовать. Нам ее очень, очень не хватает.

Григорий Юдин

In the summer of 1946, confronted with Hitler's defeat in the war, and forced to defend himself before a denazification tribunal, Carl Schmitt wrote an essay about Alexis De Tocqueville, whom he characterized as a paradigmatic loser. "Every sort of defeat was crystallized in his person, and not just accidentally but as a kind of existential destiny. As an aristocrat, he lost out in the revolution... As a liberal, he anticipated the revolution of 1848 and its divergence from liberalism. He was cut to the core by the onset of terror it would bring. As a Frenchman, he belonged to a nation that was defeated after twenty years of coalition warfare... As a European, he was again in the role of the defeated since he foresaw the development of two new powers, America and Russia... that would push Europe to the margins. Finally, as a Christian... he was overwhelmed by the scientific agnosticism of his era".

My friend Gleb Pavlovsky, who passed away on February 27 this year, was also a political thinker who made his homeland out of defeat. As a self-styled Marxist, he hated the communist system, only to discover that the end of communism was also, at least temporary, the funeral of Marxism. As a Soviet man, Pavlovsky experienced the collapse of the empire as a personal tragedy and betrayal, but he never cheered the attempts to restore it. As a liberal in the last decade of his life he was struggling with a sense of guilt for actively assisting the building of autocratic regime in Russia, driven by the illusion that he was contributing to overcoming Russia's humiliating weakness. He was one of the early enthusiasts of the Internet in Russia, convinced of its transformative power, only to realize later that it brought with it the possibility of total government control and destruction of intellectual freedom. Seeing the death of a "historic man", someone who thinks contextually and not simply preaches historical lessons, was painful for him as a historian. As an intellectual he never resigned himself to the loss of interest in any real discussion. So, not surprisingly he spent the last years of his life "talking" not to his contemporaries but to his dead teacher Mikhail Gelter. Growing up among the ruins of post-World War II Odessa, Pavlovsky died unable to watch his Odessa turn into ruins again.

Pavlovsky did not complain about his defeats, he was inspired by them. He was convinced that political alternatives were born in the minds of the defeated. Therefore, bringing political alternatives to the world that has reconciled to the idea that *There Is No Alternative* is what politics is about.

Иван Крастев

Масштаб события по имени Глеб Павловский будет осознан нескоро. Не при жизни оперативных обозревателей, пользователей, оппонентов и рецензентов его кончины.

Значимый человек уходит — и ряды его закадычных друзей растут как опята.

Виделись мы нечасто. И непрестанно, каждодневно он присутствовал в моей жизни. Как теплый, бездонный океан Солярис — терпеливый и заботящийся, открытый и непостижимый, близкий и недоступный, ластящийся и застенчивый, саркастичный и нежный, волшебничающий и одинокий.

И это тепло, в каждый момент личное, было всеобщим, касалось всех, дарилось всем, кому выпало с ним соприкоснуться. Потому, наверное, найдутся сотни тех, кто искренно и полноправно числит себя друзьями, учениками, кто любил его небезответно.

Пишу не как один из них — как свидетель.

Знались мы ровно полжизни. И не было мимолетной полувстречи, где бы он не удивлял, не представал по-новому странным.

В середине девяностых как-то встретились в очередном его кочевье — съемной квартире на Тверской или Малой Бронной, где громоздились ящики с книгами — то ли ждущими разборки, то ли готовыми к новому переезду. Открыл мне как-то странно, боком, быстро вернулся к столу с ноутбуком, сидел вполоборота, но руки держал не на клавишах. А когда обернулся — в глазах у него стояли слезы.

И вдруг обронил буднично, как бы продолжая начатый разговор:

— Понимаю, почему монахи, случается, плачут, общаясь с мирянами и занимаясь житейскими делами...

Постеснялся от неожиданности спросить его тогда, что за книжица была на столе.

Спустя годы наткнулся на текст о преподобном Силуане Афонском.

«Для человека, видящего свет безначального бытия, испытавшего полноту, радость и невыразимую сладость любви Божией, земная жизнь становится тяготой, безрадостной, и он с плачем ищет снова той жизни, к которой ему дано было прикоснуться».

Он видел. Он испытал. Он прикоснулся.

Сергей Чернышев